





Проф. В. Ключевский

КУРС РУССКОЙ ИСТОРИИ

Часть III

2-е ИЗДАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА . . . 1923 . . . ПЕТРОГРАД


Ex Libris
ANDREW NALBANDOV
Андрей Налбандов

Проф. В. Ключевский

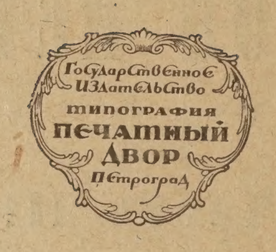
КУРС
РУССКОЙ ИСТОРИИ

Часть III

2-е ИЗДАНИЕ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА . . . 1923 . . . ПЕТРОГРАД



Гиз. № 4290. Отпеч. 11.000 экз.

Лекция XLI.

Взгляд на IV период русской истории.—Главные факты периода. Видимые противоречия в соотношении этих фактов. — Влияние внешней политики на внутреннюю жизнь государства. — Ход дел в IV периоде в связи с этим влиянием. Государство и политическое сознание общества.—Начало смуты. Конец династии. — Царь Федор и Борис Годунов.– Поводы к смуте. Самозванство.

IV период.

Мы остановились перед IV периодом нашей истории, следним периодом, доступным изучению на всем своем протяжении. Под этим периодом я разумею время с начала XVII в. до начала царствования императора Александра II (1613—1855 гг.). Моментом отправления в этом периоде можно принять год вступления на престол первого царя новой династии. Смутная эпоха самозванцев является переходным временем на рубеже двух смежных периодов, будучи связана с предшествующими своими причинами с последующими своими следствиями.

Этот период имеет для нас особенный интерес. Это не просто исторический период, а целая цепь эпох, сквозь которую проходит ряд важных фактов, составляющих глубокую основу современного склада нашей жизни,—основу, правда, разлагающуюся, но еще не замененную. Это, повторю, не один из периодов нашей истории: это—вся наша *новая история*. В понятиях и отношениях, образующихся

в эти $2^1/_2$ столетия, замечаем ранние зародыши идей, соприкасающихся с нашим сознанием, наблюдаем завязку порядков, бывших первыми общественными впечатлениями людей моего возраста. Изучая явления этого времени, чувствуешь, что чем дальше, тем больше входишь в область автобиографии, подступаешь к изучению самого себя, своего собственного духовного содержания, насколько оно связано с прошлым нашего отечества. Все это и напрягает внимание и предостерегает мысль от увлечений. Обязанные во всем быть искренними искателями истины, мы всего менее можем обольщать самих себя, когда хотим измерить свой исторический рост, определить свою общественную зрелость.

Главные факты.

Перехожу к перечню явлений изучаемого периода; но прежде оглянемся еще раз на изученные века нашей истории, представим себе ее ход в краткой схеме. Мы уже знаем, что возникавшие у нас до конца XVI в. формы политического быта складывались в тесной связи с географическим размещением населения. Московское государство было создано русским населением, сосредоточившимся в самой средине восточно-европейской равнины, в гидрографическом ее узле, в области верхней Волги, и образовавшим здесь великорусское племя. В этом государстве под рукой Калитина рода великорусское племя и объединилось как политическая народность. Московский государь правил объединенной Великороссией с помощью московского боярства, составившегося из старинных московских боярских родов, из бывших удельных князей и их бояр. Государственный порядок все решительнее переходил на основу *тягла*, принудительной разверстки специальных государственных повинностей между классами общества. Однако при этой разверстке крестьянский труд, бывший главной

производительной силой страны, оставался еще по закону свободным, хотя на деле значительная часть крестьянского населения входила уже в долговую зависимость от землевладельцев, грозившую ей законной крепостной неволей.

Со второго десятилетия XVII в. нашей истории последовательно выступает ряд новых фактов, которые заметно отличают дальнейшее время от предшествующего. Во-первых, на московском престоле садится новая династия. Далее, эта династия действует на поприще, все более расширяющемся. Государственная территория, дотоле заключенная в пределах первоначального расселения великорусского племени, теперь переходит далеко за эти пределы и постепенно вбирает в себя всю русскую равнину, распространяясь как до географических ее границ, так почти везде до пределов русского народонаселения. В состав русского государства постепенно входят Русь Малая, Белая и, наконец, Новороссия, новый русский край, образовавшийся путем колонизации в южнорусских степях. Раскинувшись от берегов морей Белого и Балтийского до Черного и Каспийского, до Уральского и Кавказского хребтов, территория государства переваливает далеко за Кавказский хребет на юге, за Урал и Каспий на востоке. Вместе с тем происходит важная перемена и во внутреннем строе государства: об руку с новой династией становится и идет новый правительственный класс. Старое боярство постепенно рассыпается, худея генеалогически и скудея экономически, а с его исчезновением падают и те политические отношения, какие прежде в силу обычая сдерживали верховную власть. На его место во главе общества становится новый класс, *дворянство*, составившееся из прежних столичных и провинциальных служилых людей, и в его пестрой, разнородной массе растворяется редеющее боярство. Между тем

раньше заложенная основа политического строя, классовая разверстка повинностей, укрепляется, превращая общественные классы в обособленные сословия, и даже постепенно, особенно в царствование Петра Великого, расширяется, осложняя накоплявшийся запас специальных повинностей новыми тягостями, падавшими на отдельные классы. Среди этого непрерывного напряжения народных сил окончательно гибнет и свобода крестьянского труда, владельческие крестьяне попадают в крепостную неволю, и самая эта неволя становится новой специальной государственной повинностью, падающей на этот класс. Но стесняемый политически, народный труд расширяется экономически: к прежней сельскохозяйственной эксплоатации страны теперь присоединяется и промышленная ее разработка; рядом с земледелием, остающимся главной производительной силой государства, является с возрастающим значением в народном хозяйстве и промышленность обрабатывающая, заводско-фабричная, поднимающая нетронутые дотоле естественные богатства страны.

Их соотношение.

Таковы главные новые факты, обнаруживающиеся в период, который нам предстоит изучать; это—новая династия, новые пределы государственной территории, новый строй общества с новым правительственным классом во главе, новый склад народного хозяйства. Соотношение этих фактов способно вызвать недоумение. В них при первом взгляде легко заметить два параллельных течения: 1) *до половины XIX века внешнее территориальное расширение государства идет в обратно-пропорциональном отношении к развитию внутренней свободы народа; 2) политическое положение трудящихся классов устанавливается в обратно-пропорциональном отношении к экономической производительности их труда*, т. е. этот труд становится тем менее свободен, чем более

делается производителен. Отношение народного хозяйства к социальному строю народа, открывающееся во втором процессе, противоречит нашему привычному представлению о связи производительности народного труда с его свободой. Мы привыкли думать, что рабский труд не может равняться в энергии с трудом свободным, и что трудовая сила не может развиваться в ущерб правовому положению трудящихся классов. Это экономическое противоречие еще обостряется политическим. Сопоставляя психологию народов с жизнью отдельных людей, мы привыкли думать, что по мере усиления массовой, как и индивидуальной деятельности, и по мере расширения ее поприща в массах, как и в отдельных людях, поднимается сознание своей силы, а это сознание — источник чувства политической свободы. Открывающееся в нашей истории влияние территориального расширения государства на отношение государственной власти к обществу не оправдывает и этого мнения: у нас по мере расширения территории вместе с ростом внешней силы народа все более стеснялась его внутренняя свобода. Напряжение народной деятельности глушило в народе его силы, на расширявшемся завоеваниями поприще увеличивался размах власти, но уменьшалась подъемная сила народного духа. Внешние успехи новой России напоминают полет птицы, которую вихрь несет и подбрасывает не в меру силы ее крыльев. С обоими указанными противоречиями связано третье. Я сейчас сказал о поглощении московского боярства дворянством. Закон 1682 г., отменивший местничество, закрепил это поглощение, формально уравнял оба служилые класса по службе. Боярство, аристократия породы, было правящим классом. Отмена местничества служила первым шагом по пути к демократизации управления. Но на этом движение не остановилось: за пер-

вым шагом последовали дальнейшие. В эпоху Петра старое московское дворянство «по отечеству» пополняется из всех слоев общества, даже из иноземцев, людьми разных чинов, не только «белых» нетяглых, но и черных тяглых, даже холопами, поднимавшимися выслугой: табель о рангах 1722 г. широко раскрывает этим «разночинцам» служебные двери в «лучшее старшее дворянство». Можно было бы ожидать, что вся эта социальная перетасовка господствующего класса поведет к демократическому уравнению общества. Но худея генеалогически, правящий класс непомерно добрел политически: облагороженные разночинцы получали личные и общественные права, каких не имело старое родовитое боярство. Поместья стали собственностью дворянства, крестьяне его крепостными; при Петре III с сословия снята была обязательная служба; при Екатерине II оно получило новое корпоративное устройство с сословным самоуправлением, с широким участием в местном управлении и суде и с правом «делать представления и жалобы» самой верховной власти; при Николае I это преимущество расширено было правом дворянских собраний делать власти представления и о нуждах всех других классов местного общества. Вместе с такими сословными приобретениями росла и политическая сила сословия. Уже в XVII в. московское правительство начинает править обществом посредством дворянства, а в XVIII в. это дворянство само пытается править обществом посредством правительства. Но политический принцип, под фирмой которого оно хотело властвовать, перегнул его по своему: в XIX в дворянство пристроено было к чиновничеству, как его плодовитейший рассадник, и в половине этого века Россия управлялась не аристократией и не демократией, а бюрократией, т. е. действовавшей вне общества и лишенной всякого социального

облика кучей физических лиц разнообразного происхождения, объединенных только чинопроизводством. Таким образом *демократизация* управления сопровождалась усилением социального неравенства и дробности. Это социальное неравенство еще усиливалось нравственным отчуждением правящего класса от управляемой массы. Говорят, культура сближает людей, уравнивает общество. У нас было не совсем так. Все усиливавшееся общение с западной Европой приносило к нам идеи, нравы, знания, много культуры: но этот приток скользил по верхушкам общества, осаждаясь на дно частичными реформами, более или менее осторожными и бесплодными. Просвещение стало сословной монополией господ, до которой не могло без опасности для государства дотрогиваться непросвещенное простонародье, пока не просветится. В исходе XVII в. люди, задумавшие учредить в Москве академию, первое у нас высшее училище, находили возможным открыть доступ в нее «всякого чина, сана и возраста людям» без оговорок. Полтораста лет спустя, при Николае I секретный комитет гр. Кочубея, на который возложено было чисто преобразовательное поручение, решительно высказался по поводу самоубийства обучавшегося живописи дворового человека за вред допущения крепостных людей «в такие училища, где они приучаются к роду жизни, к образу мыслей и понятиям, не соответствующим их состоянию».

Изложенные три процесса, полные таких противоречий и захватывающие все главные явления периода, не были *аномалиями*, отрицанием исторической закономерности: назовем их лучше историческими *антиномиями*, исключениями из правил исторической жизни, произведениями своеобразного местного склада условий, который, однако, раз образовавшись, в дальнейшем своем действии повинуется уже общим законам человеческой жизни, как орга-

низм с расстроенной нервной системой функционирует по общим нормам органической жизни, только производит соответствующие своему расстройству ненормальные явления.

Внешняя политика и внутренняя жизнь.

Объяснения этих антиномий нашей новой истории надобно искать в том отношении, какое устанавливалось у нас между государственными потребностями и народными средствами для их удовлетворения. Когда перед европейским государством становятся новые и трудные задачи, оно ищет новых средств в своем народе и обыкновенно их находит, потому что европейский народ, живя нормальной, последовательной жизнью, свободно работая и размышляя без особенной натуги, уделяет на помощь своему государству заранее заготовленный избыток своего труда и мысли,— избыток труда в виде усиленных налогов, избыток мысли в лице подготовленных умелых и добросовестных государственных дельцов. Все дело в том, что в таком народе культурная работа ведется незримыми и неуловимыми, но дружными усилиями отдельных лиц и частных союзов независимо от государства и обыкновенно предупреждает его нужды. У нас дело шло в обратном порядке. Когда царь Михаил, сев на разоренное царство, через посредство земского собора обратился к земле за помощью, он встретил в избравших его земских представителях преданных и покорных подданных, но не нашел в них ни пригодных сотрудников, ни состоятельных плательщиков. Тогда пробудилась мысль о необходимости и средствах подготовки тех и других, о том, как добываются и дельцы, и деньги там, где того и другого много; тогда московские купцы заговорили перед правительством о пользе иноземцев, которые могут доставить «кормление», заработок бедным русским людям, научив их своим мастерствам и промыслам. С тех пор не раз повторялось однообразное явление. Государство

запутывалось в нарождавшихся затруднениях; правительство, обыкновенно их не предусматривавшее и не предупреждавшее, начинало искать в обществе идей и людей, которые выручили бы его, и не находя ни тех, ни других, скрепя сердце, обращалось к Западу, где видело старый и сложный культурный прибор, изготовлявший и людей, и идеи, спешно вызывало оттуда мастеров и ученых, которые завели бы нечто подобное и у нас, наскоро строило фабрики и учреждало школы, куда загоняло учеников. Но государственная нужда не терпела отсрочки, не ждала, пока загнанные школьники доучат свои буквари, и удовлетворять ее приходилось, так сказать, сырьем, принудительными жертвами, подрывавшими народное благосостояние и стеснявшими общественную свободу. Государственные требования, донельзя напрягая народные силы, не поднимали их, а только истощали: просвещение по казенной надобности, а не по внутренней потребности, давало тощие, мерзлые плоды, и эти припадочные порывы к образованию порождали в подроставших поколениях только скуку и отвращение к науке, как к рекрутской повинности. Народное образование получило характер правительственного заказа или казенной поставки подростков для выучки по определенной программе. Учреждались дорогие дворянские кадетские корпуса, инженерные школы, воспитательные общества для благородных и мещанских девиц, академии художеств, гимназии, разводились в барских теплицах тропические растения, но на протяжении двух столетий не открыли ни одной чисто народной общеобразовательной или земледельческой школы. Новая европеизированная Россия в продолжение четырех-пяти поколений была Россией гвардейских казарм, правительственных канцелярий и барских усадеб: последние проводили в первые и во вторые посредством легкой

перегонки в доморощенных школах или экзотических пансионах своих недорослей, а взамен их получали оттуда отставных бригадиров с мундиром. Выдавливая из населения таким способом надобных дельцов, государство укореняло в обществе грубо-утилитарный взгляд на науку, как путь к чинам и взяткам, и вместе с тем формировало из верхних классов, всего более из дворянства, новую служилую касту, оторванную от народа сословными и чиновными преимуществами и предрассудками, а еще более служебными злоупотреблениями. Так случилось, что расширение государственной территории, напрягая не в меру и истощая народные средства, только усиливало государственную власть, не поднимая народного самосознания, вталкивало в состав управления новые более демократические элементы и при этом обостряло неравенство и рознь общественного состава, осложняло народно-хозяйственный труд новыми производствами, обогащая не народ, а казну и отдельных предпринимателей, и вместе с тем принижало политически трудящиеся классы. Все эти неправильности имели один общий источник — *неестественное отношение внешней политики государства к внутреннему росту народа:* народные силы в своем развитии отставали от задач, становившихся перед государством вследствие его ускоренного внешнего роста, духовная работа народа не поспевала за материальной деятельностью государства. Государство пухло, а народ хирел.

Общий ход дел.

Едва ли в истории какой-либо другой страны влияние международного положения государства на его внутренний строй было более могущественно, и ни в какой период нашей истории оно не обнаруживалось так явственно, как в тот, к которому мы теперь обращаемся. Припомним главные задачи внешней политики Московского государства в XV—XVI вв. и их происхождение, их связь с прошлыми

судьбами нашей страны. В I период нашей истории под напором внешних врагов разноплеменные и рассеянные элементы населения кой-как сжались в нечто цельное; завязывалась русская народность. Во II период среди усиленных внешних ударов с татарской и литовской стороны эта народность разбилась на две ветви: великорусскую и малорусскую, и с тех пор каждая из них имела свою особую судьбу. Великорусская ветвь в лесах верхнего Поволжья сохранила свои силы и развила их в терпеливой борьбе с суровой природой и внешними врагами. Благодаря тому она смогла сомкнуться в довольно устойчивое боевое государство. В III период это государство, объединившее Великороссию, поставило себе задачей восстановить политическое и национальное единство всей Русской земли. Постановка этой задачи и приступ к ее разрешению — только приступ — были главным делом старой династии московских государей. Нам уже известны народные усилия, потраченные на это дело, и успехи, достигнутые в этом направлении к концу XVI в. В стремлении к этой цели общество в Московском государстве усвоило ту тяжелую политическую организацию, которую мы изучали в предшествующем периоде. В XVII в., после территориальных потерь Смутного времени, внешняя борьба стала еще тяжелее; в том же направлении изменился и общественный строй. Под тягостями войн с Польшей и Швецией прежние дробные экономические состояния, чины, еще сохранившие признаки свободы труда и передвижения, в интересах казны и службы были сбиты в крупные сословия, а большая часть сельского населения попала в крепостную неволю. При Петре I основная пружина государственного порядка достигла высшей степени напряжения: сословная разверстка специальных повинностей стала еще тяжелее, чем была

в XVII в. К прежним сословным тягостям он прибавил новые, а тягчайшие прежние: рекрутскую и податную, распространил на классы, дотоле свободные от государственных тягостей, на «вольных людей» и холопов. Так зарождается в законодательстве смутная идея *общих повинностей*, если не всесословных, то многосословных, которая в своей дальнейшей разработке обещала значительную перемену в общественном строе. В то же время произошел перелом и во внешней политике государства. Доселе его войны на Западе были в сущности оборонительные, имели целью возвратить земли, недавно от него отторгнутые или считавшиеся его исконным достоянием. С Полтавы они получают наступательный характер, направляются к укреплению завоеванного Петром преобладания России в восточной Европе или к поддержанию европейского равновесия, как элегантно выражались русские дипломаты. С поворота на этот притязательный путь государство стало обходиться народу в несколько раз дороже прежнего, и без могучего подъема производительных сил России, совершенного Петром, народ не оплатил бы роли, какую ему пришлось играть в Европе. После Петра во внутреннюю жизнь государства входит еще новое важное условие. Под недостойными преемниками и преемницами Преобразователя престол заколебался и искал опоры в обществе, прежде всего в дворянстве. В оплату за поддержку законодательство взамен мелькнувшей при Петре идеи всесословных повинностей стало настойчиво проводить мысли о *специальных сословных правах*. Дворянство эманципируется, снимает с себя тягчайшую повинность обязательной службы и не только удерживает старые свои права, но и приобретает широкие новые. Крупицы этих даров падают и на долю высшего купечества. Так всеми льготам и выгодами,

какими могла поступиться власть, осыпаны были верхи общества, а на низы свалили только тяжести и лишения Если бы народ терпеливо вынес такой порядок, Россия выбыла бы из числа европейских стран. Но с половины XVIII в. в народной массе пробуждается тревожное брожение особого характора. Мятежами обилен был и XVII в., и тогда они направлялись против правительства, бояр, воевод и приказных людей. Теперь они принимают социальную окраску, идут против *господ*. Сама пугачевщина выступала под легальным знаменем, несла с собой идею законной власти против екатерининской узурпации с ее пособниками-дворянами. Когда почва затряслась под ногами, в правящих сферах по почину Екатерины II всплывает мысль об уравнении общества, о смягчении крепостного права. Хмурясь и робея, пережевывая одни и те же планы и из царствования в царствование отсрочивая вопрос, малодушными попытками улучшения, не оправдывавшими громкого титула власти, довели дело к половине XIX в. до того, что его разрешение стало требованием стихийной необходимости, особенно когда Севастополь ударил по застоявшимся умам. Итак, ход дел в IV периоде можно изобразить в таком виде: *по мере того, как усиливалось напряжение внешней оборонительной борьбы, усложнялись специальные государственные повинности, падавшие на разные классы общества, и по мере того, как оборонительная борьба превращалась в наступательную, с верхних общественных классов снимались их специальные повинности, заменяясь специальными сословными правами, и скучивались на низших классах, но по мере того, как росло чувство народного недовольства таким неравенством, правительство начинало подумывать о более справедливом устройстве общества.* Постараемся запомнить сейчас изложенную

схему; в ней заключается существенное значение изучаемого периода, ключ к объяснению его важнейших явлений; эта схема послужит нам формулой, раскрытием которой будет занято наше изучение IV периода.

Рост политического сознания.

Таковы порядок явлений IV периода и их взаимоотношение. С этим порядком тесно связан рост политического сознания в русском обществе, движение понятий, вскрывающихся в этих явлениях. К концу XVI века Московское государство устроилось, обзавелось обычными формами и орудиями государственной жизни, имело верховную власть, законодательство, центральное и областное управление, значительное приказное чиновничество, все более размножавшееся общественное деление, все более расчленявшееся, армию, даже смутную мысль о народном представительстве; незаметно только государственных долгов. Но учреждения сами по себе только формы: для успешного их действия необходимо еще содержание, необходимы понятия, помогающие их деятелям уяснять себе их смысл и назначение, необходимы, наконец, нормы и нравы, направляющие их деятельность. Все это не дается сразу в готовом виде, а вырабатывается напряженной мыслью, трудным, подчас болезненным опытом. Московские государственные учреждения были готовы, когда угасала старая династия; но готовы ли были московские государственные умы к тому, чтобы вести в них дела согласно с задачами государства, в целях народного блага? Сделаем, как бы сказать, суммарный подсчет политическому сознанию тогдашних московских людей и для того приложим к этому сознанию возможно простейшее определение государства, чтобы видеть, в какой мере понимали они основные необходимые элементы государственного порядка согласно с сущностью и задачами государства. Эти основные элементы суть: *вер-*

ховная власть, народ, закон и общее благо. Верховная власть в Московском государстве, как мы видели (лекция XXVI), усвоила себе в титулах и сказаниях несколько возвышенных определений; но это были не политические прерогативы, а скорее торжественные орнаменты или дипломатические предвосхищения в роде *государя всея Руси.* В будничном обиходе, в ежедневном обороте понятий и отношений господствовала еще старая удельная норма, служившая реальной, исторически сложившейся основой этой власти и состоявшая в том, что государство московского государя считалось его вотчиной, наследственной собственностью. Новые политические понятия, навязывавшиеся ходом событий, неподатливое мышление перегибало в сторону этой привычной нормы. Московское объединение Великороссии рождало в умах идею народного русского государства; но эта идея, всею своею сущностью отрицавшая вотчину, выражалась в прежней вотчинной схеме, заставлявшей мыслить государя всея Руси не как верховного правителя русского народа, а только как наследственного хозяина, территориального владельца Русской земли: «и вся Русская земля из старины от наших прародителей наша отчина», твердил Иван III. Политическое мышление отставало от территориальных приобретений и династических притязаний, превращая удельные предрассудки в политические недоразумения. И другие элементы государственного порядка преломлялись в тогдашнем сознании под действием этой аномалии, соединявшей в одном существе верховной власти два непримиримые свойства *царя и вотчинника.* Мысль о народе еще не слилась в тогдашнем понимании с идеей государства. Государство понимали не как союз народный, управляемый верховной властью, а как государево хозяйство, в состав которого входили со значением хозяйствен-

ных статей и классы населения, обитавшего на территории государевой вотчины. Потому народное благо, цель государства, подчинялось династическому интересу хозяина земли, и самый закон носил характер хозяйственного распоряжения, исходившего из москворецкой кремлевской усадьбы и устанавливавшего порядок деятельности подчиненного, преимущественно областного управления, а всего чаще— порядок отбывания разных государственных повинностей обывателями. В московском законодательстве до XVII века не встречаем постановлений, которые можно было бы признать основными законами, определяющими строй и права верховной власти, основные права и обязанности граждан. Так основные элементы государственного порядка еще не поддерживались соответственными их природе понятиями. Формы государственного строя, складывавшиеся исторически, силой стихийной закономерности народной жизни, не успели наполниться надлежащим содержанием, оказались выше наличного политическаго сознания людей, в них действовавших. В том и состоит наибольший интерес изучаемого периода, чтобы следить, как вырабатываются в общественном сознании и вливаются в эти формы недостававшие им понятия, составляющие душу политического порядка, как остов государства, ими оживляемый и питаемый, постепенно превращается в государственный организм. Тогда и изложенные мною антиномии утратят свою видимую несообразность, получат свое историческое объяснение.

Таков ряд фактов, который нам предстоит изучить, ряд задач, которые мы должны разрешить. Перечисленные факты нового периода мы будем наблюдать с того момента, когда на московском престоле воцаряется новая династия.

Начало смуты.

Но прежде чем совершилось это воцарение, Московское государство испытало страшное потрясение, поколебавшее

самые глубокие его основы. Оно и дало первый и очень болезненный толчок движению новых понятий, недостававших государственному порядку, построенному угасшею династией. Это потрясение совершилось в первые годы XVII в. и известно в нашей историографии под именем *смуты* или *смутных времен*, по выражению Котошихина. Русские люди, пережившие это тяжелое время, называли его и именно последние его годы «великой разрухой Московского государства». Признаки смуты стали обнаруживаться тотчас после смерти последнего царя старой династии, Федора Ивановича; смута прекращается с того времени, когда земские чины, собравшиеся в Москве в начале 1613 года, избрали на престол родоначальника новой династии, царя Михаила. Значит, смутным временем в нашей истории можно назвать 14—15 лет с 1598 по 1613 год; 14 лет в этой эпохе «сметения» Русской земли считает и современник, келарь Троицкого монастыря Авраамий Палицын, автор сказания об осаде поляками Троицкого Сергиева монастыря. Прежде чем перейти к изучению IV периода, мы должны остановиться на происхождении и значении этого потрясения. Откуда пошла эта смута или эта «московская трагедия» (tragoedia moscovitica), как выражались о ней современники-иностранцы. Вот фабула этой трагедии.

Конец династии.

Грозный царь Иван Васильевич года за два с чем-нибудь до своей смерти, в 1581 г., в одну из дурных минут, какие тогда часто на него находили, прибил свою сноху за то, что она, будучи беременной, при входе свекра в ее комнату, оказалась слишком запросто одетой, simplici vecte induta, как объясняет дело иезуит Антоний Поссевин, приехавший в Москву три месяца спустя после события и знавший его по горячим следам. Муж побитой, наследник отцова

*

престола, царевич Иван вступился за обиженную жену, а вспыливший отец печально-удачным ударом железного костыля в голову положил сына на месте. Царь Иван едва не помешался с горя по сыне, с неистовым воплем вскакивал по ночам с постели, хотел отречься от престола и постричься; однако, как бы то ни было, вследствие этого несчастного случая преемником Грозного стал второй его сын царевич Федор.

Царь Федор.

Поучительное явление в истории старой московской династии представляет этот последний ее царь Федор. Калитино племя, построившее Московское государство, всегда отличалось удивительным уменьем обрабатывать свои житейские дела, страдало фамильным избытком заботливости о земном, и это самое племя, погасая, блеснуло полным отрешением от всего земного, вымерло царем Федором Ивановичем, который, по выражению современников, всю жизнь избывал мирской суеты и докуки, помышляя только о небесном. Польский посол Сапега так описывает Федора: царь мал ростом, довольно худощав, с тихим даже подобострастным голосом, с простодушным лицом, ум имеет скудный или, как я слышал от других и заметил сам, не имеет никакого, ибо, сидя на престоле во время посольского приема, он не переставал улыбаться, любуясь то на свой скипетр, то на державу. Другой современник, швед Петрей, в своем описании Московского государства (1608—1611) также замечает, что царь Федор от природы был почти лишен рассудка, находил удовольствие только в духовных предметах, часто бегал по церквам трезвонить в колокола и слушать обедню. Отец горько упрекал его за это, говоря, что он больше похож на пономарского, чем на царского сына. В этих отзывах, несомненно, есть некоторое преувеличение, чувствуется доля карикатуры. Набожная и почти-

тельная к престолу мысль русских современников пыталась сделать из царя Федора знакомый ей и любимый ею образ подвижничества особого рода. Нам известно, какое значение имело и каким почетом пользовалось в древней Руси *юродство* Христа ради. Юродивый, *блаженный*, отрешался от всех благ житейских, не только от телесных, но и от духовных удобств и приманок, от почестей, славы, уважения и привязанности со стороны ближних. Мало того, он делал боевой вызов этим благам и приманкам: нищий и бесприютный, ходя по улицам босиком, в лохмотьях, поступая не по-людски, по-уродски, говоря неподобные речи, презирая общепринятые приличия, он старался стать посмешищем для неразумных и как бы издевался над благами, которые люди любят и ценят, и над самими людьми, которые их любят и ценят. В таком смирении до самоуничижения древняя Русь видела практическую разработку высокой заповеди о блаженстве нищих духом, которым принадлежит царствие Божие. Эта духовная нищета в лице юродивого являлась ходячей мирской совестью, «лицевым» в живом образе, обличением людских страстей и пороков и пользовалась в обществе большими правами, полной свободой слова: сильные мира сего, вельможи и цари, сам Грозный терпеливо выслушивали смелые насмешливые или бранчливые речи блаженного уличного бродяги, не смея дотронуться до него пальцем. И царю Федору придан был русскими современниками этот привычный и любимый облик: это был в их глазах блаженный на престоле, один из тех нищих духом, которым подобает царство небесное, а не земное, которых Церковь так любила заносить в свои святцы, в укор грязным помыслам и греховным поползновениям русского человека. «Благоюродив бысть от чрева матери своея и ни о чем попечения имея, токмо о душев-

ном спасении»: так отзывается о Федоре близкий ко двору современник князь И. М. Катырев-Ростовский. По выражению другого современника, в царе Федоре мнишество было с царствием соплетено без раздвоения и одно служило украшением другому. Его называли «освятованным царем», свыше предназначенным к святости, к венцу небесному. Словом, в келье или пещере, пользуясь выражением Карамзина, царь Федор был бы больше на месте, чем на престоле. И в наше время царь Федор становился предметом поэтической обработки: так ему посвящена вторая трагедия драматической трилогии графа Ал. Толстого. И здесь изображение царя Федора очень близко к его древнерусскому образу; поэт, очевидно, рисовал портрет блаженного царя с древнерусской летописной его иконы. Тонкой чертой проведена по этому портрету и наклонность к благодушной шутке, какою древнерусский блаженный смягчал свои суровые обличения. Но сквозь внешнюю набожность, какой умилялись современники в царе Федоре, у Ал. Толстого ярко проступает нравственная чуткость: это *вещий простачек*, который бессознательным таинственно-озаренным чутьем умел понимать вещи, каких никогда не понять самым большим умникам. Ему грустно слышать о партийных раздорах, о вражде сторонников Бориса Годунова и князя Шуйского; ему хочется дожить до того, когда все будут сторонниками лишь одной Руси, хочется помирить всех врагов, и на сомнения Годунова в возможности такой общегосударственной мировой горячо возражает:

Ни, ни!
Ты этого, Борис, не разумеешь!
Ты ведай там, как знаешь, государство,
Ты в том горазд, а здесь я больше смыслю,
Здесь надо ведать сердце человека.

В другом месте он говорит тому же Годунову:

> Какой я царь? Меня во всех делах
> И с толку сбить, и обмануть не трудно,
> В одном лишь только я не обманусь:
> Когда меж тем, что бело иль черно,
> Избрать я должен — я не обманусь.

Не следует выпускать из виду исторической подкладки назидательных или поэтических изображений исторического лица современниками или позднейшими писателями. Царевич Федор вырос в Александровской слободе, среди безобразия и ужасов опричнины. Рано по утрам отец, игумен шутовского слободского монастыря, посылал его на колокольню звонить к заутрене. Родившись слабосильным от начавшей прихварывать матери Анастасии Романовны он рос безматерним сиротою в отвратительной опричной обстановке и вырос малорослым и бледнолицым недоростком, расположенным к водянке, с неровной, старчески медленной походкой от преждевременной слабости в ногах. Так описывает царя, когда ему шел 32-й год, видевший его в 1588—89 г. английский посол Флетчер. В лице царя Федора династия вымирала воочию. Он вечно улыбался, но безжизненной улыбкой. Этой грустной улыбкой, как бы молившей о жалости и пощаде, царевич оборонялся от капризного отцовского гнева. Рассчитанное жалостное выражение лица со временем, особенно после страшной смерти старшего брата, в силу привычки превратилось в невольную автоматическую гримасу, с которой Федор и вступил на престол. Под гнетом отца он потерял свою волю, но сохранил навсегда заученное выражение забитой покорности. На престоле он искал человека, который стал бы хозяином его воли: умный шурин Годунов осторожно встал на место бешеного отца.

Б. Годунов.

Умирая, царь Иван торжественно признал своего «смирением обложенного» преемника неспособным к управлению государством и назначил ему в помощь правительственную комиссию, как бы сказать, регентство из нескольких наиболее приближенных вельмож. В первое время по смерти Грозного наибольшей силой среди регентов пользовался родной дядя царя по матери Никита Романович Юрьев; но вскоре болезнь и смерть его расчистили дорогу к власти другому опекуну, шурину царя, Борису Годунову. Пользуясь характером царя и поддержкой сестры-царицы, он постепенно оттеснил от дел других регентов и сам стал править государством именем зятя. Его мало назвать премьер-министром; это был своего рода диктатор или, как бы сказать, соправитель: царь по выражению Котошихина, учинил его над государством своим во всяких делах правителем, сам предавшись «смирению и на молитву». Так громадно было влияние Бориса на царя и на дела. По словам упомянутого уже кн. Катырева-Ростовского, он захватил такую власть, «яко же и самому царю во всем послушну ему быти». Он окружался царственным почетом, принимал иноземных послов в своих палатах с величавостью и блеском настоящего потентата, «не меньшею честию пред царем от людей почтен бысть». Он правил умно и осторожно, и четырнадцатилетнее царствование Федора было для государства временем отдыха от погромов и страхов опричнины. Умилосердился Господь, пишет тот же современник, на людей своих и даровал им благополучное время, позволил царю державствовать тихо и безмятежно, и все православное христианство начало утешаться и жить тихо и безмятежно. Удачная война со Швецией не нарушила этого общего настроения. Но в Москве начали ходить самые тревожные слухи. После царя Ивана

остался младший сын Димитрий, которому отец, по старинному обычаю московских государей, дал маленький удел, город Углич с уездом. В самом начале царствования Федора для предупреждения придворных интриг и волнений этот царевич со своими родственниками по матери Нагими был удален из Москвы. В Москве рассказывали, что этот семилетний Димитрий, сын пятой венчанной жены царя Ивана (не считая невенчанных), следовательно, царевич сомнительной законности с канонической точки зрения, выйдет весь в батюшку времен опричнины, и что этому царевичу грозит большая опасность со стороны тех близких к престолу людей, которые сами метят на престол в очень вероятном случае бездетной смерти царя Федора. И вот как бы в оправдание этих толков в 1591 г. по Москве разнеслась весть, что удельный князь Димитрий среди бела дня зарезан в Угличе, и что убийцы были тут же перебиты поднявшимися горожанами, так что не с кого стало снять показаний при следствии. Следственная комиссия, посланная в Углич во главе с князем В. И. Шуйским, тайным врагом и соперником Годунова, вела дело бестолково или недобросовестно, тщательно расспрашивала о побочных мелочах и позабыла разведать важнейшие обстоятельства, не выяснила противоречий в показаниях, вообще страшно запутала дело. Она постаралась прежде всего уверить себя и других, что царевич не зарезан, а зарезался сам в припадке падучей болезни, попавши на нож, которым играл с детьми. Потому угличане были строго наказаны за самовольную расправу с мнимыми убийцами. Получив такое донесение комиссии, патриарх Иов, приятель Годунова, при его содействии и возведенный два года назад в патриарший сан, объявил соборне, что смерть царевича приключилась судом Божиим. Тем дело пока и кон-

чилось. В январе 1598 года умер царь Федор. После него не осталось никого из калитиной династии, кто бы мог занять опустевший престол. Присягнули было вдове покойного, царице Ирине, но она постриглась. Итак, династия вымерла не чисто, не своею смертью. Земский собор под председательством того же патриарха Иова избрал на царство правителя Бориса Годунова.

Борис на престоле.

Борис и на престоле правил так же умно и осторожно, как прежде, стоя у престола при царе Федоре. По своему происхождению он принадлежал к большому, хотя и не первостепенному боярству. Годуновы—младшая ветвь старинного и важного московского боярского рода, шедшего отъ выехавшего из Орды в Москву при Калите мурзы Чета. Старшая ветвь того же рода, Сабуровы, занимали очень видное место в московском боярстве; но Годуновы поднялись лишь недавно, в царствование Грозного, и опричнина, кажется, много помогла их возвышению. Борис был посаженным отцом на одной из многочисленных свадеб царя Ивана во время опричнины; притом он стал зятем Малюты Скуратова Бельского, шефа опричников, а женитьба царевича Федора на сестре Бориса еще более укрепила его положение при дворе. До учреждения опричнины в Боярской думе не встречаем Годуновых; они появляются в ней только с 1573 г.; зато со смерти Грозного они посыпались туда и все в важных званиях бояр и окольничих. Но сам Борис не значился в списках опричников и тем не уронил себя в глазах общества, которое смотрело на них, как на отверженных людей, «кромешников»; так острили над ними современники, играя синонимами *опричь* и *кроме*. Борис начал царствование с большим успехом, даже блеском, и первыми действиями на престоле вызвал всеобщее одобрение. Современные витии кудревато писали о нем, что он

своей политикой внутренней и внешней «зело прорассудительное к народам мудроправство показа». В нем находили «велемудрый и многорассудный разум», называли его мужем зело чудным и сладкоречивым и строительным вельми, державе своей многозаботливым. С восторгом отзывались о наружности и личных качествах царя, писали, что «никто бе ему от царских синклит подобен в благолепии лица его и в рассуждении ума его», хотя и замечали с удивлением, что это был первый в России бескнижный государь, «грамотичного учения не сведый до мала от юности, яко ни простым буквам навычен бе». Но, признавая, что он наружностью и умом всех людей превосходил и много похвального учинил в государстве, был светлодушен, милостив и нищелюбив, хотя и неискусен в военном деле, находили в нем и некоторые недостатки: он цвел добродетелями и мог бы древним царям уподобиться, если бы зависть и злоба не омрачили этих добродетелей. Его упрекали в ненасытном властолюбии и в наклонности доверчиво слушать наушников и преследовать без разбора оболганных людей, за что и восприял он возмездие. Считая себя малоспособным к ратному делу и не доверяя своим воеводам, царь Борис вел нерешительную, двусмысленную внешнюю политику, не воспользовался ожесточенной враждой Польши со Швецией, что давало ему возможность союзом с королем шведским приобрести от Польши Ливонию. Главное его внимание обращено было на устройство внутреннего порядка в государстве, на «исправление всех нужных царству вещей» по выражению келаря А. Палицына, и в первые два года царствования, замечает келарь, Россия цвела всеми благами. Царь крепко заботился о бедных и нищих, расточал им милости, но жестоко преследовал злых людей и такими мерами приобрел огромную популярность, «всем любезен

бысть». В устроении внутреннего государственного порядка он даже обнаруживал необычную отвагу. Излагая историю крестьян в XVI в. (лекция XXXVII), я имел случай показать, что мнение об установлении крепостной неволи крестьян Борисом Годуновым принадлежит к числу наших исторических сказок. Напротив, Борис готов был на меру, имевшую упрочить свободу и благосостояние крестьян; он, повидимому, готовил указ, который бы точно определил повинности и оброки крестьян в пользу землевладельцев. Это — закон, на который не решалось русское правительство до самого освобождения крепостных крестьян.

Толки и слухи про Бориса.

Так начал царствовать Борис. Однако, несмотря на многолетнюю правительственную опытность, на милости, какие он щедро расточал по воцарении всем классам, на правительственные способности, которым в нем удивлялись, популярность его была непрочна. Борис принадлежал к числу тех злосчастных людей, которые и привлекали к себе, и отталкивали от себя, — привлекали видимыми качествами ума и таланта, отталкивали незримыми, но чуемыми недостатками сердца и совести. Он умел вызвать удивление и признательность, но никому не внушал доверия; его всегда подозревали в двуличии и коварстве и считали на все способным. Несомненно, страшная школа Грозного, которую прошел Годунов, положила на него неизгладимый печальный отпечаток. Еще при царе Федоре у многих составился взгляд на Бориса, как на человека умного и деловитого, но на все способного, не останавливающегося ни перед каким нравственным затруднением. Внимательные и беспристрастные наблюдатели, как дьяк Ив. Тимофеев, автор любопытных записок о Смутном времени, характеризуя Бориса, от суровых порицаний прямо переходят к восторженным хвалам и только недоумевают, откуда

бралось у него все, что он делал доброго, было ли это даром природы или делом сильной воли, умевшей до времени искусно носить любую личину. Этот «рабоцарь», царь из рабов, представлялся им загадочною смесью добра и зла, игроком, у которого чашки на весах совести постоянно колебались. При таком взгляде не было подозрения и нарекания, которого народная молва не была бы готова повесить на его имя. Он и хана крымского под Москву подводил, и доброго царя Федора с его дочерью ребенком Федосьей, своей родной премянницей, уморил и даже собственную сестру царицу Александру отравил; и бывший земский царь, полузабытый ставленник Грозного Семен Бекбулатович, ослепший под старость, ослеплен все тем же Б. Годуновым; он же кстати и Москву жег тотчас по убиении царевича Димитрия, чтобы отвлечь внимание царя и столичного общества от углицкого злодеяния. Б. Годунов стал излюбленной жертвой всевозможной политической клеветы. Кому же, как не ему, убить и царевича Димитрия? Так решила молва, и на этот раз не спроста. Незримые уста понесли по миру эту роковую для Бориса молву. Говорили, что он не без греха в этом темном деле, что это он подослал убийц к царевичу, чтобы проложить себе дорогу к престолу. Современные летописцы рассказывали об участии Бориса в деле, конечно, по слухам и догадкам. Прямых улик у них, понятно, не было и быть не могло: властные люди в подобных случаях могут и умеют прятать концы в воду. Но в летописных рассказах нет путаницы и противоречий, какими полно донесение углицкой следственной комиссии. Летописцы верно понимали затруднительное положение Бориса и его сторонников при царе Федоре: оно побуждало бить, чтобы не быть побитым. Ведь Нагие не пощадили бы Годуновых, если бы воцарился

углицкий царевич. Борис отлично знал по самому себе, что люди, которые ползут к ступенькам престола, не любят и не умеют быть великодушными. Одним разве летописцы возбуждают некоторое сомнение: это—неосторожная откровенность, с какою ведет себя у них Борис. Они взваливают на правителя не только прямое и деятельное участие, но как будто даже почин в деле: неудачные попытки отравить царевича, совещания с родными и присными о других средствах извести Димитрия, неудачный первый выбор исполнителей, печаль Бориса о неудаче, утешение его Клешниным, обещающим исполнить его желание,—все это подробности, без которых, казалось бы, могли обойтись люди, столь привычные к интриге. С таким мастером своего рода, как Клешнин, всем обязанный Борису и являющийся руководителем углицкого преступления, не было нужды быть столь откровенным: достаточно было прозрачного намека, молчаливого внушительного жеста, чтобы быть понятым. Во всяком случае трудно предположить, чтобы это дело сделалось без ведома Бориса, подстроено было какой нибудь чересчур услужливой рукой, которая хотела сделать угодное Борису, угадывая его тайные помыслы, а еще более обеспечить положение своей партии, державшейся Борисом. Прошло семь лет,—семь безмятежных лет правления Бориса. Время начинало стирать углицкое пятно с Борисова лица. Но со смертию царя Федора подозрительная народная молва оживилась. Пошли слухи, что и избрание Бориса на царство было нечисто, что, отравив царя Федора, Годунов достиг престола полицейскими уловками, которые молва возводила в целую организацию. По всем частям Москвы и по всем городам разосланы были агенты, даже монахи из разных монастырой, подбивавшие народ просить Бориса на царство «всем миром»; даже

царица-вдова усердно помогала брату тайно деньгами и льстивыми обещаниями, соблазняя стрелецких офицеров действовать в пользу Бориса. Под угрозой тяжелого штрафа за сопротивление полиция в Москве сгоняла народ к Новодевичьему монастырю челом бить и просить у постригшейся царицы ее брата на царство. Многочисленные пристава наблюдали, чтоб это народное челобитье приносилось с великим воплем и слезами, и многие, не имея слез наготове, мазали себе глаза слюнями, чтобы отклонить от себя палки приставов. Когда царица подходила к окну кельи, чтобы удостовериться во всенародном молении и плаче, по данному из кельи знаку весь народ должен был падать ниц на землю; не успевших или не хотевших это сделать пристава пинками в шею сзади заставляли кланяться в землю и все, поднимаясь, завывали точно волки. От неистового вопля расседались утробы кричавших, лица багровели от натуги, приходилось затыкать уши от общего крика. Так повторялось много раз. Умиленная зрелищем такой преданности народа, царица, наконец, благословила брата на царство. Горечь этих рассказов, может быть преувеличенных, резко выражает степень ожесточения, какое Годунов и его сторонники постарались поселить к себе в обществе. Наконец, в 1604 г. пошел самый страшный слух. Года три уже в Москве шептали про неведомого человека, называвшего себя царевичем Димитрием. Теперь разнеслась громкая весть, что агенты Годунова промахнулись в Угличе, зарезали подставного ребенка, а настоящий царевич жив и идет из Литвы добывать прародительский престол. Замутились при этих слухах умы у русских людей и пошла смута. Царь Борис умер весной 1605 г., потрясенный успехами самозванца, который, воцарившись в Москве, вскоре был убит.

Самозванство.

Так подготовлялась и началась смута. Как вы видите, она была вызвана двумя поводами: насильственным и таинственным пресечением старой династии и потом искусственным ее воскрешением в лице первого самозванца. Насильственное и таинственное пресечение династии было первым толчком к смуте. Пресечение династии есть, конечно, несчастие в истории монархического государства; нигде однако оно не сопровождалось такими разрушительными последствиями, как у нас. Погаснет династия, выберут другую и порядок восстановляется; при этом обыкновенно не появляются самозванцы, или на появившихся не обращают внимания, и они исчезают сами собою. А у нас с легкой руки первого Лжедимитрия самозванство стало хроническою болезнью государства: с тех пор чуть не до конца XVIII в. редкое царствование проходило без самозванца, а при Петре за недостатком такового народная молва настоящего царя превратила в самозванца. Итак, ни пресечение династии, ни появление самозванца не могли бы сами по себе послужить достаточными причинами смуты; были какие либо другие условия, которые сообщили этим событиям такую разрушительную силу. Этих настоящих причин смуты надобно искать под внешними поводами, ее вызвавшими.

Лекция XLII.

Последовательное вхождение в смуту всех классов общества.— Царь Борис и бояре.—Лжедимитрий I и бояре. — Царь Василий и большое боярство.—Подкрестная запись царя Василия и ее значение. — Среднее боярство и столичное дворянство. — Договор 4 февраля 1610 г. и московский договор 17 августа 1610 г.—Их сравнение. — Провинциальное дворянство и земский приговор 30 июня 1611 г. Участие низших классов в смуте.

Скрытые причины смуты открываются при обзоре событий Смутного времени в их последовательном развитии и внутренней связи. Отличительной особенностью смуты является то, что в ней последовательно выступают все классы русского общества и выступают в том самом порядке, в каком они лежали в тогдашнем составе русского общества, как были размещены по своему сравнительному значению в государстве на социальной лествице чинов. На вершине этой лествицы стояло боярство: оно и начало смуту.

Царь Борис.

Царь Борис законным путем земского соборного избрания вступил на престол и мог стать основателем новой династии как по своим личным качествам, так и по своим политическим заслугам. Но бояре, много натерпевшиеся при Грозном, теперь при выборном царе из своей братии не хотели довольствоваться простым обычаем, на котором держалось

их политическое значение при прежней династии. Они ждали от Бориса более прочного обеспечения этого значения, т. е. ограничения его власти формальным актом, «чтобы он государству по предписанной грамоте крест целовал», как говорит известие, дошедшее от того времени в бумагах историка XVIII в. Татищева. Борис поступил с обычным своим двоедушием: он хорошо понимал молчаливое ожидание бояр, но не хотел ни уступить, ни отказать прямо, и вся затеянная им комедия упрямого отказа от предлагаемой власти была только уловкой с целью уклониться от условий, на которых эта власть предлагалась. Бояре молчали, ожидая, что Годунов сам заговорит с ними об этих условиях, о крестоцеловании, а Борис молчал и отказывался от власти, надеясь, что земский собор выберет его без всяких условий. Борис перемолчал бояр и был выбран без всяких условий. Эта была ошибка Годунова, за которую он со своей семьей жестоко поплатился. Он сразу дал этим чрезвычайно фальшивую постановку своей власти. Ему следовало всего крепче держаться за свое значение земского избранника, а он старался пристроиться к старой династии по вымышленным завещательным распоряжениям. Соборное определение смело уверяет, будто Грозный, поручая Борису своего сына Федора, сказал: «по его преставлении тебе приказываю и царство сие». Как будто Грозный предвидел и гибель царевича Дмитрия, и бездетную смерть Федора. И царь Федор, умирая, будто «вручил царство свое» тому же Борису. Все эти выдумки— плод приятельского усердия патриарха Иова, редактировавшего соборное определение. Борис был не наследственный вотчинник Московского государства, а народный избранник, начинал особый ряд царей с новым государственным значением. Чтобы не быть смешным или ненавистным,

ему следовало и вести себя иначе, а не пародировать погибшую династию с ее удельными привычками и предрассудками. Большие бояре с князьями Шуйскими во главе были против избрания Бориса, опасаясь, по выражению летописца, что «быти от него людям и себе гонению». Надобно было рассеять это опасение, и некоторое время большое боярство, кажется, ожидало этого. Один сторонник царя Василия Шуйского, писавший по его внушению, замечает, что большие бояре князья Рюриковичи, сродники по родословцу прежних царей московских и достойные их преемники, не хотели избирать царя из своей среды, а отдали это дело на волю народа, так как и без того они были при прежних царях велики и славны не только в России, но и в дальних странах. Но это величие и славу надобно было обеспечить от произвола, не признающего ни великих, ни славных, а опеспечение могло состоять только в ограничении власти избранного царя, чего и ждали бояре. Борису следовало взять на себя почин в деле, превратив при этом земский собор из случайного должностного собрания в постоянное народное представительство, идея которого уже бродила, как мы видели (лекция XL), в московских умах при Грозном и созыва которого требовал сам Борис, чтобы быть всенародно избранным. Это примирило бы с ним оппозиционное боярство и—кто знает?—отвратило бы беды, постигшие его с семьей и Россию, сделав его родоначальником новой династии. Но «проныръ лукавый» при недостатке политического сознания перехитрил самого себя. Когда бояре увидали, что их надежды обмануты, что новый царь расположен править так же самовластно, как правил Иван Грозный, они решили тайно действовать против него. Русские современники прямо объясняют несчастия Бориса негодованием чиноначальников всей Русской земли, от кото-

рых много напастных зол на него восстало. Чуя глухой ропот бояр, Борис принял меры, чтобы оградить себя от их козней: была сплетена сложная сеть тайного полицейского надзора, в котором главную роль играли боярские холопы, доносившие на своих господ, и выпущенные из тюрем воры, которые, шныряя по московским улицам, подслушивали, что говорили о царе, и хватали каждого, сказавшего неосторожное слово. Донос и клевета быстро стали страшными общественными язвами: доносили друг на друга люди всех классов, даже духовные; члены семейств боялись говорить друг с другом; страшно было произнести имя царя—сыщик хватал и доставлял в застенок. Доносы сопровождались опалами, пытками, казнями и разорением домов. «Ни при одном государе таких бед не бывало», по замечанию современников. С особенным озлоблением накинулся Борис на значительный боярский кружок с Романовыми во главе, в которых, как в двоюродных братьях царя Федора, видел своих недоброжелателей и соперников. Пятерых Никитичей, их родных и приятелей с женами, детьми, сестрами, племянниками разбросали по отдаленным углам государства, а старшего Никитича, будущего патриарха Филарета, при этом еще и постригли, как и жену его. Наконец, Борис совсем обезумел, хотел знать домашние помыслы, читать в сердцах и хозяйничать в чужой совести. Он разослал всюду особую молитву, которую во всех домах за трапезой должны были произносить при заздравной чаше за царя и его семейство. Читая эту лицемерную и хвастливую молитву, проникаешься сожалением, до чего может потеряться человек, хотя бы и царь. Всеми этими мерами Борис создал себе ненавистное положение. Боярская знать с вековыми преданиями скрылась по подворьям, усадьбам и дальним тюрьмам. На ее место повылезли из щелей

неведомые Годуновы с товарищи и завистливой шайкой окружили престол, наполнили двор. На место династии стала родня, главой которой явился земский избранник, превратившийся в мелкодушного полицейского труса. Он спрятался во дворце, редко выходил к народу и не принимал сам челобитных, как это делали прежние цари. Всех подозревая, мучаясь воспоминаниями и страхами, он показал, что всех боится, как вор, ежеминутно опасающийся быть пойманным, по удачному выражению одного жившего тогда в Москве иностранца.

Лжедимитрий I.

В гнезде наиболее гонимого Борисом боярства с Романовыми во главе, по всей вероятности, и была высижена мысль о самозванце. Винили поляков, что они его подстроили; но он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве. Не даром Борис, как только услыхал о появлении Лжедимитрия, прямо сказал боярам, что это их дело, что они подставили самозванца. Этот *неведомый кто-то*, воссевший на московский престол после Бориса, возбуждает большой анекдотический интерес. Его личность доселе остается загадочной, несмотря на все усилия ученых разгадать ее. Долго господствовало мнение, идущее от самого Бориса, что это был сын галицкого мелкого дворянина Юрий Отрепьев, в иночестве Григорий. Не буду рассказывать о похождениях этого человека, вам достаточно известных. Упомяну только, что в Москве он служил холопом у бояр Романовых и у князя Черкасского, потом принял монашество, за книжность и составление похвалы московским чудотворцам взят был к патриарху в книгописцы и здесь вдруг с чего-то начал говорить, что он, пожалуй, будет и царем на Москве. Ему предстояло за это заглохнуть в дальнем монастыре; но какие-то сильные люди прикрыли его, и он бежал в Литву в то самое

время, когда обрушились опалы на романовский кружок. Тот, кто в Польше назвался царевичем Димитрием, признавался, что ему покровительствовал В. Щелкалов, большой дьяк, тоже подвергавшийся гонению от Годунова. Трудно сказать, был ли первым самозванцем этот Григорий, или кто другой, что, впрочем, менее вероятно. Но для нас важна не личность самозванца, а его личина, роль, им сыгранная. На престоле московских государей он был небывалым явлением. Молодой человек, роста ниже среднего, некрасивый, рыжеватый, неловкий, с грустно-задумчивым выражением лица, он в своей наружности вовсе не отражал своей духовной природы: богато одаренный, с бойким умом, легко разрешавшим в Боярской думе самые трудные вопросы, с живым, даже пылким темпераментом, в опасные минуты доводившим его храбрость до удальства, податливый на увлечения, он был мастер говорить, обнаруживал и довольно разнообразные знания. Он совершенно изменил чопорный порядок жизни старых московских государей и их тяжелое, угнетательное отношение к людям, нарушал заветные обычаи священной московской старины, не спал после обеда, не ходил в баню, со всеми обращался просто, обходительно, не по-царски. Он тотчас показал себя деятельным управителем, чуждался жестокости, сам вникал во все, каждый день бывал в Боярской думе, сам обучал ратных людей. Своим образом действий он приобрел широкую и сильную привязанность в народе, хотя в Москве кое-кто подозревал и открыто обличал его в самозванстве. Лучший и преданнейший его слуга П. Ф. Басманов под рукой признавался иностранцам, что царь — не сын Ивана Грозного, но его признают царем потому, что присягали ему, и потому еще, что лучшего царя теперь

и не найти. Но сам Лжедимитрий смотрел на себя совсем иначе: он держался как законный, природный царь, вполне уверенный в своем царственном происхождении; никто из близко знавших его людей не подметил на его лице ни малейшей морщины сомнения в этом. Он был убежден, что и вся земля смотрит на него точно так же. Дело о князьях Шуйских, распространявших слухи о его самозванстве, свое личное дело, он отдал на суд всей земли и для того созвал земский собор, первый собор, приблизившийся к типу народно-представительного, с выборными от всех чинов или сословий. Смертный приговор, произнесенный этим собором, Лжедимитрий заменил ссылкой, но скоро вернул ссыльных и возвратил им боярство. Царь, сознававший себя обманщиком, укравшим власть, едва ли поступил бы так рискованно и доверчиво, а Борис Годунов в подобном случае, наверное, разделался бы с попавшимися келейно в застенке, а потом переморил бы их по тюрьмам. Но как сложился в Лжедимитрии такой взгляд на себя, это остается загадкой столько же исторической, сколько и психологической. Как бы то ни было, но он не усидел на престоле, потому что не оправдал боярских ожиданий. Он не хотел быть орудием в руках бояр, действовал слишком самостоятельно, развивал свои особые политические планы, во внешней политике даже очень смелые и широкие, хлопотал поднять против турок и татар все католические державы с православной Россией во главе. По временам он ставил на вид своим советникам в думе, что они ничего не видали, ничему не учились, что им надо ездить за границу для образования; но это он делал вежливо, безобидно. Всего досаднее было для великородных бояр приближение к престолу мнимой незнат-

ной родни царя и его слабость к иноземцам, особенно к католикам. В Боярской думе рядом с одним кн. Мстиславским, двумя князьями Шуйскими и одним кн. Голицыным в звании бояр сидело целых пятеро каких-нибудь Нагих, а среди окольничих значилось три бывших дьяка. Еще более возмущали не одних бояр, но и всех москвичей своевольные и разгульные поляки, которыми новый царь наводнил Москву. В записках польского гетмана Жолкевского, принимавшего деятельное участие в московских делах Смутного времени, рассказана одна небольшая сцена, разыгравшаяся в Кракове, выразительно изображающая положение дел в Москве. В самом начале 1606 г. туда приехал от Лжедимитрия посол Безобразов известить короля о вступлении нового царя на московский престол. Справив посольство по чину, Безобразов мигнул канцлеру в знак того, что желает поговорить с ним наедине, и назначенному выслушать его пану сообщил данное ему князьями Шуйскими и Голицыными поручение—попенять королю за то, что он дал им в цари человека низкого и легкомысленного, жестокого, распутного мота, недостойного занимать московский престол и не умеющего прилично обращаться с боярами: они де не знают, как от него отделаться, и уж лучше готовы признать своим царем королевича Владислава. Очевидно, большая знать в Москве что-то затевала против Лжедимитрия и только боялась, как бы король не заступился за своего ставленника. Своими привычками и выходками, особенно легким отношением ко всяким обрядам, отдельными поступками и распоряжениями, заграничными сношениями Лжедимитрий возбуждал против себя в различных слоях московского общества множество нареканий и неудовольствий, хотя вне столицы, в народных массах популярность его не ослабевала заметно. Однако, главная причина его падения

была другая. Ее высказал коновод боярского заговора, составившегося против самозванца, кн. В. И. Шуйский. На собрании заговорщиков накануне восстания он откровенно заявил, что признал Лжедимитрия только для того, чтобы избавиться от Годунова. Большим боярам нужно было создать самозванца, чтобы низложить Годунова, а потом низложить и самозванца, чтобы открыть дорогу к престолу одному из своей среды. Они так и сделали, только при этом разделили работу между собою: романовский кружок сделал первое дело, а титулованный кружок с кн. В. И. Шуйским во главе исполнил второй акт. Те и другие бояре видели в самозванце свою ряженую куклу, которую, подержав до времени на престоле, потом выбросили на задворки. Однако, заговорщики не надеялись на успех восстания без обмана. Всего больше роптали на самозванца из-за поляков; но бояре не решались поднять народ на Лжедимитрия и на поляков вместе, а разделили обе стороны, и 17 мая 1606 г. вели народ в Кремль с криком: «поляки бьют бояр и государя». Их цель была окружить Лжедимитрия будто для защиты и убить его.

В. Шуйский.

После царя-самозванца на престол вступил князь В. И. Шуйский, царь-заговорщик. Это был пожилой 54-летний боярин небольшого роста, невзрачный, подслеповатый, человек неглупый, но более хитрый, чем умный, донельзя изолгавшийся и изинтриганившийся, прошедший огонь и воду, видавший и плаху и не попробовавший ее только по милости самозванца, против которого он исподтишка действовал, большой охотник до наушников и сильно побаивавшийся колдунов. Свое царствование он открыл рядом грамот, распубликованных по всему государству, и в каждом из этих манифестов заключалось по меньшей мере по одной лжи. Так в записи, на которой он крест целовал, он писал: «поволил он крест целовать на том, что ему

никого смерти не предавать, не осудя истинным судом с боярами своими». На самом деле, как сейчас увидим, целуя крест, он говорил совсем не то. В другой грамоте, писанной от имени бояр и разных чинов людей, читаем, что по низложении Гришки Отрепьева Освященный собор, бояре и всякие люди избирали государя «всем Московским государством» и избрали князя Василия Ивановича, всея Руси самодержца. Акт говорит ясно о соборном избрании царя; но такого избрания не было. Правда, по низвержении самозванца бояре думали как бы сговориться со всей землей и вызвать в Москву из городов всяких людей, чтобы «по совету выбрать государя такого, который бы всем был люб». Но князь Василий боялся городовых, провинциальных избирателей и сам посоветовал обойтись без земского собора. Его признали царем келейно немногие сторонники из большого титулованного боярства, а на Красной площади имя его прокричала преданная ему толпа москвичей, которых он поднял против самозванца и поляков; даже и в Москве, по летописцу, многие не ведали про это дело. В третьей грамоте от своего имени новый царь не побрезговал лживым или поддельным польским показанием о намерении самозванца перебить всех бояр, а всех православных христиан обратить в люторскую и латынскую веру. Тем не менее воцарение князя Василия составило эпоху в нашей политической истории. Вступая на престол, он ограничил свою власть, и условия этого ограничения официально изложил в разосланной по областям записи, на которой он целовал крест при воцарении.

Подкрестная запись В. Шуйского.

Запись слишком сжата, неотчетлива, производит впечатление спешного чернового наброска. В конце ее царь дает всем православным христианам одно общее клятвенное обязательство судить их «истинным, праведным судом», по

закону, а не по усмотрению. В изложении записи это условие несколько расчленено. Дела о наиболее тяжких преступлениях, караемых смертью и конфискацией имущества преступника, царь обязуется вершить непременно «с бояры своими», т.-е. с думой, и при этом отказывается от права конфисковать имущество у братьи и семьи преступника, не учавствовавших в преступлении. Вслед за тем царь продолжает: «да и доводов (доносов) ложных мне не слушать, а сыскивать всякими сысками накрепко и ставить с очей на очи», а за ложный донос по сыску наказывать смотря по вине, взведенной на оболганного. Здесь речь идет как будто о деяниях, менее преступных, которые разбирались одним царем, без думы, и точнее определяется понятие истинного суда. Так, запись повидимому различает два вида высшего суда: суд царя с думой и единоличный суд царя. Запись оканчивается условием особого рода: царь обязуется «без вины опалы своей не класти». Опала, немилость государя падала на служилых людей, которые чем-либо вызывали его недовольство. Она сопровождалась соответственными неисправности опального или государеву недовольству служебными лишениями, временным удалением от двора, от «пресветлых очей» государя, понижением чина или должности, даже имущественной карой, отобранием поместья или городского подворья. Здесь государь действовал уже не судебной, а дисциплинарной властью, охраняющей интересы и порядок службы. Как выражение хозяйской воли государя, опала не нуждалась в оправдании, и при старомосковском уровне человечности подчас принимала формы дикого произвола, превращаясь из дисциплинарной меры в уголовную кару: при Грозном одно сомнение в преданности долгу службы могло привести опального на плаху. Царь Василий дал смелый обет, кото-

рого потом, конечно, не исполнил, опаляться только за дело, за вину, а для разыскания вины необходимо было установить особое дисциплинарное производство.

Ее характер и происхождение. Запись, как видите, очень односторонняя. Все обязательства, принятые на себя царем Василием по этой записи, направлены были исключительно к ограждению личной и имущественной безопасности подданных от произвола сверху, но не касались прямо общих оснований государственного порядка, не изменяли и даже не определяли точнее значения, компетенции и взаимного отношения царя и высших правительственных учреждений. Царская власть ограничивалась советом бояр, вместе с которым она действовала и прежде; но это ограничение связывало царя лишь в судных делах, в отношении к отдельным лицам. Впрочем, происхождение подкрестной записи было сложнее ее содержания: она имела свою закулисную историю. Летописец рассказывает, что царь Василий тотчас по своем провозглашении пошел в Успенский собор и начал там говорить, чего искони веков в Московском государстве не важивалось: «целую крест *всей земле* на том, что мне ни над кем ничего не делати *без собору*, никакого дурна». Бояре и всякие люди говорили царю, чтобы он *на том* креста не целовал, потому что в Московском государстве того не повелось; но он никого не послушал. Поступок Василия показался боярам революционной выходкой: царь призывал к участию в своей царской судной расправе не Боярскую думу, исконную сотрудницу государей в делах суда и управления, а земский собор, недавнее учреждение, изредка созываемое для обсуждения чрезвычайных вопросов государственной жизни. В этой выходке увидели небывалую новизну, попытку поставить собор на место думы, переместить центр тяжести государственной жизни из боярской

среды в народное представительство. Править с земским собором решался царь, побоявшийся воцариться с его помощью. Но и царь Василий знал, что делал. Обязавшись пред товарищами накануне восстания против самозванца править «по общему совету» с ними, подкинутый земле кружком знатных бояр, он являлся царем боярским, партийным, вынужденным смотреть из чужих рук. Он, естественно, искал земской опоры для своей некорректной власти и в земском соборе надеялся найти противовес Боярской думе. Клятвенно обязуясь перед всей землей не карать без собора, он рассчитывал избавиться от боярской опеки, стать земским царем и ограничить свою власть учреждением, к тому непривычным, т.-е. освободить ее от всякого действительного ограничения. Подкрестная запись в том виде, как она была обнародована, является плодом сделки царя с боярами. По предварительному негласному уговору царь делил свою власть с боярами во всех делах законодательства, управления и суда. Отстояв свою думу против земского собора, бояре не настаивали на обнародовании всех вынужденных ими у царя уступок: с их стороны было даже неблагоразумно являть всему обществу, как чисто удалось им ощипать своего старого петуха. Подкрестная запись усиленно отмечала значение Боярской думы, только как полномочной сотрудницы царя в делах высшего суда. В то время высшему боярству только это и было нужно. Как правительственный класс, оно делило власть с государями в продолжение всего XVI в., но отдельные лица из его среды много терпели от произвола верховной власти при царях Иване и Борисе. Теперь, пользуясь случаем, боярство и спешило устранить этот произвол, оградить частных лиц, т.-е. самих себя, от повторения испытанных бедствий, обязав царя призывать к участию в политическом суде Боярскую думу,

в уверенности, что правительственная власть и впредь останется в его руках в силу обычая.

Ее политическое значение.

При всей неполноте своей подкрестная запись царя Василия есть новый дотоле небывалый акт в московском государственном праве: это—первый опыт построения государственного порядка на основе формально ограниченной верховной власти. В состав этой власти вводился элемент или, точнее, акт, совершенно изменявший ее характер и постановку. Мало того, что царь Василий ограничивал свою власть: крестной клятвой он еще скреплял ее ограничение и являлся не только выборным, но и присяжным царем. Присяга отрицала в самом существе личную власть царя прежней династии, сложившуюся из удельных отношений государя-хозяина: разве домохозяева присягают своим слугам и постояльцам? Вместе с тем царь Василий отказывался от трех прерогатив, в которых наиболее явственно выражалась эта личная власть царя. То были: 1) «опала без вины», царская немилость без достаточного повода, по личному усмотрению; 2) конфискация имущества у непричастной к преступлению семьи и родни преступника—отказом от этого права упразднялся старинный институт политической ответственности рода за родичей; наконец, 3) чрезвычайный следственно-полицейский суд по доносам с пытками и оговорами, но без очных ставок, свидетельских показаний и других средств нормального процесса. Эти прерогативы составляли существенное содержание власти московского государя, выраженное изречениями деда и внука, словами Ивана III: *кому хочу, тому и дам княжение* и словами Ивана IV: *жаловать своих холопей вольны мы и казнить их вольны же*. Клятвенно стряхая с себя эти прерогативы, Василий Шуйский превращался из государя холопов в правомерного царя подданных, правящего по законам.

Второй слой правящего класса вступает в смуту.

Но боярство, как правительственный класс, в продолжение смуты не действовало единодушно, раскололось на два слоя: от первостепенной знати заметно отделяется среднее боярство, к которому примыкают столичное дворянство и приказные дельцы, дьяки. Этот второй слой правящего класса деятельно вмешивается в смуту с воцарения Василия. Среди него и выработался другой план государственного устройства, тоже основанный на ограничении верховной власти, но гораздо шире захватывавший политические отношения сравнительно с подкрестной записью царя Василия. Акт, в котором изложен этот план, составлен был при следующих обстоятельствах. Царем Василием мало кто был доволен. Главными причинами недовольства были некорректный путь В. Шуйского к престолу и его зависимость от кружка бояр, его избравших и игравших им, как ребенком, по выражению современника. Недовольны наличным царем—стало-быть, надобен самозванец: самозванство становилось стереотипной формой русского политического мышления, в которую отливалось всякое общественное недовольство. И слухи о спасении Лжедимитрия I, т. е. о втором самозванце, пошли с первых минут царствования Василия, когда второго Лжедимитрия еще не было и в заводе. Во имя этого призрака уже в 1606 г. поднялись против Василия Северская земля и заокские города с Путивлем, Тулой и Рязанью во главе. Мятежники, пораженные под Москвой царскими войсками, укрылись в Туле и оттуда обратились к пану Мнишку в его мастерскую русского самозванства с просьбой выслать им какого-ни-на-есть человека с именем царевича Димитрия. Лжедимитрий II, наконец, нашелся и усиленный польско-литовскими и казацкими отрядами летом 1608 г. стоял в подмосковном селе Тушине, подводя под свою воровскую

руку самое сердцевину Московского государства, междуречье Оки-Волги. Международные отношения еще более осложнили ход московских дел. Я упоминал уже о вражде, шедшей тогда между Швецией и Польшей из-за того, что у выборного короля польского Сигизмунда III отнял наследственный шведский престол его дядя Карл IX. Так как второго самозванца, хотя и негласно, но довольно явно поддерживало польское правительство, то царь Василий обратился за помощью против Тушинцев к Карлу IX. Переговоры, веденные племянником царя, князем Скопиным-Шуйским, окончились посылкой вспомогательного шведского отряда под начальством генерала Делагарди, за что царь Василий принужден был заключить вечный союз со Швецией против Польши и пойти на другие тяжкие уступки. На такой прямой вызов Сигизмунд отвечал открытым разрывом с Москвой и осенью 1609 г. осадил Смоленск. В тушинском лагере у самозванца служило много поляков под главным начальством князя Рожинского, который был гетманом в тушинском стане. Презираемый и оскорбляемый своими польскими союзниками, царик в мужицком платье и на навозных санях едва ускользнул в Калугу из-под бдительного надзора, под каким держали его в Тушине. После того Рожинский вступил в соглашение с королем, который звал его поляков к себе под Смоленск. Русские тушинцы вынуждены были последовать их примеру и выбрали послов для переговоров с Сигизмундом об избрании его сына Владислава на московский престол. Посольство состояло из боярина Мих. Гл. Салтыкова, из нескольких дворян столичных чинов и из полдюжины крупных дьяков московских приказов. В этом посольстве не встречаем ни одного ярко-знатного имени. Но в большинстве это были люди не худых родов. Заброшенные личным честолюбием или общей сму-

той в бунтовской полурусский полупольский тушинский стан, они однако взяли на себя роль представителей Московского государства, Русской земли. Это была с их стороны узурпация, не дававшая им никакого права на земское признание их фиктивных полномочий. Но это не лишает их дела исторического значения. Общение с поляками, знакомство с их вольнолюбивыми понятиями и нравами расширило политический кругозор этих русских авантюристов, и они поставили королю условием избрания его сына в цари не только сохранение древних прав и вольностей московского народа, но и прибавку новых, какими этот народ еще не пользовался. Но это же общение, соблазняя москвичей зрелищем чужой свободы, обостряло в них чувство религиозных и национальных опасностей, какие она несла с собою: Салтыков заплакал, когда говорил перед королем о сохранении православия. Это двойственное побуждение сказалось в предосторожностях, какими тушинские послы старались обезопасить свое отечество от призываемой со стороны власти, иноверной и иноплеменной.

Договор 4 февраля 1610 г.

Ни в одном акте Смутного времени русская политическая мысль не достигает такого напряжения, как в договоре М. Салтыкова и его товарищей с королем Сигизмундом. Этот договор, заключенный 4 февраля 1610 г. под Смоленском, излагал условия, на которых тушинские уполномоченные признавали московским царем королевича Владислава. Этот политический документ представляет довольно разработанный план государственного устройства. Он, во-первых, формулирует права и преимущества всего московского народа и его отдельных классов, во-вторых, устанавливает порядок высшего управления. В договоре прежде всего обеспечивается неприкосновенность русской православной веры, а потом определяются права всего народа и

отдельных его классов. Права, ограждающие личную свободу каждого подданного от произвола власти, здесь разработаны гораздо разностороннее, чем в записи царя Василия. Можно сказать, что самая идея личных прав, столь мало заметная у нас прежде, в договоре 4 февраля впервые выступает с несколько определенными очертаниями. Все судятся по закону, никто не наказывается без суда. На этом условии договор настаивает с особенной силой, повторительно требуя, чтобы, не сыскав вины и не осудив судом «с бояры всеми», никого не карать. Видно, что привычка расправляться без суда и следствия была особенно наболевшим недугом государственного организма, от которого хотели излечить власть возможно радикальнее. По договору, как и по записи царя Василия, ответственность за вину политического преступника не падает на его невиновных братьев, жену и детей, не ведет к конфискации их имущества. Совершенной новизной поражают два другие условия, касающиеся личных прав: больших чинов людей без вины не понижать, а малочиновных возвышать по заслугам; каждому из народа московского для науки вольно ездить в другие государства христианские, и государь имущества за то отнимать не будет. Мелькнула мысль даже о веротерпимости, о свободе совести. Договор обязывает короля и его сына никого не отводить от греческой веры в римскую и ни в какую другую, потому что вера есть дар Божий и ни совращать силой, ни притеснять за веру не годится: русский волен держать русскую веру, лях—ляцкую. В определении сословных прав тушинские послы проявили меньше свободомыслия и справедливости. Договор обязывает блюсти и расширять по заслугам права и преимущества духовенства, думных и приказных людей, столичных и городовых дворян и детей боярских, частию

и торговых людей. Но «мужикам крестьянам» король не дозволяет перехода ни из Руси в Литву, ни из Литвы на Русь, а также и между русскими людьми всяких чинов, т.-е. между землевладельцами. Холопы остаются в прежней зависимости от господ, а вольности им государь давать не будет. Договор, сказали мы, устанавливает порядок верховного управления. Государь делит свою власть с двумя учреждениями, земским собором и Боярской думой. Так как Боярская дума вся входила в состав земского собора, то последний в московской редакции договора 4 февраля, о которой сейчас скажем, называется *думою бояр и всей земли.* В договоре впервые разграничивается политическая компетенция того и другого учреждения. Значение земского собора определяется двумя функциями. Во-первых, исправление или дополнение судного обычая, как и Судебника, зависит от «бояр и всей земли», а государь дает на то свое согласие. Обычай и московский Судебник, по которым отправлялось тогда московское правосудие, имели силу основных законов. Значит, земскому собору договор усвоял учредительный авторитет. Ему же принадлежал и законодательный почин: если патриарх с Освященным собором, Боярская дума и всех чинов люди будут бить челом государю о предметах, не предусмотренных в договоре, государю решать возбужденные вопросы с Освященным собором, боярами и со всею землей «по обычаю московского государства». Боярская дума имеет законодательную власть: вместе с ней государь ведет текущее законодательство, издает обыкновенные законы. Вопросы о налогах, о жалованьи служилым людям, об их поместьях и вотчинах решаются государем с боярами и думными людьми; без согласия думы государь не вводит новых податей и вообще никаких перемен в налогах, установленных прежними государями.

*

Думе принадлежит и высшая судебная власть; без следствия и суда со всеми боярами государю никого не карать, чести не лишать, в ссылку не ссылать, в чинах не понижать. И здесь договор настойчиво повторяет, что все эти дела, как и дела о наследствах после умерших бездетно, государю делать по приговору и совету бояр и думных людей, а без думы и приговора бояр таких дел не делать.

Московский договор 17 августа 1610 г.

Договор 4 февраля был делом партии или класса, даже нескольких средних классов, преимущественно столичного дворянства и дьячества. Но ход событий дал ему более широкое значение. Племянник царя Василия князь М. В. Скопин-Шуйский со шведским вспомогательным отрядом очистил от тушинцев северные города и в марте 1610 г. вступил в Москву. Молодой даровитый воевода был желанным в народе преемником старого бездетного дяди. Но он внезапно умер. Войско царя, высланное против Сигизмунда к Смоленску, было разбито под Клушином польским гетманом Жолкевским. Тогда дворяне с Захаром Ляпуновым во главе свели царя Василия с престола и постригли. Москва присягнула Боярской думе, как временному правительству. Ей пришлось выбирать между двумя соискателями престола, Владиславом, признания которого требовал шедший к Москве Жолкевский, и самозванцем, тоже подступавшим к столице в расчете на расположение к нему московского простонародья. Боясь вора, московские бояре вошли в соглашение с Жолкевским на условиях, принятых королем под Смоленском. Однако, договор, на котором 17 августа 1610 г. Москва присягнула Владиславу, не был повторением акта 4 февраля. Большая часть статей изложена здесь довольно близко к подлиннику; другие сокращены, или распространены, иные опущены или прибавлены вновь. Эти пропуски и прибавки особенно характерны. Первостепен-

ные бояре вычеркнули статью о возвышении незнатных людей по заслугам, заменив ее новым условием, чтобы «московских княжеских и боярских родов приезжими иноземцами в отечестве и в чести не теснить и не понижать». Высшее боярство зачеркнуло и статью о праве московских людей выезжать в чужие христианские государства для науки: московская знать считала это право слишком опасным для заветных домашних порядков. Правящая знать оказалась на низшем уровне понятий сравнительно со средними служилыми классами, своими ближайшими исполнительными органами—участь, обычно постигающая общественные сферы, высоко поднимающиеся над низменной действительностью. Договор 4 февраля—это целый основной закон конституционной монархии, устанавливающий как устройство верховной власти, так и основные права подданных, и притом закон, совершенно консервативный, настойчиво оберегающий старину, как было прежде, при прежних государях, по стародавнему обычаю Московского государства. Люди хватаются за писанный закон, когда чувствуют, что из-под ног ускользает обычай, по которому они ходили. Салтыков с товарищами живее первостепенной знати чувствовали совершавшиеся перемены, больше ее терпели от недостатка политического устава и личного произвола власти, а испытанные перевороты и столкновения с иноземцами усиленно побуждали их мысль искать средств против этих неудобств и сообщали их политическим понятиям более широты и ясности. Старый колеблющийся обычай они и стремились закрепить новым писанным законом, его осмыслявшим.

Провинциальное дворянство и земский

Вслед за средним и высшим столичным дворянством вовлекается в смуту и дворянство рядовое, провинциальное. Его участие в смуте становится заметным так же с начала царствования Василия Шуйского. Первым выступило

приговор 30 июня 1611 г.

дворянство заокских и северских городов, т.-е. южных уездов, смежных со степью. Тревоги и опасности жизни вблизи степи воспитывали в тамошнем дворянстве боевой, отважный дух. Движение поднято было дворянами городов Путивля, Венева, Каширы, Тулы, Рязани. Первым поднялся еще в 1606 г. воевода отдаленного Путивля кн. Шаховской, человек неродовитый, хотя и титулованный. Его дело подхватывают потомки старинных рязанских бояр, теперь простые дворяне, Ляпуновы и Сунбуловы. Истым представителем этого удалого полустепного дворянства был Прокофий Ляпунов, городовой, рязанский дворянин, человек решительный, заносчивый и порывистый; он раньше других чуял, как поворачивает ветер, но его рука хваталась за дело прежде, чем успевала думать об этом голова. Когда кн. Скопин-Шуйский только еще двигался к Москве, Прокофий послал уже поздравить его царем при жизни царя Василия и этим испортил положение племянника при дворе дяди. Товарищ Прокофия Сунбулов уже в 1609 г. поднял в Москве восстание против царя. Мятежники кричали, что царь—человек глупый, нечестивый, пьяница и блудник, что они восстали за свою братию, дворян и детей боярских, которых будто бы царь с потаковниками своими, большими боярами, в воду сажает и до смерти побивает. Значит, это было восстание низшего дворянства против знати. В июле 1610 г. брат Прокофья Захар с толпой приверженцев, все неважных дворян, свел царя с престола, при чем против них были духовенство и большие бояре. Политические стремления этого провинциального дворянства недостаточно ясны. Оно вместе с духовенством выбирало на престол Бориса Годунова на зло боярской знати, очень радело этому царю из бояр, но не за бояр, и дружно восстало против Василия Шуйского, царя чисто боярского.

Оно прочило на престол сперва кн. Скопина-Шуйского, а потом кн. В. В. Голицына. Впрочем, есть акт, несколько вскрывающий политическое настроение этого класса. Присягнув Владиславу, московское боярское правительство отправило к Сигизмунду посольство просить его сына на царство и из страха перед московской чернью, сочувствовавшей второму самозванцу, ввело отряд Жолкевского в столицу; но смерть вора тушинского в конце 1610 г. всем развязала руки, и поднялось сильное народное движение против поляков: города списывались и соединялись для очищения государства от иноземцев. Первым восстал, разумеется, Прокофий Ляпунов со своей Рязанью. Но прежде чем собравшееся ополчение подошло к Москве, поляки перерезались с москвичами и сожгли столицу (март 1611 г.). Ополчение, осадив уцелевшие Кремль и Китай-город, где засели поляки, выбрало временное правительство из 3 лиц, из двух казацких вождей, кн. Трубецкого и Заруцкого, и дворянского предводителя Прокофья Ляпунова. В руководство этим «троеначальникам» дан был приговор 30 июня 1611 г. Главная масса ополчения состояла из провинциальных служилых людей, вооружившихся и продовольствовавшихся на средства, какие были собраны с людей тяглых, городских и сельских. Приговор составлен был в лагере этого дворянства; однако он называется приговором «всей земли», и троеначальников выбирали будто бы «всею землею». Таким образом люди одного класса, дворяне-ополченцы, объявляли себя представителями всей земли, всего народа. Политические идеи в приговоре мало заметны; зато резко выступают сословные притязания. Выборные троеначальники, обязанные «строить землю и промышлять всяким земским и ратным делом», однако по приговору ничего важного не могли сделать без лагерного всеземского совета, который

является высшей распорядительной властью и присвояет себе компетенцию гораздо шире земского собора по договору 4-го февраля. Приговор 30 июня больше всего занят ограждением интересов служилых людей, регулируя их отношения поземельные и служебные, говорит о поместьях, вотчинах, а о крестьянах и дворовых людях вспоминает только для того, чтобы постановить, что беглые или вывезенные в смутное время люди должны быть возвращены прежним владельцам. Ополчение два слишком месяца простояло под Москвой, еще ничего важного не сделало для ее выручки, а уже выступило всевластным распорядителем земли. Но когда Ляпунов озлобил против себя своих союзников казаков, дворянский лагерь не смог защитить своего вождя и без труда был разогнан казацкими саблями.

Участие низших классов в смуте.

Наконец, вслед за провинциальными служилыми людьми и за них цепляясь, в смуту вмешиваются люди «жилецкие», простонародье тяглое и нетяглое. Выступив об руку с провинциальными дворянами, эти классы потом отделяются от них и действуют одинаково враждебно как против боярства, так и против дворянства. Зачинщик дворянского восстания на юге кн. Шаховской «всей крови заводчик», по выражению современника-летописца, принимает к себе в сотрудники дельца совсем недворянского разбора: то был Болотников, человек отважный и бывалый, боярский холоп, попавшийся в илен к татарам, испытавший и турецкую каторгу и воротившийся в отечество агентом второго самозванца, когда он еще не имелся налицо, а был только задуман. Движение, поднятое дворянами, Болотников повел вглубь общества, откуда сам вышел, набирал свои дружины из бедных посадских людей, бездомных казаков, беглых крестьян и холопов,—из слоев, лежавших на дне общественного склада, и натравлял их

против воевод, господ и всех власть имущих. Поддержанный восставшими дворянами южных уездов, Болотников со своими сбродными дружинами победоносно дошел до самой Москвы, не раз побив царские войска. Но здесь и произошло разделение этих на минуту и по недоразумению соединившихся враждебных классов. Болотников шел напролом: из его лагеря по Москве распространялись прокламации, призывавшие холопов избивать своих господ, за что они получат в награду жен и имения убитых, избивать и грабить торговых людей; ворам и мошенникам обещали боярство, воеводство, всякую честь и богатство. Прокофий Ляпунов и другие дворянские вожди, присмотревшись, с кем они имеют дело, что за народ составляет рать Болотникова, покинули его, передались на сторону царя Василия и облегчили царскому войску поражение сбродных отрядов. Болотников погиб, но его попытка всюду нашла отклик: везде крестьяне, холопы, поволжские инородцы—все беглое и обездоленное поднималось за самозванца. Выступление этих классов и продлило смуту и дало ей другой характер. До сих пор это была политическая борьба, спор за образ правления, за государственное устройство. Когда же поднялся общественный низ, смута превратилась в социальную борьбу, в истребление высших классов низшими. Самая кандидатура поляка Владислава имела некоторый успех только благодаря участию, принятому в смуте низшими классами: степенные люди, скрепя сердце, соглашались принять королевича, чтобы не пустить на престол вора тушинского, кандидата черни. Польские паны в 1610 г. говорили на королевском совете под Смоленском, что теперь в Московском государстве простой народ поднялся, встал на бояр, чуть не всю власть в руках своих держит. Тогда всюду обнаружилось резкое социальное разъединение, всякий

значительный город стал ареной борьбы между низом и верхом общества; повсюду «добрые» зажиточные граждане говорили, по свидетельству современника, что лучше уж служить королевичу, чем быть побитыми от своих холопей, или в вечной неволе у них мучиться, а худые люди по городам вместе с крестьянами бежали к вору тушинскому, чая от него избавления от всех своих бед. Политические стремления этих классов совсем неясны; да едва ли и можно предполагать у них что-либо похожее на политическую мысль. Они добивались в смуте не какого-либо нового государственного порядка, а просто только выхода из своего тяжелого положения, искали личных льгот, а не сословных обеспечений. Холопы поднимались, чтобы выйти из холопства, стать вольными казаками, крестьяне—чтобы освободиться от обязательств, какие привязывали их к землевладельцам, и от крестьянского тягла, посадские люди—чтобы избавиться от посадского тягла и поступить в служилые или приказные люди. Болотников призывал под свои знамена всех, кто хотел добиться воли, чести и богатства. Настоящим царем этого люда был вор тушинский, олицетворение всякого непорядка и беззакония в глазах благонамеренных граждан.

Таков был ход смуты. Рассмотрим ее главнейшие причины и ближайшие следствия.

Лекция XLIII.

Причины смуты.—Династическая ее причина: вотчинно-династический взгляд на государство.—Взгляд на выборного царя.—Причина социально-политическая: тягловой строй государства.—Общественная рознь.—Значение самозванства в ходе смуты.—Выводы.—Второе ополчение и очищение Москвы от поляков.—Избрание Михаила.—Причины его успеха.

Объяснить причины смуты значит указать обстоятельства, ее вызвавшие, и условия, так долго ее поддерживавшие. Обстоятельства, вызвавшие смуту, нам уже известны: это было насильственное и таинственное пресечение старой династии и потом искусственное восстановление ее в лице самозванцев. Но как эти поводы к смуте, так и глубокие внутренние ее причины возымели свою силу только потому, что возникли на благоприятной почве, возделанной тщательными, хотя и непредусмотренными усилиями царя Ивана и правителя Бориса Годунова в царствование Федора. Это было тягостное, исполненное тупого недоумения настроение общества, какое создано было неприкрытыми безобразиями опричнины и темными годуновскими интригами.

Ход смуты.

В ходе смуты вскрываются ее причины. Смута была вызвана событием случайным, пресечением династии. Вымирание семьи, фамилии, насильственное или естественное,—явление, чуть не ежедневно нами наблюдаемое; но в част-

ной жизни оно мало заметно. Другое дело, когда кончается целая династия. У нас в конце XVI в. такое событие повело к борьбе политической и социальной, сначала к политической—за образ правления, потом к социальной—к усобице общественных классов. Столкновение политических идей сопровождалось борьбой экономических состояний. Силы, стоявшие за царями, которые так часто сменялись, и за претендентами, которые боролись за царство, были различные слои московского общества. Каждый класс искал своего царя или ставил своего кандидата на царство: эти цари и кандидаты были только знаменами, под которыми шли друг на друга разные политические стремления, а потом разные классы русского общества. Смута началась аристократическими происками большого боярства, восставшего против неограниченной власти новых царей. Продолжали ее политические стремления столичного гвардейского дворянства, вооружавшегося против олигархических замыслов первостатейной знати во имя офицерской политической свободы. За столичными дворянами поднялось рядовое провинциальное дворянство, пожелавшее быть властителем страны; оно увлекло за собою неслужилые земские классы, поднявшиеся против всякого государственного порядка во имя личных льгот, т.-е. во имя анархии. Каждому из этих моментов смуты сопутствовало вмешательство казацких и польских шаек, донских, днепровских и вислинских отбросов московского и польского государственного общества, обрадовавшихся легкости грабежа в замутившейся стране. В первое время боярство пыталось соединить классы готового распасться общества во имя нового государственного порядка; но этот порядок не отвечал понятиям других классов общества. Тогда возникла попытка предотвратить беду во имя лица, искусственно воскресив

только-что погибшую династию, которая одна сдерживала вражду и соглашала непримиримые интересы разных классов общества. Самозванство было выходом из борьбы этих непримиримых интересов. Когда не удалась, даже повторительно, и эта попытка, тогда повидимому не оставалось никакой политической связи, никакого политического интереса, во имя которого можно было бы предотвратить распадение общества. Но общество не распалось: расшатался лишь государственный порядок. Когда надломились политические скрепы общественного порядка, оставались еще крепкие связи национальные и религиозные: они и спасли общество. Казацкие и польские отряды, медленно, но постепенно вразумляя разоряемое ими население, заставили, наконец, враждующие классы общества соединиться не во имя какого-либо государственного порядка, а во имя национальной, религиозной и простой гражданской безопасности, которой угрожали казаки и ляхи. Таким образом смута, питавшаяся розныю классов земского общества, прекратилась борьбой всего земского общества со вмешавшимися во внутреннюю усобицу сторонними силами противоземской и чужепародной.

Государство—вотчина.

Видим, что в ходе смуты особенно явственно выступают два условия, ее поддерживавшие: это—самозванство и социальный разлад. Они и указывают, где надо искать главных причин смуты. Я уже имел случай (л. XLI) отметить одно недоразумение в московском политическом сознании: государство, как союз народный, не может принадлежать никому, кроме самого народа; а на Московское государство и московский государь и народ Московской Руси смотрели как на вотчину княжеской династии, из владений которой оно выросло. В этом *вотчинно-династическом взгляде на государство* я и вижу одну из основных причин смуты.

Указанное сейчас недоразумение было связано с общей скудостью или неготовностью политических понятий, далеко отстававших от стихийной работы народной жизни. В общем сознании, повторю уже сказанное, Московское государство все еще понималось в первоначальном удельном смысле, как хозяйство московских государей, как фамильная собственность Калитина племени, которое его завело, расширяло и укрепляло в продолжение трех веков. На деле оно было уже союзом великорусского народа и даже завязывало в умах представление о всей Русской земле, как о чем-то целом; но мысль еще не поднялась до идеи народа, как государственного союза. Реальными связями этого союза продолжали служить воля и интерес хозяина земли. И надобно прибавить, что такой вотчинный взгляд на государство был не династическим притязанием московских государей, а просто категорией тогдашнего политического мышления, унаследованной от удельного времени. Тогда у нас и не понимали государства иначе, как в смысле вотчины, хозяйства государя известной династии, и если бы тогдашнему заурядному московскому человеку сказали, что власть государя есть вместе и его обязанность, должность, что, правя народом, государь служит государству, общему благу, это показалось бы путаницей понятий, анархией мышления. Отсюда понятно, как московские люди того времени могли представлять себе отношение государя и народа к государству. Им представлялось, что Московское государство, в котором они живут, есть государство московского государя, а не московского или русского народа. Для них были нераздельными понятиями не государство и народ, а государство и государь известной династии; они скорее могли представить себе государя без народа, чем государство без этого государя. Такое воззрение очень своеобразно вы-

разилось в политической жизни московского народа. Когда подданные, связанные с правительством идеей государственного блага, становятся недовольны правящей властью, видя, что она не охраняет этого блага, они восстают против нее. Когда прислуга или постояльцы, связанные с домохозяином временными условными выгодами, видят, что они этих выгод не получают от хозяина, они уходят из его дома. Подданные, поднимаясь против власти, не покидают государства, потому, что не считают его чужим для себя: слуга или квартирант, недовольный хозяином, не остается в его доме, потому что не считает его своим. Люди Московского государства поступали, как недовольные слуги или жильцы с хозяином, а не как непослушные граждане с правительством. Они нередко роптали на действия правившей ими власти; но пока жила старая династия, народное недовольство ни разу не доходило до восстания против самой власти. Московский народ выработал особую форму политического протеста: люди, которые не могли ужиться с существующим порядком, не восставали против него, а выходили из него, «брели розно», бежали из государства. Московские люди как будто чувствовали себя пришельцами в своем государстве, случайными, временными обывателями в чужом доме: когда им становилось тяжело, они считали возможным бежать от неудобного домовладельца, но не могли освоиться с мыслью о возможности восставать против него или заводить другие порядки в его доме. Так узлом, связывавшим все отношения в Московском государстве, была не мысль о народном благе, а лицо известной династии, и государственный порядок признавался возможным только при государе именно из этой династии. Потому когда династия пресеклась, и, следовательно, государство оказалось ничьим, люди растерялись, перестали понимать, что они такое и

где находятся, пришли в брожение, в состояние анархии. Они даже как будто почувствовали себя анархистами поневоле, по какой-то обязанности, печальной, но неизбежной: некому стало повиноваться—стало-быть, надо бунтовать.

Выборный царь. Пришлось выбирать царя земским собором. Но соборное избрание по самой новизне дела не считалось достаточным оправданием новой государственной власти, вызывало сомнения, тревогу. Соборное определение об избрании Бориса Годунова предвидит возражение людей, которые скажут про избирателей: «отделимся от них, потому что они сами себе поставили царя». Кто скажет такое слово, того соборный акт называет неразумным и проклятым. В одном очень распространенном памфлете 1611 г. рассказывается, как автору его в чудесном видении было поведано, что Сам Господь укажет, кому владеть Российским государством; если же поставят царя по своей воле, «навеки не будет царь». В продолжение всей смуты не могли освоиться с мыслю о выборном царе; думали, что выборный царь—не царь, что настоящим законным царем может быть только прирожденный, наследственный государь из потомства Калиты, и выборного царя старались пристроить к этому племени всякими способами, юридическим вымыслом, генеалогической натяжкой, реторическим преувеличением. Бориса Годунова по его избрании духовенство и народ торжественно приветствовали как наследственного царя, «здраствоваша ему на его государеве *вотчине*», а Василий Шуйский, формально ограничивший свою власть, в официальных актах писался «самодержцем», как титуловались природные московские государи. При такой неподатливости мышления в руководящих кругах появление выборного царя на престоле должно было представляться народной массе не следствием политической необходимости,

хотя и печальной, а чем-то похожим на нарушение законов природы: выборный царь был для нее такой же несообразностью, как выборный отец, выборная мать. Вот почему в понятие об «истинном» царе простые умы не могли, не умели уложить ни Бориса Годунова, ни Василия Шуйского, а тем паче польского королевича Владислава: в них видели узурпаторов, тогда как один призрак природного царя в лице пройдохи неведомого происхождения успокаивал династически легитимные совести и располагал к доверию. Смута и прекратилась только тогда, когда удалось найти царя, которого можно было связать родством, хотя и непрямым, с угасшей династией; царь Михаил утвердился на престоле не столько потому, что был земским всенародным избранником, сколько потому, что доводился племянником последнему царю прежней династии. Сомнение в народном избрании, как в достаточном правомерном источнике верховной власти, было немаловажным условием, питавшим смуту, а это сомнение вытекало из укоренившегося в умах убеждения, что таким источником должно быть только вотчинное преемство в известной династии. Потому это неуменье освоиться с идеей выборного царя можно признать производной причиной смуты, вышедшей из только что изложенной основной.

Тягловой строй государства.

Я отметил социальный разлад, как одну из резко выразившихся особенностей Смутного времени. Этот разлад коренился *в тягловом характере* московского государственного порядка, и это—другая основная причина смуты. Во всяком правомерно устроенном государственном порядке предполагается, как одна из основ этой правомерности, надлежащее соответствие между правами и обязанностями граждан, личными или сословными. Московское государство XVI в. в этом отношении отличалось пестрым совмещением раз-

новременных и разнохарактерных социально-политических отношений. В нем не было ни свободных и полноправных лиц, ни свободных и автономных сословий. Однако общество не представляло безразличной массы, как в восточных деспотиях, где равенство всех покоится на общем бесправии. Общество расчленено, делится на классы, сложившиеся еще в удельные века. Тогда они имели только гражданское значение: это были экономические состояния, различавшиеся занятиями. Теперь они получили политический характер: между ними распределялись специальные, соответствовавшие их занятиям государственные повинности. Это еще не сословия, а простые служебные разряды на должностном московском языке называвшиеся *чинами*. Государственная служба, падавшая на эти чины, не была для всех одинакова: одна служба давала подлежавшим ей классам большую или меньшую власть распоряжаться, приказывать; другим классам их служба оставляла только обязанность повиноваться, исполнять. На одном классе лежала обязанность править, другие классы служили орудиями высшего управления или отбывали ратную службу, третьи несли разные податные обязанности. Неодинаковою расценкой видов государственного служения создавалось неравенство государственного и общественного положения разных классов. Низшие слои, на которых лежали верхние, разумеется, несли на себе наибольшую тяжесть и, конечно, тяготились ею. Но и высший правительственный класс, которому государственная служба давала возможность командовать другими, не видел прямого законодательного обеспечения своих политических преимуществ. Он правил не в силу присвоенного ему на то права, а фактически, по давнему обычаю: это было его наследственное ремесло. Московское законодательство вообще было направлено прямо или косвенно к определению

и распределению государственных обязанностей, но не формулировало и не обеспечивало ничьих прав ни личных, ни сословных; государственное положение лица или класса определялось лишь его обязанностями. То, что в этом законодательстве похоже на сословные права, было не что иное, как частные льготы, служившие вспомогательными средствами для исправного отбывания повинностей. Да и эти льготы давались классам не в целом их составе, а отдельным местным обществам по особым условиям их положения. Известное городское или сельское общество получало облегчение в налогах или изъятие в подсудности, но потребности установить общие сословные права городского или сельского населения в законодательстве еще не заметно. Само местное сословное самоуправление с его выборными властями основано было на том же начале повинности и соединенной с ней ответственности личной, своею головой, или общественной, целым миром: оно, как мы видели, было послушным орудием централизации. Правами обеспечиваются частные интересы лиц или сословий. В Московском государственном порядке господство начала повинности оставляло слишком мало места частным интересам, личным или сословным, принося их в жертву требованиям государства. Значит, в Московском государстве не было надлежащего соответствия между правами и обязанностями ни личными, ни сословными. Кое-как уживались с тяжелым порядком под гнетом внешних опасностей, при слабом развитии личности и общественного духа. Царствование Грозного с особенной силой дало обществу почувствовать этот недостаток государственного строя. Произвол царя, беспричинные казни, опалы и конфискации вызвали ропот и не только в высших классах, но и в народной массе, «тугу и ненависть на царя в миру»,

и в обществе проснулась смутная и робкая потребность в законном обеспечении лица и имущества от усмотрения и настроения власти.

Общественная рознь.

Но эта потребность вместе с общим чувством тяжести государственного порядка сама по себе не могла бы привести к такому глубокому потрясению государства, если бы не пресеклась династия, это государство построившая. Она служила венцом в своде государственного здания; с ее исчезновением разрывался узел, которым сдерживались все политические отношения. Что прежде терпеливо переносили, покоряясь воле привычного хозяина, то казалось невыносимым теперь, когда хозяина не стало. В записках дьяка И. Тимофеева читаем картинную притчу о бездетной вдове богатого и властного человека, дом которого расхищает челядь покойника, вышедшая из «своего рабского устроения» и предавшаяся своеволию. В образе такой беспомощной вдовы публицист представил положение своей родной земли, оставшейся без «природного» царя-хозяина. Тогда все классы общества поднялись со своими особыми нуждами и стремлениями, чтобы облегчить свое положение в государстве. Только наверху общества этот подъем происходил не так, как внизу его. Верхние классы старались законодательным путем упрочить и расширить свои сословные права даже на счет нижних классов; в этих последних незаметно сословного интереса, стремления приобрести права или облегчить тягости для целых классов. Здесь каждый действовал в свою голову, спеша выйти из тяжелого положения, в какое поставила его суровая и неравномерная разверстка повинностей, и перескочить в другое более льготное состояние или захватом урвать что-нибудь у зажиточных людей. Наблюдательные современники усиленно отмечают, как самый резкий признак смуты, это стремление общественных низов про-

рваться наверх и столкнуть оттуда верховников Один из них, келарь А. Палицын, пишет, что тогда всякий стремился подняться выше своего звания, рабы хотели стать господами, люди невольные перескакивали к свободе, рядовой военный принимался боярствовать, люди сильные разумом ставились ни во что, «в прах вменяемы биваху» этими своевольниками и ничего не смели сказать им неугодного. Встреча столь противоположных стремлений сверху и снизу неминуемо вела к ожесточенной классовой вражде. Эта вражда—производная причина смуты, вызванная к действию второю основной. Почин в этом разрушении общественного порядка наблюдатели-современники приписывают вершинам общества, высшим классам и прежде всего новым, ненаследственным носителям верховной власти, хотя уже Грозный своей опричниной подал ободрительный пример в этом деле. Зло упрекая царя Бориса в надменном намерении перестроить земский порядок и обновить государственное управление, эти наблюдатели винят его в том, что за наушничество он начал поднимать на высокие степени худородных людей, непривычных к правительственному делу и безграмотных, едва умевших подписывать деловой акт, медленно кое-как проволочить по бумаге свою трясущуюся руку, точно чужую. Этим он поселил ненависть в знатных и опытных дельцах. Так же поступали и другие следовавшие за ним неистинные цари. Порицая за это, наблюдатели с сожалением вспоминают прежних природных государей, которые знали, какому роду какую честь и за что давать, «худородным же ни». Еще больше неурядицы внес царь Борис в общество устройством доносов, подняв холопов на господ, а боярскими опалами выгнав на улицу толпы челяди опальных бояр и этим заставив ее броситься

в разбой. И царь Василий обеими руками сеял общественную смуту, одним указом усилив прикрепление крестьян, а другими стеснив господскую власть над холопами. Высшие классы усердно содействовали правительству в усилении общественного разлада. По свидетельству А. Палицына, при царе Федоре вельможами, особенно из родни и сторонников правителя Годунова, а по примеру их и другими овладела неистовая страсть к порабощению, стремление заманивать к себе в кабалу всякими средствами и кого ни попало. Но настал трехлетний голод (1601—1604 г.г.), и господа, не желая или будучи не в состоянии кормить нахватанную челядь, выгоняли ее без отпускных из своих домов, а когда голодные холопы поряжались к другим господам, прежние преследовали их за побег и снос.

Самозванство.

В неблагоразумном образе действий правительства и общества, так печально поддержанном самой природой, вскрылась такая неурядица общественных отношений, такой социальный разброд, с которым по пресечении династии трудно было сладить обычными правительственными средствами. Эта вторая причина смуты, *социально-политическая*, в соединении с первой, династической, сильно, хотя и косвенно, поддержала смуту тем, что обострила действие первой, выразившееся в успехах самозванцев. Поэтому самозванство можно признать тоже производной причиной смуты, вышедшей из совокупного действия обеих коренных. Вопрос, как могла возникнуть самая идея самозванства, не заключает в себе какого-либо народно-психологического затруднения. Таинственность, какою окружена была смерть царевича Димитрия, порождала противоречивые толки, из которых воображение выбирало наиболее желательные, а всего более желали благополуч-

ного исхода, чтобы царевич оказался в живых и устранил тягостную неизвестность, которой заволакивалось будущее. Расположены были, как всегда в подобных случаях, безотчетно верить, что злодейство не удалось, что Провидение и на этот раз постояло на страже мировой правды и приготовило возмездие злодеям. Ужасная судьба царя Бориса и его семьи была в глазах встревоженного народа поразительным откровением этой вечной правды Божией и всего более помогла успеху самозванства. Нравственное чувство нашло поддержку в чутье политическом, столько же безотчетном, сколько доступном по своей безотчетности народным массам. Самозванство было удобнейшим выходом из борьбы непримиримых интересов, взбудораженных пресечением династии: оно механически насильственно соединяло под привычной, хотя и поддельной властью элементы готового распасться общества, между которыми стало невозможно органическое добровольное соглашение.

Вывод.

Так можно объяснить происхождение смуты. Почвой для нее послужило тягостное настроение народа, общее чувство недовольства, вынесенное народом из царствования Грозного и усиленное правлением Б. Годунова. Повод к смуте дан был пресечением династии со следовавшими за тем попытками искусственного ее восстановления в лице самозванцев. Коренными причинами смуты надобно признать народный взгляд на отношение старой династии к Московскому государству, мешавшей освоиться с мыслью о выборном царе, и потом самый строй государства с его тяжелым тягловым основанием и неравномерным распределением государственных повинностей, порождавшим социальную рознь: первая причина вызвала и поддерживала потребность воскресить погибший царский род, а эта по-

требность обеспечивала успех самозванства; вторая причина превратила династическую интригу в социально-политическую анархию. Смуте содействовали и другие обстоятельства: образ действий правителей, становившихся во главе государства после царя Федора, конституционные стремления боярства, шедшие в разрез с характером московской верховной власти и с народным на нее взглядом, низкий уровень общественной нравственности, как ее изображают современные наблюдатели, боярские опалы, голод и мор в царствование Бориса, областная рознь, вмешательство казаков. Но все это были не причины, а или только симптомы смуты, или условия, ее питавшие, но ее не породившие, или, наконец, следствия, ею же вызванные к действию.

Смута является на рубеже двух смежных периодов нашей истории, связанная с предшествующим своими причинами, с последующим своими следствиями. Конец смуте был положен вступлением на престол царя, ставшего родоначальником новой династии: это было первое ближайшее следствие смуты.

Второе ополчение.

В конце 1611 года Московское государство представляло зрелище полного видимого разрушения. Поляки взяли Смоленск; польский отряд сжег Москву и укрепился за уцелевшими стенами Кремля и Китая-города; шведы заняли Новгород и выставили одного из своих королевичей кандидатом на московский престол; на смену убитому второму Лжедимитрию в Пскове уселся третий, какой-то Сидорка; первое дворянское ополчение под Москвой со смертью Ляпунова расстроилось. Между тем страна оставалась без правительства. Боярская дума, ставшая во главе его по низложении В. Шуйского, упразднилась сама собою, когда поляки захватили Кремль, где сели и некоторые из бояр

со своим председателем кн. Мстиславским. Государство, потеряв свой центр, стало распадаться на составные части; чуть не каждый город действовал особняком, только пересылаясь с другими городами. Государство преображалось в какую-то бесформенную, мятущуюся федерацию. Но с конца 1611 г., когда изнемогли политические силы, начинают пробуждаться силы религиозные и национальные, которые пошли на выручку гибнувшей земли. Призывные грамоты архимандрита Дионисия и келаря Авраамия, расходившиеся из Троицкого монастыря, подняли нижегородцев под руководством их старосты, мясника Кузьмы Минина. На призыв нижегородцев стали стекаться остававшиеся без дела и жалования, а часто и без поместий, служилые люди, городовые дворяне и дети боярские, которым Минин нашел и вождя, кн. Дмитрия Михайловича Пожарского. Так составилось второе дворянское ополчение против поляков. По боевым качествам оно не стояло выше первого, хотя было хорошо снаряжено благодаря обильной денежной казне, самоотверженно собранной посадскими людьми нижегородскими и других городов, к ним присоединившихся. Месяца четыре ополчение устроялось, с полгода двигалось к Москве, пополнялось по пути толпами служилых людей, просивших принять их на земское жалование. Под Москвой стоял казацкий отряд кн. Трубецкого, остаток первого ополчения. Казаки были для земской дворянской рати страшнее самих поляков, и на предложение кн. Трубецкого она отвечала: «отнюдь нам вместе с казаками не стаивать». Но скоро стало видно, что без поддержки казаков ничего не сделать, и в три месяца стоянки под Москвой без них ничего важного не было сделано. В рати кн. Пожарского числилось больше сорока начальных людей все с родовитыми служилыми именами,

но только два человека сделали крупные дела, да и те были не служилые люди: это монах А. Палицын и мясной торговец К. Минин. Первый по просьбе кн. Пожарского в решительную минуту уговорил казаков поддержать дворян, а второй выпросил у кн. Пожарского 3—4 роты и с ними сделал удачное нападение на малочисленный отряд гетмана Ходкевича, уже подбиравшегося к Кремлю со съестными припасами для голодавших там соотчичей. Смелый натиск Минина приободрил дворян-ополченцев, которые вынудили гетмана к отступлению, уже подготовленному казаками. В октябре 1612 г. казаки же взяли приступом Китай-город. Но земское ополчение не решилось штурмовать Кремль, сидевшая там горсть поляков сдалась сама, доведенная голодом до людоедства. Казацкие же атаманы, а не московские воеводы, отбили от Волоколамска короля Сигизмунда, направлявшегося к Москве, чтобы воротить ее в польские руки, и заставили его вернуться домой. Дворянское ополчение здесь еще раз показало в смуту свою малопригодность к делу, которое было его сословным ремеслом и государственной обязанностью.

Избрание Михаила.

Вожди земского и казацкого ополчения, князья Пожарский и Трубецкой разослали по всем городам государства повестки, призывавшие в столицу духовные власти и выборных людей из всех чинов для земского совета и государского избрания. В самом начале 1613 г. стали съезжаться в Москву выборные всей земли. Мы потом увидим, что это был первый бесспорно всесословный земский собор с участием посадских и даже сельских обывателей. Когда выборные съехались, был назначен трехдневный пост, которым представители Русской земли хотели очиститься от грехов Смуты перед совершением такого важного дела. По окончании поста начались совещания. Первый вопрос,

поставленный на соборе, выбирать ли царя из иноземных королевских домов, решили отрицательно, приговорили: ни польского, ни шведского королевича, ни иных немецких вер и ни из каких неправославных государств на Московское государство не выбирать, как и «Маринкина сына». Этот приговор разрушал замыслы сторонников королевича Владислава. Но выбрать и своего природного русского государя было нелегко. Памятники, близкие к тому времени, изображают ход этого дела на соборе не светлыми красками. Единомыслия не оказалось. Было большое волнение; каждый хотел по своей мысли делать, каждый говорил за своего; одни предлагали того, другие этого, все разноречили; придумывали, кого бы выбрать, перебирали великие роды, но ни на ком не могли согласиться, и так потеряли не мало дней. Многие вельможи и даже не вельможи подкупали избирателей, засылали с подарками и обещаниями. По избрании Михаила соборная депутация, просившая инокиню-мать благословить сына на царство, на упрек ее, что московские люди «измалодушествовались», отвечала, что теперь они «наказались», проучены, образумились и пришли в соединение. Соборные происки, козни и раздоры совсем не оправдывали благодушного уверения соборных послов. Собор распался на партии между великородными искателями, из которых более поздние известия называют князей Голицына, Мстиславского, Воротынского, Трубецкого, Мих. Ф. Романова. Сам, скромный по отечеству и характеру, кн. Пожарский, тоже говорил, искал престола и потратил не мало денег на происки. Наиболее сериозный кандидат по способностям и знатности кн. В. В. Голицын был в польском плену, кн. Мстиславский отказывался; из остальных выбирать было некого. Московское государство выходило из страшной смуты без героев: его выводили из

беды добрые, но посредственные люди. Кн. Пожарский был не Борис Годунов, а Михаил Романов—не кн. Скопин-Шуйский. При недостатке настоящих сил дело решалось предрассудком и интригой. В то время, как собор разбивался на партии, не зная, кого выбрать, в него вдруг пошли одно за другим «писания», петиция на Михаила от дворян, больших купцов, от городов Северской земли и даже от казаков; последние и решили дело. Видя слабосилие дворянской рати, казаки буйствовали в освобожденной ими Москве, делали, что хотели, не стесняясь временным правительством Трубецкого, Пожарского и Минина. Но в деле царского избрания они заявили себя патриотами, решительно восстали против царя из чужеземцев, намечали, «примеривали» настоящих русских кандидатов, ребенка, сына вора тушинского, и Михаила Романова, отец которого Филарет был ставленник обоих самозванцев, получил сан митрополита от первого и провозглашен патриархом в подмосковном лагере второго. Главная опора самозванства, казачество, естественно, хотела видеть на престоле московском или сына своего тушинского царя, или сына своего тушинского патриарха. Впрочем сын вора был поставлен на конкурс не сериозно, больше из казацкого приличия, и казаки не настаивали на этом кандидате, когда земский собор отверг его. Сам по себе и Михаил, 16-летний мальчик, ничем не выдававшийся, мог иметь мало видов на престол, и однако на нем сошлись такие враждебные друг другу силы, как дворянство и казачество. Это неожиданное согласие отразилось и на соборе. В самый разгар борьбы партий какой-то дворянин из Галича, откуда производили первого самозванца, подал на соборе письменное мнение, в котором заявлял, что ближе всех по родству к прежним царям стоит М. Ф. Романов, а по-

тому его и надобно выбрать в цари. Против Михаила были многие члены собора, хотя он давно считался кандидатом и на него указывал еще патриарх Гермоген, как на желательного преемника царя В. Шуйского. Письменное мнение галицкого городового дворянина раздражило многих. Раздались сердитые голоса: кто принес такое писание, откуда? В это время из рядов выборных выделился донской атаман и, подошедши к столу, также положил на него писание. «Какое это писание ты подал, атаман»? спросил его кн. Д. М. Пожарский.—«*О природном* царе Михаиле Федоровиче», отвечал атаман. Этот атаман будто бы и решил дело: «прочетше писание атаманское, бысть у всех согласен и единомыслен совет», как пишет один бытописатель. Михаила провозгласили царем. Но это было лишь предварительное избрание, только наметившее соборного кандидата. Окончательное решение предоставили непосредственно всей земле. Тайно разослали по городам верных людей выведать мнение народа, кого хотят государем на Московское государство. Народ оказался уже достаточно подготовленным. Посланные возвратились с донесением, что у всех людей от мала и до велика та же мысль: быть государем М. Ф. Романову, а опричь его никак никого на государство не хотеть. Это секретно-полицейское дознание, соединенное, может-быть с агитацией, стало для собора своего рода избирательным плебисцитом. В торжественный день, в неделю Православия, первое воскресенье Великого поста, 21 февраля 1613 г. были назначены окончательные выборы. Каждый чин подавал особое письменное мнение, и во всех мнениях значилось одно имя—Михаила Федоровича. Тогда несколько духовных лиц вместе с боярином посланы были на Красную площадь, и не успели они с Лобного места

спросить собравшийся во множестве народ, кого хотят в царя, как все закричали: «Михаила Федоровича».

Романовы.

Так соборное избрание Михаила было подготовлено и поддержано на соборе и в народе целым рядом вспомогательных средств: предвыборной агитацией с участием многочисленной родни Романовых, давлением казацкой силы, негласным дознанием в народе, выкриком столичной толпы на Красной площади. Но все эти избирательные приемы имели успех потому, что нашли опору в отношении общества к фамилии. Михаила вынесла не личная или агитационная, а фамильная популярность. Он принадлежал к боярской фамилии, едва ли не самой любимой тогда в московском обществе. Романовы—недавно обособившаяся ветвь старинного боярского рода Кошкиных. Давно, еще при вел. кн. Иване Даниловиче Калите выехал в Москву из «Прусския земли», как гласит родословная, знатный человек, которого в Москве прозвали Андреем Ивановичем Кобылой. Он стал видным боярином при Московском дворе. От пятого сына его Федора Кошки и пошел «Кошкин род», как он зовется в наших летописях. Кошкины блистали при Московском дворе в XIV и XV вв. Это была единственная нетитулованная боярская фамилия, которая не потонула в потоке новых титулованных слуг, нахлынувших к московскому двору с половины XV в. Среди князей Шуйских, Воротынских, Мстиславских Кошкины умели удержаться в первом ряду боярства. В начале XVI в. видное место при дворе занимал боярин Роман Юрьевич Захарьин, шедший от Кошкина внука Захария. Он и стал родоначальником новой ветви этой фамилии—Романовых. Сын Романа Никита, родной брат царицы Анастасии,—единственный московский боярин XVI в., оставивший по себе добрую память в народе:

его имя запомнила народная былина, изображая его в своих песнях о Грозном благодушным посредником между народом и сердитым царем. Из шести сыновей Никиты особенно выдавался старший Федор. Это был очень добрый и ласковый боярин, щеголь и очень любознательный человек. Англичанин Горсей, живший тогда в Москве, рассказывает в своих записках, что этот боярин непременно хотел выучиться по-латыни, и по его просьбе Горсей составил для него латинскую грамматику, написав в ней латинские слова русскими литерами. Популярность Романовых, приобретенная личными их качествами, несомненно, усилилась от гонения, какому подверглись Никитичи при подозрительном Годунове; А. Палицын даже ставит это гонение в число тех грехов, за которые Бог покарал землю Русскую смутой. Вражда с царем Василием и связи с Тушиным доставили Романовым покровительство и второго Лжедимитрия и популярность в казацких таборах. Так двусмысленное поведение фамилии в смутные годы подготовило Михаилу двустороннюю поддержку, и в земстве, и в казачестве. Но всего больше помогла Михаилу на соборных выборах родственная связь Романовых с прежней династией. В продолжение смуты русский народ столько раз неудачно выбирал новых царей, и теперь только то избрание казалось ему прочно, которое падало на лицо, хотя как-нибудь связанное с прежним царским домом. В царе Михаиле видели не соборного избранника, а племянника царя Федора, природного наследственного царя. Современный хронограф прямо говорит, что Михаила просили на царство «сродственного его ради союза царских искр». Недаром Авраамий Палицын зовет Михаила «избранным от Бога прежде его рождения», а дьяк И. Тимофеев в непрерывной цепи наследственных царей ставит

Михаила прямо после Федора Ивановича, игнорируя и Годунова, и Шуйского, и всех самозванцев. И сам царь Михаил в своих грамотах обычно называл Грозного своим дедом. Трудно сказать, насколько помог избранию Михаила ходивший тогда слух, будто царь Федор, умирая, устно завещал престол своему двоюродному брату Федору, отцу Михаила. Но бояр, руководивших выборами, должно было склонять в пользу Михаила еще одно удобство, к которому они не могли быть равнодушны. Есть известие, будто бы Ф. И. Шереметев писал в Польшу кн. Голицыну: «Миша де Романов молод, разумом еще не дошел и нам будет поваден». Шереметев, конечно, знал, что престол не лишит Михаила способности зреть, и молодость его не будет перманентна. Но другие качества обещали показать, что племянник будет второй дядя, напоминая его умственной и физической хилостью, выйдет добрым, кротким царем, при котором не повторятся испытания, пережитые боярством в царствование Грозного и Бориса. Хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего. Так явился родоначальник новой династии, положивший конец смуте.

Лекция XLIV.

Ближайшие следствия смуты.—Новые политические понятия.—Их проявления в смуту.—Перемена в составе правительственного класса.—Расстройство местничества.—Новая постановка верховной власти.—Царь и боярство.—Боярская дума и земский собор.—Упрощение верховной власти.—Боярская попытка 1681 г.—Перемена в составе и значенее земского собора.—Разорение.—Настроение общества после смуты.

Обращаемся к изучению ближайших следствий смуты, образовавших политическую и нравственную обстановку, в которой пришлось действовать первому царю новой династии. Четырнадцать бурных лет, пережитых Московским государством, не прошли бесследно. Эти следствия, обнаруживающиеся с первых минут царствования Михаила, шли из двух главных перемен, произведенных смутой в положении государства: во-первых, прервалось политическое предание, старый обычай, на котором держался порядок в Московском государстве XVI в.; во-вторых, смута поставила государство в такие отношения к соседям, которые требовали еще большего напряжения народных сил для внешней борьбы, чем какое испытывало государство в XVI в. Отсюда, из этих двух перемен, вышел ряд новых политических понятий, утвердившихся в московских умах, и ряд новых политических фактов, составляющих основное содержание нашей истории XVII в. Изучим те и другие.

Новые политические понятия.

Прежде всего из потрясения, пережитого в Смутное время, люди Московского государства вынесли обильный запас новых политических понятий, с которыми не были знакомы их отцы, люди XVI в. Это печальная выгода тревожных времен: они отнимают у людей спокойствие и довольство и взамен того дают опыты и идеи. Как в бурю листья на деревьях повертываются изнанкой, так смутные времена в народной жизни, ломая фасады, обнаруживают задворки, и, при виде их, люди, привыкшие замечать лицевую сторону жизни, невольно задумываются и начинают думать, что они доселе видели далеко не все. Это и есть начало политического размышления. Его лучшая, хотя и тяжелая школа—народные перевороты. Этим объясняется обычное явление—усиленная работа политической мысли во время и тотчас после общественных потрясений. Понятия, какими обогатились московские умы в продолжение смуты, глубоко изменили старый привычный взгляд общества на государя и государство. Мы уже знакомы с этим взглядом. Московские люди XVI в. видели в своем государе не столько блюстителя народного блага, сколько хозяина московской государственной территории, а на себя смотрели, как на пришельцев, обитающих до поры до времени на этой территории, как на политическую случайность. Личная воля государя служила единственной пружиной государственной жизни, а личный или династический интерес этого государя—единственной его целью. Из-за государя не замечали государства и народа. Смута поколебала этот закоснелый взгляд. В эти тяжелые годы люди Московского государства не раз были призываемы выбирать себе государя; в иные годы государство оставалось совсем без государя, и общество было предоставлено самому себе. С самого начала XVII в. московские люди переживали

такие положения, видели такие явления, которые при их отцах считались невозможными, прямо немыслимыми. Они видели, как падали цари, за которых не стоял народ, видели, как государство, оставшись без государя, не распалось, а собралось с силами и выбрало себе нового царя. Людям XVI в. и в голову не приходила самая возможность подобных положений и явлений. Прежде государство мыслилось в народном сознании только при наличности государя, воплощалось в его лице и поглощалось им. В смуту, когда временами не бывало государя или не знали, кто он, неразделимые прежде понятия стали разделяться сами собою. *Московское государство*—эти слова в актах Смутного времени являются для всех понятным выражением, чем-то не мыслимым только, но и действительно существующим даже без государя. Из-за лица проглянула идея, и эта идея государства, отделяясь от мысли о государе, стала сливаться с понятием о народе. В тех же актах вместо «государя царя и великого князя всея Руси» часто встречаем выражение «люди Московского государства». Мы видели, как трудно было московским умам освоиться с идеей выборного царя: виною этого было отсутствие мысли, что воля народа в случае нужды может быть вполне достаточным источником законной верховной власти, а непонимание этого происходило от недостатка мысли о народе, как о политической силе. По отношению к царю все его подданные считались *холопами*, дворовыми его людьми, либо *сиротами*, безродными и бесприютными людьми, живущими на его земле. Какая может быть политическая воля у холопов и сирот и как она может стать источником богоучрежденной власти помазанника Божия? Смута впервые и тронула глубоко это застоявшееся политическое сознание, дав больно почувствовать, насколько народные умы отстали

от задач, нежданно и грозно поставленных стихийным ходом народной жизни. В смуту общество, предоставленное самому себе, поневоле приучилось действовать самостоятельно и сознательно, и в нем начала зарождаться мысль, что оно, это общество, народ, не политическая случайность, как привыкли чувствовать себя московские люди, не пришельцы, не временные обыватели в чьем-то государстве, но что такая политическая случайность есть скорее династия: в 15 лет, следовавших за смертью царя Федора, сделано было четыре неудачных опыта основать новую династию, и удался только пятый. Рядом с государевой волей, а иногда и на ее место теперь не раз становилась другая политическая сила, вызванная к действию смутой, воля народа, выражавшаяся в приговорах земского собора, в московском народном сборище, выкрикнувшем царя Василия Шуйского, в съездах выборных от городов, поднимавшихся против вора тушинского и поляков. Благодаря тому мысль о государе-хозяине в московских умах постепенно если не отходила назад, то осложнялась новой политической идеей государя-избранника народа. Так стали переверстываться в сознании, приходить в иное соотношение основные стихии государственного порядка: *государь, государство и народ.* Как прежде из-за государя не замечали государства и народа и скорее могли представить себе государя без народа, чем государство без государя, так теперь опытом убедились, что государство, по крайней мере некоторое время, может быть без государя, но ни государь, ни государство не могут обойтись без народа. К тому же порядку понятий подходили, только с другой, отрицательной стороны, и современные публицисты, писавшие о смуте: А. Палицын, И. Тимофеев и другие безыменные. Они видели корень беды в недостатке мужественной крепости у обще-

ства, уменья соединяться против властных нарушителей порядка и закона. Когда Б. Годунов совершал свои беззакония, губил столпы великие, которыми земля укреплялась, все «благороднейшие» онемели, были безгласны, как рыбы, не оказалось крепкого во Израиле, никто не осмелился правду говорить властителю. За это общественное попустительство, за «безумное молчание всего мира», по выражению А. Палицына, и наказана земля.

Их проявления

Правда, на соборе 1613 г. среди общего смятения и раздора восторжествовала старая привычная идея «природного» царя, чему Михаил и был обязан своим избранием. Это попятное движение было знаком того, что народный ум, представленный на соборе выборными людьми, не справился с новым положением и предпочел вернуться к старине, к прежнему «безумному молчанию всего мира». Мы и после увидим не раз, как мутный стихийный поток народной жизни затягивал илом частичные углубления общественного сознания. Но в отдельных кругах общества мысль о необходимости деятельного и благоустроенного земского участия в делах всей земли проявлялась в продолжение смуты иногда с большой силой. Если вникнуть в сущность и значение этой мысли и припомнить, как туго даются людям новые политические понятия, то можно предвидеть, что такой перелом в умах не мог пройти бесследно. Следы его действия и обнаруживаются в некоторых явлениях Смутного времени. В 1609 г. мятежный рязанский дворянин Сунбулов собрал на московской площади толпу народа и потребовал от бояр низложения царя Василия. Но в толпе нашлись люди, которые возражали мятежникам: «хотя бы царь и неугоден вам был, однако без больших бояр и *всенародного* собрания его с царства свести не можно». Значит, всенародное собрание с боярами во

главе считалось единственным учреждением, уполномоченным решать такие важные дела. Новые правительства признавали или поддерживали такой взгляд на значение всенародной воли в решении коренных политических вопросов. Ту же самую мысль, какую на площади высказали мятежникам рассудительные граждане, выразил и сам царь Василий. Когда Сунбулов с сообщниками ворвался во дворец, царь встретил их словами: «Зачем вы, клятвопреступники, пришли ко мне с таким шумом и наглостью? Если хотите убить меня, я готов умереть; если же хотите согнать меня с престола, то вам этого не сделать, пока не соберутся все большие бояре и всех чинов люди, и какой вся земля приговор постановит, я готов поступить по тому приговору». В обществе, которое неоднократно было призываемо к решению важных государственных вопросов, как будто стала пробиваться даже мысль, что всенародное земское собрание, правильно составленное, в праве не только избирать царя, но при случае и судить его. По крайней мере такая мысль официально была высказана именем правительства царя Василия Шуйского. В самом начале его царствования в Польшу был послан некто кн. Гр. Волконский оправдать перед польским правительством истребление первого самозванца и избиение преданных ему поляков. По официальному наказу, какой был дан послу, он говорил королю и панам, что люди Московского государства, осудя истинным судом, в праве были наказать за злые и богомерзкие дела такого царя, как Лжедимитрий. Князь Григорий сделал еще более смелый шаг, развивая свои наказные воззрения перед польским правительством: он прибавил, что хотя бы теперь явился и прямой, прирожденный государь царевич Димитрий, но если его на государстве не похотят, то ему силой на государстве быть

не можно. У самого кн. Андрея Мих. Курбского, политического либерала XVI в., дыбом встали бы волосы, если бы он услышал такую политическую ересь.

Правящий класс.

События Смутного времени не только поселили в умах новые политические понятия, но изменили и состав правительственного класса, с помощью которого действовали цари первой династии, и эта перемена много содействовала успеху самых этих понятий. Старые московские государи правили своим государством с помощью боярского класса, плотно организованного, проникнутого аристократическим духом и привычного к власти. Политическое значение этого класса не было обеспечено прямым законом, держалось на старинном правительственном обычае. Но этот обычай поддерживался двумя косвенными опорами. Одна статья Судебника 1550 г. утверждала законодательный авторитет Боярской думы, а в думе преобладающее значение принадлежало боярству. С другой стороны, местничество подчиняло должностные назначения в управлении генеалогическим отношениям, продвигая усиленно наверх ту же боярскую знать. Одна опора поддерживала боярство, как высшее правительственное учреждение, другая—как правительственный класс. В царствование Михаила один из самых родовитых представителей этого класса, боярин кн. И. М. Воротынский, так изобразил правительственное положение боярства в прежнее время: «бывали на нас опалы от прежних государей, но правительства с нас не снимали, во всем государстве справа всякая была на нас, а худыми людьми нас не бесчестили». Боярин хотел сказать, что отдельным лицам из боярского класса иногда больно доставалось от произвола прежних государей, но самого класса они не лишали правительственного значения, не давали перед ним хода худородным людям. Князь Воро-

тынский хорошо выразил правительственную силу класса при политическом бессилии лиц. Этот класс, державший всякую справу в государстве, и стал разрушаться с начала Смутного времени, хотя почин в этом деле принадлежит еще Грозному. Стройные местнические ряды боярства все более редели; на опустелые места врывались новые худые люди, непривычные к власти, без фамильных преданий и политического навыка. Вокруг царей новой династии не видно целого ряда старых знатных фамилий, которые прежде постоянно держались наверху. При царях Михаиле и Алексее нет уже ни князей Курбских, ни князей Холмских, ни князей Микулинских, ни князей Пенковых; скоро сойдут со сцены князья Мстиславские и Воротынские; в списке бояр и думных людей 1672 г. встречаем последнего кн. Шуйского и пока—ни одного князя Голицына. Точно так же незаметно наверху фамилий нетитулованных, но принадлежащих к старинному московскому боярству: нет Тучковых, Челядниных, падают Сабуровы, Годуновы; на их местах являются все люди новых родов, о которых никто не знал или мало кто знал в XVI в.: Стрешневы, Нарышкины, Милославские, Лопухины, Боборыкины, Языковы, Чаадаевы, Чириковы, Толстые, Хитрые и пр., а из титулованных: князья Прозоровские, Мосальские, Долгорукие, Урусовы, да из многих прежних добрых фамилий уцелели только худые колена. Эта перемена в составе правительственного класса была замечена и своими, и чужими. В начале царствования Михаила остаток старого московского боярства жаловался на то, что в смуту всплыло наверх много самых худых людей, торговых мужиков и молодых детишек боярских, т. е. худородных провинциальных дворян, которым случайные цари и искатели царства надавали высших чинов, возводя их в звания

окольничих, думных дворян и думных дьяков. В 1615 г. польские комиссары, которые вели переговоры с московскими послами, кололи глаза московскому боярству, говоря, что теперь на Москве по грехам так повелось, что простые мужики, поповские дети и мясники негодные мимо многих княжеских и боярских родов не попригожу к великим государственным и земским делам припускаются. Эти политические новики при новой династии все смелее пробираются наверх и забираются даже в Боярскую думу, которая все более худеет, становится все менее боярской. Они и были предшественниками и предвестниками тех государственных дельцов XVII в., которых современники так метко прозвали «случайными» людьми, людьми «в случае». Так, говорю, государи прежней династии правили с помощью цельного правительственного класса; государи XVII в. начали править с помощью отдельных лиц, случайно выплывавших наверх. Эти новые лица, свободные от правительственных преданий, и стали носителями и проводниками новых политических понятий, которые в смуту проникли в московские умы.

Расстройство местничества.

Вторжение стольких новых людей в знатные правящие круги запутало местнические счеты. Местничество, как мы уже видели (лекция XXVII), выстраивало боярскую знать в замкнутую цепь лиц и фамилий, которая в местнических спорах развертывалась в сложную сеть должностных и генеалогических отношений. Два совместника, не зная, как они доводятся друг другу, определяли свое относительное местническое отечество, вовлекая в счет третьих, четвертых, пятых лиц, и если один из соперников проступался по недосмотру или уступчивости, он затрагивал родовую честь этих третьих-пятых, которые вмешивались в дело, чтобы отгородиться от постороннего посягательства на их честь.

Князю Д. М. Пожарскому пришлось быть в одном случае меньше Б. Салтыкова. В думе рассчитывали так: Пожарский родич и родня кн. Ромодановскому—оба из князей Стародубских, а Ромодановский бывал меньше М. Салтыкова, а М. Салтыков в своем роде меньше Б. Салтыкова: стало-быть, кн. Пожарский меньше Б. Салтыкова. Новые люди разрывали эту цепь, входя в нее неприлаженными к ней звеньями. Они проникали в ряды старой знати за прямые заслуги или под предлогом заслуг отечеству; но местничество не признавало подвигов. Что ему заслуга отечеству? Оно знало родоначальника с поколенной таблицей потомков да послужные разрядные росписи. У него было свое отечество—родовая честь. Но и новые люди не хотели поступаться своими заслугами и выслугами, и в истории Московского государства едва ли была эпоха, столь обильная местническими дрязгами, как царствование Михаила. Самый видный из новиков князь Д. М. Пожарский на себе самом испытал всю тяжесть столкновений, отсюда происходивших. Даром, что он Московское государство очистил от воров-казаков и врагов-поляков, из худородных стольников пожалован был в бояре, получил «вотчины великие»: к нему придирались при всяком случае, твердя одно, что Пожарские—люди не разрядные, больших должностей не занимали, кроме городничих и губных старост нигде прежде не бывали. Когда его учли перед Б. Салтыковым, он ничего не возражал, однако царского указа и боярского приговора не послушался. Тогда уже Салтыков вчинил против него иск о бесчестьи, и спаситель отечества «отослан был головою» к ничтожному, но родовитому сопернику, подвергся унизительному обряду, был проведен с торжественным позором пешком под руку под конвоем от царского двора до крыльца соперника. Зато Татищева, бившего челом на того

же кн. Пожарского не в свою меру, высекли кнутом и отослали к князю головою. Расстройство местничества, начавшееся столкновением породы с заслугой, продолжалось отрицанием самой породы, как основы местничества. Заслуга, выслуженный высокий чин не давали знатности. Основное правило местничества—за службу государь жалует деньгами и поместьями, а не отечеством. Когда местническое сутяжничество разгорелось и редкое должностное назначение обходилось без спора и ослушания, правительство придумало способ устранить вред, отсюда происходивший для службы: на должности, дотоле замещаемые людьми родословными, стали назначать неродословных, между которыми счета местами на полагалось. Но неродословные, попав на родословные должности, тотчас воображали себя пожалованными в родословные и местничались между собою не хуже родословной знати, даже принимались местничаться с настоящими родословными людьми. За это их лишали чинов, сажали в тюрьму, секли кнутом; но они не унимались, и раз, выведенные из себя нескончаемым и досадным разбирательством таких бездельных споров, думный дьяк и боярин среди самого заседания Боярской думы собственноручно отколотили палками неугомонного худородного спорщика, приговаривая: «не по делом бьешь челом, знай свою меру». Но это кляузничество худородных было вызвано обстоятельствами времени. Смута произвела большую переборку служилых фамилий, подняла одни, понизила другие. Служебный чин сам по себе мало значил в местничестве, не давал родовитости; но родовитого человека обыкновенно возводили в высокий чин, служивший показателем его родовитости. Малые люди, дослужившиеся в смуту до больших чинов, пытались превратить признак родовитости в ее источник и стали усвоять мысль, что государь, жалуя худо-

родному большой чин, вместе с тем дает ему и знатность. Эта мысль, отрицавшая самое основание местничества, принадлежала к новым политическим понятиям, возникшим в смуту, и была тогда отчетливо выражена одним захудалым служакой, сказавшим в споре о местах своему родовитому сопернику: *велик и мал живет государевым жалованьем.* Эта же мысль повела к отмене местничества в 1682 г., потом легла в основу петровской табели о рангах 1722 г. и всего более содействовала поглощению старой боярской аристократии чиновной дворянской бюрократией.

Царь и боярство.

Новые политические понятия, зародившиеся в умах в продолжение смуты, оказали прямое и заметное действие на государственный порядок при новой династии, именно на постановку верховной власти в ходе высшего управления. Впрочем, перемена, здесь происшедшая, была только продолжением или осуществлением стремлений, заявленных в Смутное время. Я уже не раз повторял, что взаимные отношения государя и целого боярского класса устанавливались практикой, обычаем, а не законом, зависели от случая или произвола, что между московским государем-хозяином и боярами-слугами в хозяйском доме могла быть речь об условиях службы, но не о порядке домоправления. По пресечении династии эти дворовые отношения неизбежно переносились на политическую основу: для избранного царя из своих или чужих государство не могло оставаться вотчиной, да и бояре-приказчики хотели стать участниками управления. Уже во время смуты боярство и высшее дворянство несколько раз пытались установить государственный порядок, основанный на письменном договоре с царем, т.-е. на формальном ограничении верховной власти. Такие попытки мы видели уже при воцарении В. Шуйского и в договоре Салтыкова 4 февраля 1610 г. Эти попытки —

следствие перерыва московского политического предания, какой произведен был пресечением старой династии. Боярство и теперь, по прекращении смуты, не хотело отказаться от своего стремления. Напротив, при политическом возбуждении, какое вынесло боярство из времен Грозного и Годунова, это стремление разгорелось до жгучей потребности. Митрополит Филарет, отец Михаила, узнав о созыве избирательного собора в Москве, писал туда из польского плена, что восстановить власть прежних царей значит подвергнуть отечество опасности окончательной гибели, и он скорее готов умереть в польской тюрьме, чем на свободе быть свидетелем такого несчастия. Он и не подозревал, что по возвращении в отечество, где он стал потом подле сына со властью и титулом государя, ему самому придется считаться со своим конституционном порывом. При воцарении Михаила случилось что-то, отвечавшее этому порыву. Эта новая попытка, потом как-то свеянная временем в московских умах и с государственного порядка, вскрывается свидетельствами, идущими с разных сторон. О нем говорит один современник-псковитянин, написавший недурную повесть о Смутном времени и о воцарении Михаила. Повествователь с негодованием рассказывает, как по избрании Михаила бояре хозяйничали в Русской земле, царя ни во что не ставили и не боялись его. Он прибавляет, что при вступлении Михаила на престол бояре заставили его поцеловать крест на том, чтобы никого из их вельможных и боярских родов не казнить ни за какое преступление, а только ссылать в заточение. Определеннее передает дело человек следующего поколения, подьячий Посольского приказа Григорий Котошихин. Он бежал из России в 1664 г. и за границей, в Швеции, составил описание Московского государства. Покинув Москву 19 лет спустя

по воцарении второго государя новой династии, он мог по личным воспоминаниям или по свежему преданию помнить все время Михаила. В своем описании он ставит этого царя в один ряд с государями, которые по пресечении старой династии вступали на престол не по праву наследства, а по народному избранию. По его представлению, все эти выборные цари вступали на престол с ограниченной властью. Обязательства, какие они на себя принимали, на каких «были иманы с них письма», по его словам, состояли в том, чтобы «им быть нежестоким и непальчивым, без суда и без вины никого не казнить ни за что и мыслить о всяких делах с боярами и думными людьми сопча, а без их ведома тайно и явно никаких дел не делать». О царе Михаиле Котошихин прибавляет, что хотя он и писался самодержцем, но без боярского совета не мог делать ничего. То же подтверждает и известие, идущее из XVIII в. Тогдашний русский историк Татищев, пользовавшийся историческими документами, теперь неизвестными, по поводу дела верховников в 1730 г. составил небольшую историко-политическую записку, в которой свидетельствует о царе Михаиле, что хотя его избрание на престол и было «порядочно всенародное», т.-е. правильно соборное, однако с такою же записью, какая взята была с царя В. Шуйского, через что царь Михаил ничего не мог сделать, но рад был покою, т.-е. предоставил все управление боярам. Но в другом сочинении тот же Татищев решительно сомневается в такой записи, когда разбирает известие о ней Страленберга, шведа, жившего в России при Петре I, говоря, что не знает ни письменных, ни устных о том свидетельств. В описании России, изданном в 1730 г., Страленберг пользовался воспоминаниями и рассказами о XVII в., еще свежо хранившимися в русском обществе.

Отсюда он узнал, что царь Михаил, вступая на престол, должен был дать такое письменное клятвенное обязательство: блюсти и охранять православную веру, забыть прежние фамильные счеты и недружбы, по собственному усмотрению не издавать новых законов и не изменять старых, не объявлять войны и не заключать мира, важные судные дела вершить по закону, установленным порядком, наконец, свои родовые вотчины отдать родственникам либо присоединить к коронным землям. Подкрестная запись Михаила неизвестна, и обязательств, им принятых, в тогдашних официальных документах не заметно. В пространной *Утвержденной грамоте*, которою земский собор закрепил избрание Михаила, и в записи, по которой ему присягали, можно уловить три черты, очертивающие власть нового царя: 1) его избрали на царство, потому что он доводился племянником последнему царю старой династии Федору; 2) собор присягал не только избранному им царю, но и его будущей царице и их будущим детям, видя в своем избраннике если не наследственного, то потомственного государя; 3) служивые люди обет давали быть без «прекословия во всяких государевых делах», как кому государь на своей службе быть велит. Может возникнуть сомнение на самом факте ограничения Михаиловой власти. Однако предание об этом пошло от современников Михаила и держалось долее столетия. Неясные намеки помогают догадаться, в чем было дело. Наиболее доверия внушает псковская повесть, передающая дело в том виде, когда носившиеся слухи еще не успели разрастись в сказание, в политическую легенду. В первые пять лет царствования Михаила, до возвращения его отца из польского плена, при дворе всем ворочала родня Романовых: Салтыковы, Черкасские, Сицкие, Лыковы, Шереметевы. Но были

еще целы большие бояре Голицыны, Куракин, Воротынский, навязавшие крестоцеловальную запись своему собрату царю Василию Шуйскому и потом с Мстиславским во главе признавшие королевича Владислава. Они были не безопасны для стороны Романовых, могли затеять новую смуту, если бы с ними не поделились добычей. Да и для сторонников Михаила власть, случайно или нечисто добытая, была костью, из-за которой они при случае готовы были перегрызться. Общим интересом обеих сторон было оградить себя от повторения испытанных уже неприятностей, когда царь или временщик его именем расправлялся с боярами, как с холопами. Так за кулисами земского собора состоялась негласная придворная сделка, подобна той, какая были разбита Годуновым и удалась при Шуйском. Эта сделка прежде всего была направлена к обеспечению личной безопасности боярства от царского произвола. Ничего не стоило связать слабодушного Михаила подобными клятвенными обязательствами, особенно при содействии его матери, инокини Марфы, своенравной интриганки, державшей сына в крепких руках. Трудно только решить, была ли при этом взята с Михаила присяжная запись: повесть умалчивает о записи, говоря только о присяге. Первые годы Михаилова правления оправдывают мысль о такой сделке. Тогда видели и рассказывали, как своевольничали в стране правящие люди, «гнушаясь» своим государем, вынужденным смотреть сквозь пальцы на деяние своих приближенных. Можно понять и то, почему не была обнародована присяжная запись царя, если только она существовала. Со времени В. Шуйского в выборном царе с ограниченной властью видели партийного государя, орудие боярской олигархии. Теперь, перед лицом земского собора, особенно неловко было выносить на свет подобный слиш-

ком партийный акт. Негласное ограничение власти, какое бы оно ни было, разумеется, не помешало Михаилу удержать титул *самодержца* и даже впервые изобразить его на новой царской печати, им заказанной.

Боярская дума и собор.

Высшим правительственным органом втихомолку стакнувшегося правящего круга служила Боярская дума. Но в царствование Михаила эта дума не была единственным высшим правительственным учреждением при царе: рядом с нею часто является другой высший правительственный орган, земский собор. Мы сейчас увидим, как он изменился в своем составе, стал настоящим представительным собранием. Царствование Михаила было временем усиленной работы правительства совместно с земским собором. Никогда, ни прежде, ни после, не собирались так часто выборные от всех чинов людей Московского государства. Едва не каждый важный вопрос внешней и внутренней политики заставлял правительство обращаться к содействию земли. По документам известно за время царствования Михаила до 10 созывов земского собора. Что еще важнее, земский собор в это время является с компетенцией более широкой, какой он не имел прежде и какой ему не давал даже договор Салтыкова. Теперь земский собор рассматривает такие дела, которые прежде ведала только Боярская дума, текущие дела государственного управления, например, вопросы о налогах, которые по договору Салтыкова решал царь с думой. Значит, собор прямо входил в круг дел Боярской думы. Но к царю с первых минут по его избрании собор стал в особое отношение. Как временное правительство, он с боярами в главе до приезда новоизбранного царя в Москву распоряжается всем в государстве. Однако не он предписывает условия своему избраннику, а наоборот. В переговорах со стороны

царя, точнее — его руководителей, все настойчивее звучит повелительная нота: «учинились мы царем по вашему прошению, а не своим хотеньем, выбрали нас, государя, всем государством, крест нам целовали вы своею волею, обещались служить и прямить нам и быть в соединении, а теперь везде грабежи и убийства, разные непорядки, о которых нам докучают; так вы эти докуки от нас отведите и все приведите в порядок». И это говорилось соборным послам иногда «с большим гневом и слезами». Сами просили меня на царство, так давайте мне средства царствовать, а лишними хлопотами меня не обременяйте: такой тон дан был переговорам. Учредительное собрание, каким был избирательный собор 1613 г., по отношению к царю, как-то превратилось в исполнительное, ответственное перед тем, кому оно дало власть. Соображая изложенные известия, можно утверждать согласно с одним свидетельством, что власть царя Михаила была стеснена обязательствами, подобными тем, какие были наложены на власть царя В. Шуйского, т.-е. ограничена была Боярской думой. Но после смуты, когда нужно было восстановлять государственный порядок, дума на каждом шагу встречала затруднения, с которыми не могла справиться сама, и волей-неволей должна была искать содействия у земского собора. Прямое участие в правительственной деятельности, какое принимала земля в смуту, не могло прекратиться тотчас по ее окончании; царь, избранный народной волей, советом всей земли, естественно, должен был и править при содействии народа, земского представительства. Если Боярская дума стесняла власть царя, то земский собор, помогая думе, сдерживал ее самое, служил ей противовесом. Итак, под действием политических понятий и потребностей, вызванных смутой, которые не погасли и по ее прекращении, власть царя

получила очень сложную и условную, сделочную конструкцию. Она была двойственна, даже двусмысленна, и по своему происхождению и по составу. Действительным ее источником было соборное избрание; но она выступала под покровительством политической фикции наследственного преемства по родству. Она была связана негласным договором с высшим правительственным классом, который правил через Боярскую думу, но публично, перед народом, в официальных актах являлась самодержавной в том неясном, скорее титулярном, чем юридическом смысле, который не мешал даже В. Шуйскому в торжественных актах титуловаться самодержцем. Таким образом власть нового царя составлялась из двух параллельных двусмыслиц: по происхождению она была наследственно-избирательной, по составу ограниченно-самодержавной.

Упрощение верховной власти.

Такая постановка верховной власти не могла быть окончательной и прочной: она могла держаться только, пока не улеглись противоречивые интересы и отношения, встревоженные и перепутанные смутой. Такое положение и является случайным эпизодом в истории Московского государства. Постепенно верховная власть упрощалась, разнородные элементы в ее содержании ассимилировались и поглощались одни другими *). Политические обязательства, принятые царем Михаилом, сколько можно о том судить, действовали во все продолжение его царствования. Воротившийся из плена отец государев, возведенный в сан патриарха и второго государя, твердою рукою взялся за кормило правления и не всегда смотрел на боярские лица; но управление до конца жизни Филарета велось совместными силами обоих государей, при участии Боярской думы и земского собора.

*) См. прилож. I.

Это двоевластие было сделкой семейных понятий и политических соображений: родителю неловко было стать просто подданным своего сына, а сын нуждался в постоянном регентстве, которое всего естественнее было поручить отцу с титулом второго государя. С идеей нераздельности верховной власти помирились с помощью диалектики. В одном местническом случае вопрос, который из государей больше или меньше другого, решен был так: «каков он, государь, таков же и отец его государев; их государское величество нераздельно». Царь Михаил не оставил и не мог оставить завещания, и понятно почему. Государство при новой династии перестало быть вотчиной государя, и прежний юридический способ передачи власти, завещание, утратил силу. Но закона о престолонаследии не было; потому царь Алексей, как и его отец, вступил на престол путем, непохожим на тот, каким шли к нему цари прежней династии. Он принимал власть, так сказать, по двум юридическим титулам, по наследству без завещания и по соборному избранию. В 1613 г. земля присягала Михаилу и его будущим детям. Царь Алексей вступал на престол, как преемник своего отца, и современники называли его «природным», т.-е. наследственным царем. Но земский собор уже три раза был призываем для избрания царей (Федора, Бориса, Михаила). Соборное избрание, как замена завещания, стало признанным прецедентом. Теперь в четвертый раз обратились к тому же средству, чтобы случай превратить в правило, в порядок; соборным избранием только подтверждалось наследование по закону, установленное клятвенным соборным приговором 1613 г. Современники свидетельствуют, что по смерти Михаила собрался форменный земский собор, который выбрал на престол 16-летнего сына Михайлова и присягнул ему. Иностранец, голштинский посол Олеарий,

в своем описании Московского государства пишет, что царь Алексей вступил на престол по единодушному согласию всех бояр, знатных господ и всего народа. О созыве собора для избрания царя Алексея ясно говорит и упомянутый московский подьячий Котошихин. Он пишет, что по смерти Михаила «обрали» на царство его сына духовенство, бояре, дворяне и дети боярские, гости и торговые и всяких чинов люди и *чернь*, вероятно, столичное простонародье, огульно опрошенное о царе на площади, как в 1613 г. Но обязательства, принятые на себя Михаилом, не были повторены его сыном. В другом месте тот же Котошихин замечает: «а нынешнего царя обрали на царство, а письма он на себя не дал никакого, что прежние цари давывали, и не спрашивали, потому что разумели его гораздо тихим, и потому пишется *самодержцем* и государство свое правит по своей воле». Но земский собор не ограничивал верховной власти, и письма могли спрашивать с Алексея только бояре. Значит, повторение закулисной сделки и в 1645 г. считалось возможным, но было признано ненужным. Царь Алексей оправдал доверчивость бояр, не хотевших связывать его при воцарении никакими обязательствами. Он не напрягал своего полновластия, жил в большом ладу с этим классом, а в новом боярском поколении, с которым пришлось действовать Алексею, уже выветрились политические тенденции Смутного времени, внушившие сделку 1613 г. В то время как незаметно исчезали следы политических обязательств, под гнетом которых начала действовать новая династия, царь Алексей сделал попытку и соборное избрание превратить в простой символический обряд. Года за полтора до своей смерти, 1 сентября 1674 г. царь торжественно *объявил народу* старшего царевича как наследника престола на Красной площади в

Москве в присутствии высшего духовенства, думных людей и иноземных резидентов, находившихся тогда в Москве. Это торжественное объявление наследника народу было формой, в которой царь передавал власть сыну после своей смерти, и единственным актом, придававшим законный вид воцарению Федора, на которого, как на Михаилова внука, не простирался соборный приговор 1613 г. Но такой явочный способ передачи власти в присутствии народа с его молчаливого согласия не упрочился. По смерти Алексеева сына царя Федора, не оставившего прямого наследника, повторилось активное избрание, вынужденное обстоятельствами, но в упрощенной, точнее, искаженной форме. В апреле 1682 г., как только закрыл глаза Федор, патриарх, архиереи и бояре, пришедшие проститься с покойным царем, собрались в одной дворцовой палате и стали думать, которому из двух оставшихся сыновей царя Алексея быть царем. Приговорили, что этот вопрос должны решить всех чинов люди Московского государства. Тотчас с дворцового крыльца патриарх с архиереями и боярами велел собраться всех чинов людям на дворцовом дворе и тут же с крыльца обратился к собравшимся с речью, в которой предложил тот же вопрос. Не совсем единогласно, впрочем, со значительным перевесом голосов, был провозглашен младший десятилетний царевич Петр мимо слабоумного старшего Ивана. С тем же вопросом патриарх обратился к высшему духовенству и к боярству, стоявшим тут же на крыльце, и те высказались за Петра же. После того патриарх пошел и благословил Петра на царство. Ввожу вас в эти подробности, чтобы показать, как просто делалось тогда такое важное дело в Москве. Очевидно, на этом обыденном собрании не было ни выборных людей, ни соборных совещаний. Вопрос решила разночиновная толпа, оказавшаяся в Кремле по случаю смерти

царя. Очевидно также, что люди, решавшие судьбу государства в эту минуту с патриархом во главе, не имели никакого понятия ни о праве, ни о соборе, ни о самом государстве, или нашли такие понятия излишними в данном случае. Но стрельцы, поднятые партией царевны Софьи, отвечая на образ действий высших властей, после бунта 15 мая 1682 г. заставили на спех устроить такую же пародию собора, который и выбрал на престол обоих царевичей. В акте этого вторичного, революционного выбора также читаем, что *все* чины государства били челом, чтобы «для всенародного умирения оба брата учинились на престоле царями и самодержавствовали обще».

Боярская попытка 1681 г.

Мы проследили, как изменялась постановка верховной власти в три первые царствования новой династии и к чему привели эти изменения по смерти третьего царя. Век, начавшийся усиленными заботами правящих классов о создании основных законов, о конституционном устройстве высшего управления, завершился тем, что страна осталась без всяких основных законов, без упорядоченного высшего управления и даже без закона о преемстве престола. Не имея сил создать такой закон, изворачивались придворной интригой, символической явкой, подделкой земского собора и, наконец, военным бунтом. Однако бояре не покинули своего политического предания. В конце 1681 г., когда возбужден был вопрос об отмене местничества, т.-е. о разрушении одной из основ политического значения боярства, оно втихомолку сделало еще попытку спасти свое положение. Видя крушение своих давних надежд на господство в государственном центре, оно попыталось упрочиться в провинции. Составлен был план раздела государства на крупные исторические области, вошедшие в его состав и бывшие некогда самостоятельными государствами. В эти обла-

сти из наличных представителей московской знати назначались *вечные*, несменяемые пожизненные наместники. Так явились бы полномоченные местные правители, «боярин и наместник князь» царства Казанского или царства Сибирского и т. д. Царь Федор дал уже согласие на этот план аристократической децентрализации управления; но патриарх, на благословение которого препровожден был проект, разрушил его, указав на опасности, какими-де он угрожает государству.

Земские соборы XVII в.

Перемена в составе и значении земских соборов—одно из важнейших следствий Смутного времени. На соборы XVI в. призывались должностные лица, органы центрального и местного управления. Но уже на соборах 1598 и 1605 гг. заметно присутствие выборных и от «простых» людей. Смута создала условия, которые дали выборному элементу решительное численное преобладание над должностным и тем сообщили земскому собору характер настоящего представительного собрания. Обстоятельства заставляли тогда общество принимать прямое участие в общественных делах, и само правительство вовлекало его в это участие, обращаясь к народу с воззваниями и увещаниями о содействии и крепком стоянии за православную веру. Всему народу торжественно читали в соборном храме памфлеты на текущие события с примесью чудесного. Слова, малознакомые прежде, *совет всей земли*, *общий земский совет*, *всенародное собрание*, крепкая дума *миром*, стали ходячими выражениями новых понятий, овладевших умами. Из этих понятий всего глубже врезывалась в общественное сознание мысль об избрании государя «советом всей земли». Расширяясь, эта мысль захватила все земские дела; о всяком земском деле считали необходимым учинить «крепкий общий совет», и для того города устраивали съезды, выбирая из своей среды «лучших людей» от всяких чинов.

Когда земля стала раздираться между царями-соперниками Василием и Лжедмитрием II, пробудилась мысль о единстве и целости государства, вспомнили о бедствиях удельных веков. Без выборных представителей всех чинов не решались делать никакого важного шага. Посольство митрополита Филарета и кн. В. В. Голицына к Сигизмунду в 1610 г. сопровождала свита, в которой числилось свыше 1000 человек выборных из разных чинов. Идя к Москве, кн. Пожарский грамотами по городам также вызывал в свой стан выборных из всяких чинов. Хотели, чтобы при каждом акте государственной важности присутствовала, по возможности, вся земля в лице своих представителей и этим присутствием засвидетельствовала, что дело велось открыто и прямо, а не келейным, застеночным заговором против народа, как действовали Малюта Скуратов, Б. Годунов и сам В. Шуйский. В таком образе действий теперь видели корень бед, постигших Русскую землю. Значит, выборный состав земского собора схематически выработался в общественном сознании пробными опытами еще до созыва избирательного собора 1613 г., который можно признать первым достоверным опытом действительного народного представительства. Очистив Москву, бояре и воеводы второго ополчения призывали для земского совета и государского избрания выборных лучших людей, «крепких и разумных», из всех чинов, не исключая посадских и уездных людей, торгово-промышленных обывателей провинциальных городов и крестьян: представителей этих обоих классов не видим на земских соборах XVI в. Вожди ополчения хотели в точности осуществить клином вбитую смутой в умы идею всенародного, «вселенского» или «всемирного совета», по выражению актов того времени. Вместе с составом изменилось и значение собора. В XVI в. правительство созы-

вало должностной собор, чтобы найти в нем ответственных исполнителей соборного приговора или царского указа. Вожди второго ополчения писали в окружной грамоте по городам, что без государя государство ничем не строится. Мы уже видели, что избирательный собор в 1613 г., исполнив свое учредительное дело, выбор царя, тотчас превратился в распорядительную коммиссию, которая по указаниям и требованиям новоизбранного царя принимала предварительные меры к устроению земли, пока не сформировалось постоянное правительство. Как скоро оно образовалось, собору указано было иное назначение. В 1619 г. было постановлено для устроения земли вызвать в Москву из всех чинов всякого города выборных, «добрых и разумных людей», которые умели бы рассказать обиды, насильства и разорения, ими вынесенные: выслушав от них челобитье об их нуждах, теснотах, разореньи и обо всяких недостатках, царь по совету с отцом своим патриархом будет промышлять о государстве, «чтобы во всем поправить, как лучше». Таким образом выборным людям предоставлялось возбуждение законодательных мер в форме ходатайств, а верховное управление удерживало за собою право решать возбужденные вопросы. Земский собор из носителя народной воли превращался в выразителя народных жалоб и желаний, а это, разумеется, не одно и то же. При дальнейшем изучении явлений XVII в. мы будем иметь случай видеть, как на основе изложенных двух перемен определились устройство, деятельность и судьба земских соборов.

Разорение.

Все изложенные следствия смуты и новые политические понятия с новым освеженным составом правительственного класса, и новая постановка верховной власти с новым характером земского собора, повидимому, обещали плодотворное развитие государства и общества и давали новой ди-

настии обильный запас средств действия, духовных и политических, каких не имела старая династия. Но крутые переломы в умах и порядках всегда несут с собой одну опасность: сумеют ли люди воспользоваться ими, как следует, не создадут ли из новых средств новых для себя затруднений? Следствия смуты обнаруживали произведенный ею насильственный перерыв старого политического предания, разрушение государственного обычая, а люди, даже овладевшие значительным запасом соответствующих перелому понятий, ступают шатко, пока эти понятия, оторвавшие их от старого обычая, сами не переработаются в твердые навыки. Из того, как перевернулась к концу XVII в. постановка верховной власти, можно видеть, что эта опасность сильно грозила Московскому государству. Опасность усиливалась еще другим рядом следствий смуты, совсем неблагоприятных. Бури Смутного времени произвели глубокие опустошения как в хозяйственном положении народа, так и в нравственном настроении русского общества. Страна была крайне разорена. Иностранцы, приезжавшие в Московию вскоре по воцарении Михаила, рисуют нам страшную картину опустелых или сожженных сел и деревень с заброшенными избами, которые были наполнены еще не убранными трупами (1615 г.). Смрад вынуждал зимних путников ночевать на морозе. Люди, уцелевшие от смуты, разбежались, кто куда мог; весь гражданский порядок расстроился, все людские отношения перепутались. Нужно было много продолжительных усилий, чтобы восстановить порядок, собрать разбежавшихся людей, усадить их на прежних местах, втолкнуть их в житейский обиход, из которого их вырвала смута. От времени царя Михаила сохранилось не мало поуездных списков служилых людей, *десятен*, и поземельных описей, *писцовых книг*, изображающих хозяй-

ственное положение служилого землевладельческого и крестьянского населения. Они ярко рисуют экономическое расстройство Московского государства и народа в первое царствование новой династии. Прежде всего можно заметить перемену в составе сельского крестьянского населения, служившего главным источником государственного дохода. По писцовым книгам XVI в., крестьянство распадалось по имущественной самостоятельности на два класса: на крестьян собственно и на бобылей. Бобыли—те же крестьяне, только маломочные, пахавшие участки меньших размеров сравнительно с крестьянскими или совсем беспашенные, владевшие только усадьбами. В XVI в. крестьянство решительно преобладало численностью над бобыльством; по писцовым книгам Михаилова времени после смуты устанавливается иное, по местам даже обратное, отношение бобыльства к крестьянству: первое уравнивается с последним или даже получает над ним большой численный перевес. Так в уездах Белевском, Мценском и Елецком на землях уездных служилых людей в 1622 г. находим 1187 крестьян и 2563 бобыля. Значит, смута заставила огромное количество крестьян бросить пашню или сократить ее. Такой рост бобыльства служит признаком расширения пустоты, заброшенной пашни, и нельзя считать исключительным случаем указание поземельной описи того времени на один стан Рязанского уезда, где в 1616 г. в поместьях числилось пустоты в 22 раза больше пашни. У келаря А. Палицына, хорошего монастырского хозяина и хорошо осведомленного о хозяйственном положении отечества, находим любопытное подтверждение такого запустения. Он пишет, что во время трехлетнего неурожая при царе Борисе у многих в житницах сберегались огромные запасы давно засыпанного хлеба, гумна были переполнены одоньями и копнами, и этими старыми

запасами кормились свои и чужие в продолжение 14 смутных лет, когда «орание и сеятва и жатва мятяшеся, мечу бо на выи у всех всегда надлежащу». Это известие свидетельствует и о развитии хлебопашества до смуты, и о недостатке хлебного сбыта, и о падении земледелия в смуту. Расстройство сельского хозяйства, сопровождавшееся такой переменой в хозяйственном составе сельского населения, должно было тяжело отозваться на частном землевладении, преимущественно на хозяйственном положении провинциального дворянства. Приведу не для памяти, а для справки, несколько данных по разным наудачу взятым уездам из десятен 1622 г., когда следы разорения уже заметались. Боевая годность служилого класса зависела от доходности его имений, от количества и состоятельности крестьян, населявших его вотчины и поместья. У немногих уездных дворян были вотчины; огромное большинство жило доходами с поместий. Так, в Белевском уезде вотчины составляли $^1/_4$ всего уездного дворянского землевладения, в Тульском немного более $^1/_5$, в Мценском $^1/_{17}$, в Елецком $^1/_{137}$, в Тверском даже у *выбора*, наиболее состоятельного слоя провинциального дворянства, $^1/_4$. Поместья уездных дворян были вообще очень мелки и населены крайне скудно: среднее поместье в Тульском уезде заключало в себе 135 десятин пахотной земли, в Елецком—124 д., в Белевском—150 дес., в Мценском — 68 дес. Тяглых хлебопашцев, крестьян и бобылей, в этих четырех уездах приходилось по 2 человека на 120 дес. поместной земли, т. е. по 60 дес. на каждого работника. Но не думайте, что вся эта пахотная земля действительно обрабатывалась и именно крестьянами и бобылями: вспахивалась незначительная ее доля, да и то не вся ими. В Тверском уезде у зажиточного выборного дворянина из 900 десятин вотчинной и поместной

земли обрабатывалось всего 95 дес.; из них 20 дес. землевладелец пахал на себя своими дворовыми людьми; остальными 75 десятинами пользовались 28 крестьян и бобылей домохозяев, живших в 19 дворах, так что на каждый двор круглым числом приходилось по 4,6 дес. Крестьянская запашка больших размеров была довольно редким явлением. Притом в Елецком и других названных южных уездах было много дворян совсем безземельных, однодворцев, имевших только усадьбы, без крестьян и бобылей, и «пустопоместных», у которых не было и усадеб: так в Елецком уезде из 878 дворян и детей боярских значилось 133 безземельных и 296 однодворцев и пустоместных. Некоторые дворяне бросали свои вотчины и поместья, поступали в казаки или шли в боярские дворы кабальными холопами и в монастыри служками или же, по замечанию десятни, валялись по кабакам. Чем ниже падало служилое землевладение, тем более усиливалась необходимость возвышать служилым людям оклады денежного жалованья, чтобы поднимать их на ноги для службы. Возвышение денежных окладов вело к увеличению поземельных налогов, падавших на крестьян, а так как эти налоги разверстывались по пространству пашни, то крестьянин, не будучи в состоянии выносить все возраставшей налоговой тяжести, сокращал свою запашку, чтобы платить меньше. Так казна попадала в безвыходный круг.

Настроение общества.

Наконец, внутренние затруднения правительства усиливались еще глубокой переменой в настроении народа. Новой династии приходилось иметь дело с иным обществом, далеко не похожим на то, каким правили прежние цари. Тревоги Смутного времени разрушительно подействовали на политическую выправку этого общества: с воцарения новой династии в продолжение всего XVII века

все общественные состояния немолчно жалуются на свои бедствия, на свое обеднение, разорение, на злоупотребления властей, жалуются на то, отчего страдали и прежде, но о чем прежде терпеливо молчали. Недовольство становится и до конца века остается господствующей нотой в настроении народных масс. Из бурь Смутного времени народ вышел гораздо впечатлительнее и раздражительнее, чем был прежде, утратил ту политическую выносливость, какой удивлялись в нем иноземные наблюдатели XVII в., был уже далеко не прежним безропотным и послушным орудием в руках правительства. Эта перемена выразилась в явлении, какого мы не замечали прежде в жизни Московского государства: XVII век был в нашей истории временем народных мятежей. Это явление тем неожиданнее, что обнаруживается при царях, которые своими личными качествами и образом действий, повидимому, всего менее его оправдывали.

Лекция XLV.

Внешнее положение Московского государства после смуты.—Задачи внешней политики при новой династии.—Западная Русь со времени соединения Литвы с Польшей.—Перемены в управлении и в сословных отношениях.—Города и магдебургское право.—Люблинская уния.—Ее следствия. Заселение степной Украйны.—Происхождение казачества.—Малороссийское казачество.—Запорожье.

Я изложил следствия смуты, обнаружившиеся во внутренней жизни государства и общества. Обратимся к другому ряду явлений, шедших из того же источника, к внешним отношениям государства, установившимся после смуты.

Задачи внешней политики.

Внешнее международное положение государства существенно изменилось под действием смуты, стало несравненно тяжелее прежнего. Старая династия в продолжение полутора века неуклонно вела внешнюю политику в одном направлении, действовала наступательно, медленно, но постоянно расширяла территорию своего государства, собирая рассыпанные части Русской земли. Как только стало завершаться политическое объединение Великороссии, тотчас выяснились дальнейшие задачи внешней политики. Великий князь Иван III, подбирая последние самостоятельные русские миры, в то же время заявил в борьбе с Польшей, что объединенная Великороссия не положит оружия, пока не воротит всех остальных частей Русской земли, оторванных соседями, пока не соберет всей народности. Внук его, царь

Иван, стремился распространить территорию русского государства до естественных географических границ русской равнины, занятых враждебными иноплеменниками. Так были поставлены па очередь две задачи внешней политики: *завершение политического объединения русской народности и расширение государственной территории до пределов русской равнины.* Старая династия не разрешила ни той, ни другой задачи, ни национальной, ни территориальной; однако были достигнуты значительные успехи на этом пути. Дед и отец Грозного воротили земли Смоленскую и Северскую, пробившись таким образом до Днепра. Сам Грозный сперва обратился в другую сторону, овладел средним и нижним Поволожьем, расширив восточные границы государства до Урала и Каспия. Менее удачно было его дальнейшее движение на запад. С этой стороны он хотел приобрести Ливонию, продвинуть границу государства до Балтийского моря, т.-е. до восточного его берега, как естественного рубежа равнины. Но ему не удалось овладеть всем течением Западной Двины, и в борьбе с Баторием он даже потерял старинные русские города по Финскому заливу и Ладожскому озеру: Яму (Ямбург), Копорье, Корелу (Кексгольм) и Иван-Город. Его сын, царь Федор, после новой войны со шведами (1590—1595 г.г.) воротил потери отца и удержался на побережьи Финского залива, старинной Вотьской пятины В. Новгорода, к которой принадлежали эти города. Смутное время снова отбросило Московское государство с западных позиций, занятых им в XVI в. Поляки, оторвав у него области Смоленскую и Северскую, отрезали Москву от Днепра, а шведы сбили ее с берегов Балтийского моря. Первый царь новой династии вынужден был уступить Швеции по договору в Столбове (1517 г.) названные города и еще Орешек (Шлиссельбург), а Польше по дого-

вору в Деулине (1618 г.) земли Смоленскую и Северскую. Москва опять принуждена была отступить далеко от заветных западных рубежей. Новая династия дурно начинала: она не только отказалась от национального дела старой династии, но и растеряла многое из того, что от нее унаследовала. Внешнее положение государства ухудшалось еще пренебрежением, с каким стали относиться к нему соседи со времени смуты. Московские бояре в 1612 г. писали в окружной грамоте по городам: «со всех сторон Московское государство неприятели рвут; у всех окрестных государей мы в позор и укоризну стали». Новая династия должна была еще более прежней напрягать народные силы, чтобы возвратить потерянное: это был ее национальный долг и условие ее прочности на престоле. С первого царствования она и ведет ряд войн, имевших целью отстоять то, чем она владела, или воротить то, что было потеряно. Народное напряжение усиливалось еще тем, что эти войны, по происхождению своему оборонительные, сами собою, незаметно, помимо воли московских политиков, превратились в наступательные, в прямое продолжение объединительной политики прежней династии, в борьбу за такие части Русской земли, которыми Московское государство еще не владело дотоле. Международные отношения в восточной Европе тогда складывались так, что не давали Москве перевести дух после первых неудачных усилий и приготовиться к дальнейшим. В 1654 г. восставшая против Польши Малороссия отдалась под защиту московского государя. Это вовлекло государство в новую борьбу с Польшей. Так возник новый вопрос—*малороссийский*, еще более усложнивший старые запутанные смоленские и северские счеты Москвы с Речью Посполитой. Малороссийский вопрос был исходным моментом внешней московской политики

с половины XVII в. Он обращает нас к истории Западной Руси. Но я коснусь ее лишь настолько, чтобы выяснить условия происхождения этого вопроса. Эти условия вскрылись в самом начале события, его возбудившего. В 1648 г. сотник малороссийского реестрового войска Богдан Хмельницкий поднял Запорожье против Речи Посполитой. Его дружно поддержало малороссийское крестьянство, восставшее против своих господ, польских и ополячившихся русских панов. Реестровые казаки также перешли на сторону Богдана, и образовалась грозная сила, с которой Хмельницкий через какие-нибудь пять-шесть месяцев имел в своих руках чуть не всю Малороссию. Чт̀о такое была Речь Посполитая, какое место занимала в ней Малороссия, как очутились в Малороссии польские паны, как возникло малороссийское казачество и почему в восстании примкнуло к нему украинское крестьянство—вот чт̀о нужно выяснить, чтобы видеть корни малороссийского движения 1648 г.

Западная Русь.

Вопрос о воссоединении Западной Руси был самым тяжелым делом внешней московской политики в XVII в. Он сплелся из разнообразных ззтруднений, какие постепенно развились в той Руси из политической сделки польских панов с великим князем литовским Ягайлом в конце XIV в. В силу этой сделки 1386 г. великий князь литовский вместе с рукой польской королевны Ядвиги получил и польское королевство. Сделка основана была на обоюдных расчетах сторон: Ягайло надеялся, став королем и приняв католицизм со всем своим народом, найти в Польше и папе поддержку против опасного Тевтонского ордена, а полякам хотелось через Ягайла взять в свое распоряжение силы и средства Литвы и особенно Западной Руси, Волыни, Подолии, Украйны. Так соседние государства Литва и Польша соединились династической связью. Это было механическое

соединение двух несродных и даже враждебных государств, скорее дипломатическая интрига, рассчитанная на обоюдные недоразумения, чем политический акт, основанный на единстве взаимных интересов. Тем не менее это событие произвело важные перемены в положении Западной Руси. Покорение этой Руси литовскими князьями сопровождалось подчинением Литвы русскому влиянию. В начале XV в. русские области, вошедшие в состав Литовского княжества земли Подольская, Волынская, Киевская, Северская, Смоленская и другие как по пространству, так и по количеству населения, значительно превосходили покорившее их Литовское государство. По племенному и культурному своему составу это Литовско-Русское княжество являлось больше русским, чем литовским государством. Русский язык и русское право, русские нравы вместе с православием уже около ста лет распространялись среди полудикой языческой Литвы. Культурное сближение соединенных народностей под преобладающим воздействием более развитой из них русской шло так успешно, что еще два—три поколения и к началу XVI в. можно было ожидать полного слияния Литвы с Западной Русью. Со времени соединения Литвы с Польшей русское влияние в Литовском княжестве начало вытесняться польским, которое проникало туда различными путями. Одним из них служили сеймы, на которых решались общие дела обоих союзных государств: литовско-русские вельможи, встречаясь здесь с польскими панами, знакомились с их политическими понятиями и с порядками, господствовавшими в Польше. С другой стороны, польское влияние проводилось в Литву-Русь жалованными грамотами великих князей литовских, которые назывались *привилеями*, и устанавливали в Литве такой же порядок управления, такие же права и отношения сословий, какие господство-

вали в Польше. Проникая этими путями, польское влияние глубоко изменило как устройство управления, так и склад общества в русских областях, вошедших в состав Литовского княжества.

Управление.

Русские князья, владевшие этими областями на древнем родовом праве подобно своим предкам XI и XII вв., подчиняясь власти вел. князя литовского, обязывались служить ему верно и платить дань со своих владений, а он им жаловал их княжения в вотчину на наследственном праве или иногда во временное владение, до «своей господарской воли». Этим разрушено было старинное родовое владение князей. К началу XVI в. они стали служилыми вотчинниками, полными собственниками своих княжеств и вместе со знатнейшими русскими боярами и литовскими вельможами образовали землевладельческую аристократию, подобную польской и даже более влиятельную. Члены этой аристократии, *паны*, составили правительственный совет или *раду* вел. князя литовского, которая сильно ограничивала его власть. По привилею вел. кн. Александра 1492 г. литовский государь не мог без согласия панов-рады вести сношения с иноземными государствами, издавать и изменять законы, распоряжаться государственными доходами и расходами, назначать на должности; мнения рады король признавал для себя обязательными и даже в случае своего несогласия с ними принимал их к исполнению «ради своей и общей пользы». Вместе с тем в Литве введены были по примеру Польши высшие правительственные должности, *уряды*, становившиеся со временем пожизненными владениями,—*гетмана*, главного предводителя войск, *канцлера*, хранителя государственной печати, двух *подскарбиев*, министров финансов, *земского*, ведавшего общегосударственные доходы и расходы, и *надворного*, по дворцовому хозяйству;

начальниками отдельных областей, которыми прежде управляли русские князья по соглашению с вечевыми городами, назначались *воеводы*, от которых зависели *каштеляны*, коменданты городов, помощники воевод, и *старосты поветов*, округов, на которые делились воеводства. Так центральное и областное управление Литвы-Руси приблизилось к польскому и получило аристократический строй.

Русско-литовское и польское дворянство.

Привилеями как общими или земскими, данными всему княжеству, так и местными или областными, в Литовской Руси устанавливались сословные права и отношения, подобные тем, какие существовали в Польше. На Городельском сейме 1413 г., подтвердившем соединение Литвы с Польшей, издан был привилей, по которому литовские бояре, принявшие католицизм, получили права и привилегии польской шляхты; привилей Казимира 1447 г. распространил эти права и на православную знать. По этим привилеям литовско-русские землевладельцы уравнивались с польскими в правах владения вотчинами и жалованными имениями и освобождались от налогов и повинностей за исключением некоторых маловажных, имевших не столько финансовое, сколько символическое значение, как знак подданства; крестьяне господские изъяты были от суда великокняжеских урядников и подчинены юрисдикции своих господ; сверх того привилей Казимира воспретил переход крестьян с земель частных владельцев на великокняжеские и обратно; эти постановления положили начало закрепощению крестьян в Литовском княжестве по примеру Польши, где крепостное право установлено было еще в XIV в. Общие и местные привилеи постепенно сравняли литовско-русское дворянство в правах и вольностях с польской шляхтой и сообщили ему значение господствующего сословия в княжестве с обширной властью над крестьян-

ским населением, жившим на его землях, и с влиятельным участием в законодательстве, суде и управлении. Такое положение литовско-русской шляхты закреплено было в XVI в. законодательным сводом Литовского княжества, *Литовским Статутом.* Начало этому своду положено было при Сигизмунде I изданием Статута 1529 г. После этот первый свод неоднократно пересматривали и дополняли, соглашая его с польским законодательством, вследствие чего на этом уложении отразилось сильное влияние польского права, смешавшегося в Статуте с древнерусскими юридическими обычаями, какие сохранились в Литовской Руси и от времен Русской Правды. В окончательной редакции Литовский Статут был издан на русском языке при Сигизмунде III в 1588 г. По второму Статуту, утвержденному на Виленском сейме в 1566 г., в Литовском княжестве вводились подобные польским поветовые шляхетские сеймики, которые собирались в каждом повете (уезде) для выбора местных земских судей в сословный шляхетский суд, а также для избрания *земских послов*, т.-е. представителей шляхты на общем или *вальном* сейме, по два от каждого повета. Литовский сейм, установленный Городельским договором, первоначально состоял только из литовских князей и бояр. Привилегированное положение, в какое этот договор ставил литовскую знать, большею частью окатоличившуюся, перед русской православной, побудило присоединенные к Литве русские области подняться против литовского правительства, когда по смерти Витовта (1430 г.) произошла новая усобица между Гедиминовичами. В этой борьбе русские князья и бояре завоевали себе права литовских вельмож и около половины XV в. получили доступ на сейм, который стал общим или вальным, как его теперь называли. Но сейм и после того сохранял аристо-

кратический характер: от русских областей на нем являлась только знать, князья и паны, которые призывались все лично и имели решающий голос. В первой половине XVI в., при Сигизмунде I, русско-литовская шляхта ведет шумную борьбу со своей властью и добивается призыва на вальные сеймы. Статут 1566 г. устроил сеймовое представительство русско-литовской шляхты по образцу польского шляхетского сейма; в вопросе о продолжении литовско-польской унии она была за вечное соединение с Польшей: слияние русско-литовского сейма с польским по люблинским постановлениям 1569 г. вполне уравнивало ее в политических правах с польской шляхтой.

Города.

Усиление дворянства в Литовском княжестве сопровождалось упадком старинных городов Западной Руси. В старой Киевской Руси области со своими волостными городами составляли цельные земли, которые подчинялись решениям веча старших городов. Теперь со введением господарских урядов областной город оторвался от своей области; место веча заступил назначаемый великим князем воевода с подручными ему старостами, кастелянами и другими державцами; земско-городовое управление заменено было коронным. В то же время подгородные земли, находившиеся в общинном пользовании городов, розданы были великими князьями в частное владение с обязательством ратной службы. Служилые землевладельцы, бояре и *земяне*, прежде входившие в состав городских обществ, теперь шляхетскими своими привилегиями обособились от *мещан (место* по польски город, посад), торгово-промышленного городского населения, и начали покидать города, селясь в своих вотчинах и *выслугах*, жалованных имениях. Старинные области вечевых русских городов постепенно разлагались на княжеские и панские вотчины, и обессиленный вечевой

город оставался одинок среди этих чуждых и часто враждебных ему владельцев, расхитивших его исконную волость; голос его веча замыкался в его стенах, не доходя до его пригородов. Великокняжеские урядники, воеводы, кастеляны и старосты притесняли горожан. Чтобы вывести города Западной Руси из упадка, польско-литовские государи давали им немецкое городовое самоуправление, *магдебургское право*, которое в XIII и XIV вв. проникло в Польшу вместе с немецкими колонистами, наводнившими тогда польские города. Еще в XIV в. это самоуправление введено было в городах Галицкой земли, которая присоединена была к Польше королем Казимиром Великим в 1340 г.; с половины XV в. магдебургское право распространилось и в других городах Западной Руси. По этому праву мещане получали некоторые торговые привилегии и льготы по отправлению казенных повинностей и освобождались от подсудности воеводам и другим правительственным урядникам. По магдебургскому праву город управлялся двумя советами или коллегиями, *лавой*, члены которой (*лавники*—присяжные) под председательством назначаемого королем *войта* (немецкое Vogt) производили суд над горожанами, и *радой* с выбранными из горожан *радцами* (ратманами) и *бурмистрами* во главе их, которые заведывали делами по хозяйству, торговле, благоустройству и благочинию города.

Люблинская уния.

Политическое влияние Польши на Литву, сближая литовско-русский государственный строй с польским, в XV и первой половине XVI в. кое-как поддерживало многократно обновлявшийся новыми договорами династический союз обоих государств, то имевших отдельных государей, то соединявшихся под властью одного. В XVI в. сложилось новое сочетание обстоятельств, закрепившее польско-литовскую

унию и сообщившее более единства соединенным государствам; это сочетание сопровождалось чрезвычайно важными следствиями для всей восточной Европы и особенно для юго-западной Руси. Я разумею великий церковный раскол в западной Европе XVI в., т.-е. церковную реформацию. Казалось бы, какое было дело восточной Европе до какого-то немецкого доктора Мартина Лютера, который в 1517 г. затеял какой-то спор об истинном источнике вероучения, о спасении верою и о других богословских предметах! Тем не менее этот церковный переворот на Западе не прошел бесследно и для восточной Европы: он не коснулся ее своими прямыми нравственно-религиозными следствиями, но задел ее по отражению или как отдаленный отзвук. Известные вольнодумные движения в русском церковном обществе XVI в. имели довольно тесную связь с реформацией и поддерживались идеями, шедшими с протестантского Запада. Но я не решаюсь сказать, где реформация сильнее подействовала на международные отношения, на Западе или у нас на Востоке. С этой стороны она является немаловажным фактом и в истории Русского государства. Вообще, я с большой оговоркой принимаю мысль, будто древняя Русь жила полным особняком от западной Европы, игнорируя ее и игнорируемая ею, не оказывала на нее и не воспринимала от нее никакого влияния. Западная Европа знала древнюю Россию не лучше, чем новую. Но как и теперь, три—четыре века назад Россия, если и не понимала хода дела на Западе, как должно, то его следствия испытывала на себе иногда сильнее, чем было нужно. Так случилось и в XVI в. Чтобы упрочить династическую связь Литвы и Польши, польское правительство с духовенством во главе предприняло усиленную пропаганду католицизма среди православной Литовской Руси. Эта пропаганда особенно была напряжена

при третьем Ягеллоне Казимире около половины XV в. и тотчас вызвала сильный отпор со стороны православного населения Литвы. Благодаря тому уже в конце XV в. началось распадение литовского княжества: православные русские и даже литовские князья начали отходить от Литвы на службу к московскому великому князю. Реформация круто изменила отношения. Протестантские учения нашли в Польше восприимчивую почву, подготовленную тесными культурными связями с Германией. Много польской молодежи училось в Виттенбергском и других немецких университетах. Три года спустя после спора в Виттенберге, в 1520 г. съехалось в Петрокове польское духовенство и запретило полякам читать немецкие протестантские сочинения: так быстро и успешно они здесь распространялись. Поддерживая духовенство, и польское правительство на Торунском съезде того же тода издало постановление, грозившее конфискацией имущества и вечным изгнанием всякому, кто будет ввозить, продавать и распространять в Польше сочинения Лютера и других протестантов. Эти строгие запрещения все усиливались: через несколько лет угроза конфискацией была заменена угрозой смертной казнью. Но все это не помогало. Протестантизм овладел польским обществом; даже киевский бискуп Пац открыто проповедывал лютеранский образ мыслей. Из Польши и других соседних стран протестантизм проникал и в Литву. Около половины XVI в. здесь в 700 католических приходах уцелела едва тысячная доля католиков; остальные прихожане перешли в протестантство. Прусский Тевтонский орден в 1525 г. отпал от Римской церкви вместе со своим магистром Альбертом, который принял титул герцога. В этом ордене стали появляться переводы протестантских сочинений на литовский язык. Главным распространителем про-

тестантизма в Литве был учившийся в северной Германии и получивший там степень доктора литвин Авраам Кульва, который потом нашел себе преемника в немецком священнике Винклере. Оба эти проповедника распространяли лютеранство. Еще успешнее прививался там кальвинизм, поддерживаемый влиятельным литовским магнатом Николаем Радзивиллом Черным, двоюродным братом королевы Варвары, сначала тайной, а потом явной жены короля Сигизмунда-Августа. В начале второй половины XVI в. огромное большинство католического дворянства уже перешло в протестантизм, увлекши за собою и некоторую часть литовско-русской православной знати, Вишневецких, Ходкевичей и др. Эти успехи протестантизма и подготовили Люблинскую унию 1569 г. Протестантское влияние ослабило энергию католической пропаганды среди Литовской Руси. Последние Ягеллоны на польском престоле Сигизмунд I и Сигизмунд II Август (1506—1572) были равнодушны к религиозной борьбе, завязавшейся в их соединенном государстве. Сигизмунд-Август, мягкий и праздный гуляка, воспитанный среди новых веяний, под рукой, насколько ему позволяло государственное его положение, даже покровительствовал новым учениям, сам выдавал для чтения протестантские книги из своей библиотеки, в придворной церкви допускал проповеди в протестантском духе; ему было все равно при выезде из дворца, в праздник, куда ехать, в костел или в кирку. Покровительствуя протестантам, он благоволил и к православным: постановление Городельского сейма, запрещавшее православным занимать государственные и общественные должности, он в 1563 г. разъяснил так, что разъяснение было равнозначительно отмене. С ослаблением католической пропаганды, которую поддерживали прежние короли, православное население Литвы

перестало относиться боязливо или враждебно к польскому правительству. Этот поворот в народном настроении и сделал возможным продолжение политической унии Литвы с Польшей. Сигизмунд-Август приближался к смерти бездетным; с ним гасла династия Ягеллонов, и следовательно сам собою прекращался династический союз обоих государств. Пока католическая пропаганда, покровительствуемая польским правительством, действовала в Литве очень напряженно, православное литовско-русское население не хотело и думать о продлении союза. Поднимался тревожный вопрос о дальнейших отношениях Литвы к Польше. Но благодаря веротерпимости или благожелательному индифферентизму Сигизмунда-Августа, православные перестали пугаться этой мысли. Противодействия продлению унии можно было ожидать только от литовских вельмож, которые боялись, что их задавит польская шляхта, рядовое дворянство, а литовско-русское дворянство именно потому и желало вечного союза с Польшей. В январе 1569 г. собрался в Люблине сейм для решения вопроса о продлении унии. Когда обнаружилось противодействие этому со стороны литовской знати, король привлек на свою сторону двух влиятельнейших магнатов юго-западной Руси: то были Рюрикович кн. Константин Острожский, воевода киевский, и Гедиминович кн. Александр Чарторыйский, воевода волынский. Оба эти вельможи были вождями православного русско-литовского дворянства и могли наделать королю много хлопот. Князь Острожский был могущественный удельный владелец, хотя и признавал себя подданным короля; во всяком случае он был богаче и влиятельнее последнего, располагал обширными владениями, захватывавшими чуть не всю нынешнюю волынскую губернию и значительные части губерний Подольской и Киевской. Здесь у него было 35 городов и более 700 сел.

с которых он получал дохода до 10 миллионов злотых (более 10 мил. руб. на наши деньги). Эти два магната и увлекли за собой юго-западное русское дворянство, и без того тяготевшее к шляхетской Польше, а за ним последовало и литовское, что и решило вопрос об унии. На Люблинском сейме политический союз обоих государств был признан навсегда неразрывным и по пресечении династии Ягеллонов. Вместе с тем соединенное государство получило окончательное устройство. Польша и Литва соединялись, как две равноправные половины единого государства, называвшиеся первая *Короной*, вторая *Княжеством*, а обе вместе получили название *Речи Посполитой* (перевод лат. respublica). Это была республикански устроенная избирательная монархия. Во главе управления становился король, избираемый общим сеймом Короны и Княжества. Законодательная власть принадлежала сейму, составлявшемуся из *земских послов*, т.е. депутатов шляхты, только шляхты, и сенату, состоявшему из высших светских и духовных сановников обеих частей государства. Но при общем верховном правительстве, органами которого были сейм, сенат и король, обе союзные части Речи Посполитой сохраняли отдельную администрацию, имели особых министров, особое войско и особые законы. Для истории юго-западной Руси всего важнее были те постановления Люблинского сейма, по которым некоторые области этой Руси, входившие в состав Литовского княжества, отходили к Короне: это были *Подляхия* (западная часть Гродненской губ.), *Волынь* и *Украйна* (губернии Киевская и Полтавская с частью Подольской, именно с Бреславским воеводством, и с частью Черниговской). При таких обстоятельствах состоялась Люблинская уния 1569 г. Она сопровождалась чрезвычайно важными следствиями, политическими и национально-религиозными, для юго-западной Руси всей восточной Европы.

Следствия унии.

Постановления Люблинского сейма были для Западной Руси завершением владычества Гедиминовичей и польского влияния, которое они там проводили. Поляки достигли, чего добивались почти 200 лет, вечного соединения своего государства с Литвой и прямого присоединения к Польше заманчивых по природным богатствам областей юго-западной Руси. Гедиминовичи под польским влиянием разрушили много старины в подвластной им Руси и внесли в ее строй и жизнь не мало нового. Областями Старой Киевской Руси правил княжеский род Рюриковичей со своими дружинами по соглашению со старшими вечевыми городами областей, имея при слабом развитии частного землевладения непрочные социальные и экономические связи с областными мирами. При Гедиминовичах этот зыбкий правительственный класс сменила оседлая аристократия крупных землевладельцев, в состав которой вошли русские и литовские князья с их боярами, а над этой аристократией с упрочением сеймовых порядков стал брать верх военный класс мелких землевладельцев, рядовое дворянство, шляхта. Старинные области или земли Киевской Руси, тянувшие к своим старшим городам, как к политическим центрам, в Литовской Руси разбились на административные округа великокняжеских урядников, объединявшиеся не местными средоточиями, а общим государственным центром. Наконец, сами старшие города областей, чрез свои веча представлявшие свои областные миры перед князьями, оторваны были от этих миров великокняжеской администрацией и частным землевладением, а замена вечевого строя магдебургским правом превратила их в узко-сословные мещанские общества, заключенные в тесную черту городской оседлости, и лишили земского значения, участия в политической жизни страны. Господство шляхты, пожизненные, а по местам и наследственные уряды и магдебургское

право—таковы три новости, принесенные в Литовскую Русь польским влиянием. Люблинская уния своими следствиями сообщила усиленное действие и четвертой новости, раньше подготовлявшейся польским влиянием, крепостному праву. С половины XVI в. заметно заселяется долго пустевшее среднее Поднепровье. Тамошние привольные степи сами собою манили к себе поселенцев; успехи крепостного права в Литве поддерживали и усиливали этот переселенский поток. К началу XVI в. здесь образовалось несколько разрядов сельского земледельческого населения, различавшихся степенью зависимости от владельцев, начиная перехожими крестьянами, *засядлыми и незасядлыми*, селившимися со ссудой от владельца или без ссуды и сохранявшими право перехода, и кончая *челядью невольной*, крепостными дворовыми хлебопашцами. В эпоху первого и второго Статута (1529—1566 гг.), по мере политического роста шляхты, эти разряды все более уравнивались в направлении к наименьшей свободе. Уния 1569 г. ускорила движение в эту сторону. При избирательных королях Речи Посполитой законодательство, как и направление всей политической жизни страны, стало под непосредственное влияние польско-литовской шляхты, господствующего класса в государстве. Она не преминула воспользоваться своим политическим преобладанием на счет подвластного ей сельского населения. С присоединением русских областей по обеим сторонам среднего Днепра к Короне здесь стала водворяться польская администрация, вытесняя туземную русскую, а под ее покровом сюда двинулась польская шляхта, приобретая здесь земли и принося с собою польское крепостное право, получившее уже резкие очертания. Туземное литовско-русское дворянство охотно перенимало землевладельческие понятия и привычки своих новых соседей из Привислинья

Заселение степной Украйны.

и Западного Побужья. Если в интересах казны закон и правительство еще кое-как присматривали за поземельными тягловыми отношениями крестьян к землевладельцам, то личность крестьянина вполне предоставлялась усмотрению его пана-рыцаря. Шляхта присвояла себе право жизни и смерти над своими крестьянами: убить хлопа для шляхтича было все равно, что убить собаку—так говорят современные польские писатели. Убегая от неволи, которая крепкой петлей затягивалась на крестьянине, сельское население усиленно отливало из внутренних областей Короны и Княжества к безбрежным степям Украйны, спускаясь все ниже по Днепру и Восточному Бугу, куда еще не успел пробраться шляхтич. Вскоре этим движением стала пользоваться землевладельческая спекуляция, сообщая ему новую силу. Паны и шляхта выпрашивали в пожизненное владение староства в пограничных украинских городах, в Браславе, Каневе, Черкасах, Переяславе с обширными подгородными пустырями, выхлопатывали и просто захватывали никем не меренные степные шири и спешили заселять их, приманивая щедрыми льготами беглых мещан и крестьян. Украинскими степями тогда распоряжались, как в недавнее время башкирскими землями или угодьями по восточному побережью Черного моря. Самые знатные и высокопоставленные люди, князья Острожские и Вишневецкие, паны Потоцкие, Замойские и т. д., без конца не стыдились ревностно участвовать в расхищении казенных пустынь по Днепру и его степным притокам справа и слева. Но тогдашние земельные спекулянты действовали все же добросовестнее своих поздних уральских и кавказских подражателей. Благодаря им степная Украйна быстро оживала. В короткое время здесь возникли десятками новые местечки, сотнями и тысячами хутора и селения.

Одновременно с заселением шло укрепление степей, без которого оно было невозможно. Впереди цепи старых городов, Браслава, Корсуня, Канева, Переяслава, выстраивались ряды новых замков, под прикрытием которых возникали местечки и села. Эти поселения среди постоянной борьбы с татарами складывались в военные общества, напоминавшие те «заставы богатырские», какими еще в X—XI вв. огораживались степные границы Киевской Руси. Из этих обществ и образовалось малороссийское казачество.

Происхождение казачества

Казачество составляло слой русского общества, некогда распространенный по всей Руси. Еще в XIV в. *казаками* звали наемных рабочих, батрачивших по крестьянским дворам, людей без определенных занятий и постоянного местожительства. Таково было первоначальное общее значение казака. Позднее этому бродячему бездомному классу в Московской Руси усвоено было звание *вольных гулящих людей* или *вольницы*. Особенно благоприятную почву для развития нашел этот люд в южных краях Руси, смежных со степью, условия которой сообщили ему особый характер. Когда стала забываться гроза татарского погрома, завязалась хроническая мелкая борьба русского степного пограничья с бродившими по степям татарами. Исходными и опорными пунктами этой борьбы служили укрепленные пограничные города. Здесь сложился класс людей, с оружием в руках ходивших в степь для рыбного и звериного промысла. Люди отважные и бедные, эти вооруженные рыболовы и зверогоны, надобно думать, получали средства для своих опасных промыслов от местных торговцев, которым и сбывали свою добычу. В таком случае они и здесь не теряли характера батраков, работавших за счет своих хозяев. Как привычных к степной борьбе ратников их могли поддерживать и местные княжеские правительства. Этим

людям при постоянных столкновениях с такими же татарскими степными добычниками и усвоено было татарское название *казаков*, потом распространившееся на вольных бездомных батраков и в северной Руси. В восточной полосе степного юга такие столкновения начались раньше, чем где-либо. Вот почему, думаю я, древнейшее известие о казачестве говорит о казаках рязанских, оказавших своему городу услугу в столкновении с татарами в 1444 г. В Московской Руси еще в XVI и XVII вв. повторялись явления, которые могли возникнуть только при зарождении казачества. В десетнях степных уездов XVI в. встречаем заметки о том или другом захудалом уездном сыне боярском: «сбрел в степь, сшел в козаки». Это не значит, что он зачислился в какое-либо постоянное казацкое общество, например, на Дону: он просто нашел случайных товарищей и с ними, бросив службу и поместье, ушел в степь погулять на воле, заняться временно вольными степными промыслами, особенно над татарами, а потом вернуться на родину и там где-нибудь пристроиться. Елецкая десятня 1622 г. отмечает целую партию елецких помещиков, бросивших свои вотчины и ушедших в казаки, а потом порядившихся в боярские дворы холопами и в монастыри служками. Первоначальной родиной казачества можно признать линию пограничных со степью русских городов, шедшую от средней Волги на Рязань и Тулу, потом переламывавшуюся круто на юг и упиравшуюся в Днепр по черте Путивля и Переяслава. Вскоре казачество сделало еще шаг в своем наступлении на степь. То было время ослабления татар, разделения орды. Городовые казаки и прежде всего, вероятно, рязанские, стали оседать военно-промысловыми артелями в открытой степи, в области верхнего Дона. Донских казаков едва ли не следует считать первообразом

степного казачества. По крайней мере, во второй половине XVI в., когда казачество запорожское только еще начинало устрояться в военное общество, донское является уже устроенным. В состав его входили и крещеные татары. Сохранилась челобитная такого новокрещена из крымских татар. В 1589 г. он выехал из Крыма на Дон и служил там государю московскому 15 лет, «крымских людей громливал и на крымских людей и на улусы на крымские воевать с казаками донскими хаживал, а с Дону в Путивль пришел». Он просит государя освободить его двор в Путивле от налогов и повинностей, «обелить» и велеть ему служить царскую службу вместе с белодворцами.

Малороссийское казачество.

Известия о казаках днепровских идут позднее рязанских, с конца XV в. Их происхождение и первоначальное общественное обличье было так же просто, как и в других местах. Из городов Киевского, Волынского и Подольского края, даже с верховьев Днепра, выходили партии добычников в дикую степень «козаковать», промышлять пчелой, рыбой, зверем и татарином. Весной и летом эти прихожие казаки работали на «уходах», промысловых угодьях по Днепру и его степным притокам, а на зиму стягивались со своей добычей в приднепровские города и здесь осаживались, особенно в Каневе и Черкасах, ставших ранними и главными притонами казачества. Иные из этих казаков, как и в северной Руси, нанимались в батраки к мещанам и землевладельцам. Но местные географические и политические условия осложнили судьбы украинского казачества. Оно попало в самый водоворот международных столкновений Руси, Литвы, Польши, Турции и Крыма. Роль, какую пришлось играть днепровскому казачеству в этих столкновениях, и сообщила ему историческое значение. Я только что сказал об усилении колонизации Поднепровья, пополнявшей здеш-

нее казаковавшее население. Это был люд, нужный для края и всего государства, но беспокойный, создававший много затруднений польскому правительству. Привычные к борьбе степные промышленники доставляли лучшую оборону стране от татарских набегов. Но это было обоюдоострое оружие. Одним из степных отхожих промыслов, даже главным промыслом казаков, были их ответные набеги на татарские и турецкие земли. Нападали и с суши, и с моря: в начале XVII в. легкие казацкие челны громили татарские и турецкие города по северным, западным и даже южным берегам Черного моря, проникали и в Босфор к Константинополю. В отместку турки грозили Польше войной, которой поляки пуще всего боялись. Еще в начале XVI в. составился в Варшаве план, как сделать казачество безвредным, не мешая ему быть полезным. План состоял в том, чтобы из беспорядочной и все разраставшейся массы казакующих выделить наиболее благонадежную часть и взять ее на государственную службу с жалованьем и с обязанностью оборонять Украйну, а остальных поворотить в прежний род жизни. Впрочем, есть известие о казацких ротах, навербованных для пограничной сторожевой службы уже в самом начале XVI в. Вероятно, это был один из временных опытов образования пограничной стражи из степных вооруженных добычников. Только в 1570 г. составили постоянный отряд в 300 человек штатных или списочных, *реестровых* казаков, как они после назывались. При Стефане Батории штат был увеличен до 500, потом постепенно поднимался и, наконец, в 1625 г. доведен до 6 тысяч. Но рост казацкого штата нисколько не убавлял заштатного казачества. Этих нелегальных казаков, в большинстве из крестьян, местные правители и паны старались воротить в «поспольство», крестьянство к покинутым их повинностям;

но люди, уже отведавшие казацкой воли, упирались и считали себя в праве не слушаться, ибо то же правительство, которое загоняло их, как мужиков, под панское ярмо, во время войн обращалось к ним же за помощью и призывало их под знамена не в списочном числе, а десятками тысяч. Такой двуличный образ действий правительства поселял в заштатных озлобление и приготовлял из них взрывчатую массу, легко разгоравшуюся в пожар, как скоро у нее являлся расторопный вожак. Между тем на нижнем Днепре свивалось казацкое гнездо, в котором украинское казацкое недовольство находило себе убежище и питомник, перерабатывавший его в открытые восстания. То было *Запорожье*.

Запорожье.

Оно возникло незаметно из промыслового казакованья, «козацства на поле», в степи. Казаковавшие обыватели пограничных городов Украйны спускались по Днепру далеко на низ, за пороги. Проф. Любавский высказал предположение, что зародышем Запорожской Сечи была крупная казацкая артель, промышлявшая за порогами вблизи татарских кочевий, и следы ее он находит уже в конце XV в. Когда городовые казаки стали подвергаться стеснениям от польского правительства, они убегали в знакомые запорожские места, куда не могли пробраться ни польские комиссары, ни экзекуционные отряды. Там на островах, которые образует Днепр, вырвавшись из порогов в открытую степь и разливаясь широким руслом, беглецы устраивали себе укрепленные *Сечи*. В XVI в. главное поселение запорожцев возникло на ближайшем к порогам острову Хортице. Это и была знаменитая в свое время Запорожская сечь. Позднее она переносилась с Хортицы на другие запорожские острова. Сечь представляла вид укрепленного лагеря, обнесенного древесными завалами, *засекой*. Она снабжена была кое-какой артиллерией, маленькими пушками, забранными

в татарских и турецких укреплениях. Здесь образовалось из бессемейных и разноплеменных пришельцев военнопромышленное товарищество, величавшее себя «рыцарством войска Запорожского». Сечевики жили в шалашах из хвороста, покрытых лошадиными кожами. Они различались занятиями: одни были преимущественно добычники, жили военной добычей, другие больше промышляли рыбой и зверем, снабжая первых продовольствием. Женщины не допускались в Сечь; женатые казаки, *сидни*, *гнездюки*, жили отдельно по зимовникам и сеяли хлеб, снабжая им сечевиков. До конца XVI в. Запорожье оставалось подвижным, изменчивым по составу обществом: на зиму оно расходилось по украинским городам, оставив в Сечи несколько сот человек для охраны артиллерии и прочего сечевого имущества. В спокойное время летом в Сечи бывало налицо до 3 тысяч человек; но она переполнялась, когда украинскому поспольству становилось невтерпеж от татар или ляхов и на Украйне что-либо затевалось. Тогда всякий недовольный, гонимый или в чем-либо попавшийся, бежал за пороги. В Сечи не спрашивали пришельца, кто он и откуда, какой веры, какого рода-племени: принимали всякого, кто казался пригодным товарищем. В конце XVI в. в Запорожье заметны признаки военной организации, хотя еще неустойчивой, установившейся несколько позднее. Военным братством Запорожья, *кошем*, правил избираемый сечевою радой кошевой атаман, который с выборными есаулом, судьей и писарем составлял сечевую старшину, правительство. Кош размещался отрядами, *куренями*, которых было потом 38, под командой выборных куренных атаманов, также причислявшихся к старшине. Запорожцы всего более дорожили товарищеским равенством; все решал сечевой круг, рада, казацкое *коло*. Со старшиной своей это коло

поступало запросто, выбирало и сменяло ее, а неугодивших казнило, сажало в воду, насыпав за пазуху достаточное количество песку. В 1581 г. в Сечь явился знатный пан из Галиции, бесшабашный авантюрист Зборовский, подбивать казаков к набегу на Москву. Скучавшее от безделья и безденежья рыцарство с радостью приняло затею пана и тотчас выбрало его в гетманы. На походе казаки сами приставали к нему, допытываясь, когда, Бог даст, воротятся они из Москвы в добром здоровии, не найдется ли у него еще какого дела, на котором они могли бы хорошо заработать; но когда, отказавшись от Москвы, он предложил им поход в Персию, они едва его не убили, переругавшись между собой. Эта погоня за походным заработком, проще за грабежом и добычей, усиливалась по мере накопления казаковавшего люда к концу XVI в. Этот люд не мог уже продовольствоваться степным, рыбным и звериным промыслом и тысячами шатался по правобережной Украйне, обирая обывателей. Местные власти не могли никуда сбыть этих безработных казаков, да и сами они не знали, куда деваться, и охотно шли за первым вожаком, звавшим их в Крым или Молдавию. Из таких казаков и составлялись шайки, набросившиеся на московское государство, когда там началась смута. Набеги на соседние страны назывались тогда на Украйне «казацким хлебом». Ни до чего другого, кроме добычи, казакам не было дела, и на речи Зборовского о преданности королю и отчизне они отвечали простонародной поговоркой: *пока жыта, поты быта*— до той поры живется, пока есть чем кормиться. Но казаки не все пробавлялись чужбиной, крымской, молдавской или москальской: уже в XVI в. очередь дошла и до отчизны. Неистощимо комплектуясь из накоплявшейся массы, Запорожье сделалось очагом, на котором заваривались казацкие восстания против самой Речи Посполитой.

Итак, Люблинская уния принесла в юго-западную Русь три тесно связанные между собою следствия: крепостное право, усиление крестьянской колонизации Украины и превращение Запорожья в инсуррекционное убежище для порабощенного русского населения.

Лекция XLVI.

Нравственный характер малороссийского казачества.—Казаки становятся за веру и народность.—Рознь в казачестве.—Малороссийский вопрос. — Вопросы балтийский и восточный. — Европейские отношения Московского государства.—Значение внешней политики Москвы в XVII в.

Нравственный характер казачества.

Мы проследили в общих чертах историю малороссийского казачества в связи с судьбами Литовской Руси до начала XVII в., когда в его положении произошел важный перелом. Мы видели, как изменялся характер казачества: ватаги степных промышленников выделяли из своей среды боевые дружины, жившие набегами на соседние страны, а из этих дружин правительство вербовало пограничную стражу. Все эти разряды казаков одинаково смотрели в степь, искали там поживы и этими поисками в большей или меньшей степени способствовали обороне постоянно угрожаемой юго-восточной окраины государства. С Люблинской унии малороссийское казачество поворачивается лицом назад, на то государство, которое оно доселе обороняло. Международное положение Малороссии деморализировало эту сбродную и бродячую массу, мешало зародиться в ней гражданскому чувству. На соседние страны, на Крым, Турцию, Молдавию, даже на Москву казаки привыкли смотреть, как на предмет добычи, как на «ко-

зацкий хлеб». Этот взгляд они стали переносить и на свое государство с тех пор, как на юго-восточной его окрайне начало водворяться панское и шляхетское землевладение со своим крепостным правом. Тогда они увидели в своем государстве врага еще злее Крыма или Турции, и с конца XVI в. начали опрокидываться на него с удвоенной яростью. Так малороссийское казачество осталось без отечества и, значит, без веры. Тогда весь нравственный мир восточноевропейского человека держался на этих двух неразрывно связанных одна с другой основах, на отечестве и на отечественном боге. Речь Посполитая не давала казаку ни того, ни другого. Мысль, что он православный, была для казака смутным воспоминанием детства или отвлеченной идеей, ни к чему не обязывавшей и ни на что непригодной в казачьей жизни. Во время войн они обращались с русскими и с их храмами нисколько не лучше, чем с татарами, и хуже, чем татары. Православный русский пан Адам Кисель, правительственный комиссар у казаков, хорошо их знавший, в 1636 г. писал про них, что они очень любят религию греческую и ее духовенство, хотя в религиозном отношении более похожи на татар, чем на христиан. Казак оставался без всякого нравственного содержания. В Речи Посполитой едва ли был другой класс, стоявший на более низком уровне нравственного гражданского развития: разве только высшая иерархия малороссийской Церкви перед церковной унией могла потягаться с казачеством в одичании. В своей Украйне при крайне тугом мышлении оно еще не привыкло видеть отечество. Этому мешал и чрезвычайно сбродный состав казачества. В пятисотенный списочный, реестровый отряд казаков, навербованный при Стефане Батории, вошли люди из 74 городов и уездов западной Руси и Литвы, даже таких отда-

ленных, как Вильна, Полоцк, потом—из 7 польских городов, Познани, Кракова и др., кроме того, москали из Рязани и откуда-то с Волги, молдаване и вдобавок ко всему по одному сербу, немцу и татарину из Крыма с некрещеным именем. Что могло объединять этот сброд? На шее у него сидел пан, а на боку висела сабля: бить и грабить пана и торговать саблей—в этих двух интересах замкнулось все политическое миросозерцание казака, вся социальная наука, какую преподавала Сечь, казацкая академия, высшая школа доблести для всякого доброго казака и притон бунтов, как его называли поляки. Свои боевые услуги казаки предлагали за надлежащее вознаграждение и императору германскому против турок, и своему польскому правительству против Москвы и Крыма, и Москве и Крыму против своего польского правительства. Ранние казацкие восстания против Речи Посполитой носили чисто социальный, демократический характер без всякого религиозно-национального оттенка. Они, конечно, зачинались на Запорожьи. Но в первом из них даже вождь был чужой, из враждебной казакам среды, изменивший своему отечеству и сословию, замотавшийся шляхтич из Подляхии Крыштов Косинский. Он пристроился к Запорожью, с отрядом запорожцев нанялся на королевскую службу и в 1591 г. только из-за того, что наемникам во-время не уплатили жалованья, набрал запорожцев и всякого казацкого сброда и принялся разорять и жечь украинские города, местечки, усадьбы шляхты и панов, особенно богатейших на Украине землевладельцев, князей Острожских. Князь К. Острожский побил его, взял в плен, простил с его запорожскими товарищами и заставил их присягнуть на обязательстве смирно сидеть у себя за порогами. Но месяца через два Косинский поднял новое восстание, при-

сягнул на подданство московскому царю, хвалился с турецкой и татарской помощью перевернуть вверх дном всю Украйну, перерезать всю тамошнюю шляхту, осадил город Черкасы, задумав вырезать всех его обывателей со старостой города, тем самым кн. Вишневецким, который выпросил ему пощаду у кн. Острожского, и наконец сложил голову в бою с этим старостой. Его дело продолжали Лобода и Наливайко, которые до 1595 г. разоряли правобережную Украйну. И вот этой продажной сабле без Бога и отечества обязательства навязали религиозно-национальное знамя, судили высокую роль стать оплотом западнорусского православия.

Казаки за веру и народность.

Эта неожиданная роль была подготовлена казачеству другой унией, церковной, совершившейся 27 лет спустя после политической. Напомню мимоходом главные обстоятельства, которые привели к этому событию. Католическая пропаганда, возобновившаяся с появлением в Литве иезуитов в 1569 г., скоро сломила здесь протестантизм и набросилась на православие. Она встретила сильный отпор сначала в православных магнатах с князем К. Острожским во главе, а потом в городском населении, в братствах. Но среди высшей православной иерархии, деморализованной, презираемой своими и притесняемой католиками, возникла старая мысль о соединении с римской Церковью, и на Брестском соборе 1596 г. русское церковное общество распалось на две враждебные части, православную и униатскую. Православное общество перестало быть законной Церковью, признанной государством. Рядовому православному духовенству со смертью двух епископов, не принявших унии, предстояло остаться без архиереев; русское мещанство теряло политическую опору с начавшимся повальным переходом православной знати в унию и католи-

чество. Оставалась единственная сила, за которую могли ухватиться духовенство и мещанство, казачество со своим резервом, русским крестьянством. Интересы этих четырех классов были разные; но это различие забывалось при встрече с общим врагом. Церковная уния не объединила этих классов, но дала новый стимул их совместной борьбе и помогла им лучше понимать друг друга; и казаку, и хлопу легко было растолковать, что церковная уния—это союз ляшского короля, пана, ксендза и их общего агента жида против русского бога, которого обязан защищать всякий русский. Сказать загнанному хлопу или своевольному казаку, помышлявшим о погроме пана, на земле которого они жили, что они этим погромом поборают по обижаемом русском боге, значило облегчить и ободрить их совесть, придавленную шевелившимся где-то на дне ее чувством, что как никак, а погром не есть доброе дело. Первые казацкие восстания в конце XVI в., как мы видели, еще не имели того религиозно-национального характера. Но с начала XVII в. казачество постепенно втягивается в православно-церковную оппозицию. Казацкий гетман Сагайдачный со всем войском Запорожским вписался в киевское православное братство, в 1620 г. через иерусалимского патриарха самовольно, без разрешения своего правительства, восстановил высшую православную иерархию, которая и действовала под казацкой защитой. В 1625 г. глава этой новопоставленной иерархии, митрополит киевский, сам призвал на защиту православных киевлян запорожских казаков, которые и утопили киевского войта за притеснение православных.

Розпь в казачестве.

Так казачество получило знамя, лицевая сторона которого призывала к борьбе за веру и за народ русский, а оборотная—к истреблению или изгнанию панов и шляхты из

Украйны. Но это знамя не объединяло всего казачества. Еще в XVI в. среди него началось экономическое раздвоение. Казаки, ютившиеся по пограничным городам и жившие отхожими промыслами в степи, потом начали оседать на промысловых угодьях, заводить хутора и пашни. В начале XVII в. иные пограничные округа, как Каневский, были уже наполнены казацкими хуторами. Заимка, как обыкновенно бывает при заселении пустых земель, становилась основанием землевладения. Из этих оседлых казаков-землевладельцев преимущественно вербовалось реестровое казачество, получавшее от правительства жалованье. С течением времени реестровые разделились на территориальные отряды, *полки* по городам, служившим административными средоточиями округов, где жили казаки. Договор казаков с коронным гетманом Конецпольским в 1625 г. установил реестровое казацкое войско в 6 тыс. человек; оно делилось тогда на шесть полков (Белоцерковский, Корсунский, Каневский, Черкасский, Чигиринский и Переяславский); при Б. Хмельницком полков было уже 16, и в них числилось свыше 230 сотен. Начало этого полкового деления относят ко времени гетмана Сагайдачного († 1622 г.), который является вообще организатором малороссийского казачества. В образе действий этого гетмана и вскрылся внутренний разлад, таившийся в самом складе казачества. Сагайдачный хотел резко отделить реестровых казаков, как привилегированное сословие, от простых посполитых крестьян, переходивших в казаки, и на него жаловались, что при нем поспольству было тяжело. Шляхтич сам по происхождению, он и на казачество переносил свои шляхетские понятия. При таком отношении борьба казачества с украинской шляхтой получала особый характер: ее целью становилось не очищение Украйны от пришлого иноплеменного

дворянства, а замещение его своим туземным привилегированным классом; в реестровом казачестве готовилась будущая казацкая шляхта. Но истинная сила казачества заключалась не в реестровых. Реестр даже в составе 6 тысяч вбирал в себя не более десятой доли того люда, который причислял себя к казачеству и присвоял казацкие права. Это был вообще народ бедный, бездомный, *голота*, как его называли. Значительная часть его проживала в панских и шляхетских вотчинах и в качестве вольных казаков не хотела нести одинаковых с посполитыми крестьянами повинностей. Польские управители и паны не хотели знать вольностей этого народа и старались повернуть вольницу в посполъство. Когда польское правительство нуждалось в боевом содействии казаков, оно допускало в казацкое ополчение всех, реестровых и нереестровых, но по миновании надобности вычеркивало, *выписывало* лишних из реестра, чтобы вернуть их в прежнее состояние. Эти *выпищики*, угрожаемые хлопской неволей, скоплялись в своем убежище Запорожьи и оттуда вели восстания. Так зачинались казацкие мятежи, которые идут с 1624 г. на протяжении 14 лет под предводительством Жмайла, Тараса, Сулимы, Павлюка, Остранина и Гуни. Реестр при этом или расходился на две стороны или весь становился за поляков. Все эти восстания были неудачны для казаков и кончились в 1638 г. потерей важнейших прав казачества. Реестр был обновлен и поставлен под команду польских шляхтичей; место гетмана занял правительственный комиссар; оседлые казаки потеряли свои наследственные земли; нереестровые возвращены в панскую неволю. Вольное казачество было уничтожено. Тогда, по выражению малороссийского летописца, всякую свободу у казаков отняли, тяжкие небывалые подати наложили, церкви и службу церковную жидам запродали.

Малороcский вопрос.

Ляхи и русские, русские и евреи, католики и униаты, униаты и православные, братства и архиереи, шляхта и посполъство, посполъство и казачество, казачество и мещанство, реестровые казаки и вольная голота, городовое казачество и Запорожье, казацкая старшина и казацкая чернь, наконец, казацкий гетман и казацкая старшина—все эти общественные силы, сталкиваясь и путаясь в своих отношениях, попарно враждовали между собой и все эти парные вражды, еще скрытые или уже вскрывшиеся, переплетаясь, затягивали жизнь Малороссии в такой сложный узел, распутать который не мог ни один государственный ум ни в Варшаве, ни в Киеве. Восстание Б. Хмельницкого было попыткой разрубить этот узел казацкой саблей. Трудно сказать, предвидели ли в Москве это восстание и необходимость волей-неволей в него вмешаться. Там не спускали глаз со Смоленской и Северской земли и после неудачной войны 1632—1634 г.г. исподтишка готовились при случае поправить неудачу. Малороссия лежала еще далеко за горизонтом московской политики, да и память о черкасах Лисовского и Сапеги была еще довольно свежа. Правда, из Киева засылали в Москву с заявлениями о готовности служить православному московскому государю, даже с челобитьем к нему взять Малороссию под свою высокую руку, ибо им, православным малороссийским людям, кроме государя деться негде. В Москве осторожно отвечали, что когда от поляков утеснение в вере будет, тогда государь и подумает, как бы веру православную от еретиков избавить. С самого начала восстания Хмельницкого между Москвой и Малороссией установились двусмысленные отношения. Успехи Богдана превзошли его помышления: он вовсе не думал разрывать с Речью Посполитой, хотел только припугнуть зазнавшихся панов, а тут после трех побед почти вся Ма-

лороссия очутилась в его руках. Он сам признавался, что ему удалось сделать то, о чем он и не помышлял. У него начала кружиться голова, особенно за обедом. Ему мерещилось уже Украинское княжество по Вислу с великим князем Богданом во главе; он называл себя «единовладным самодержцем русским», грозил всех ляхов перевернуть вверх ногами, всю шляхту загнать за Вислу и т. д. Он очень досадовал на московского царя за то, что тот не помог ему с самого начала дела, не наступил тотчас на Польшу, и в раздражении говорил московским послам вещи, непригожие и к концу обеда, грозил сломать Москву, добраться и до того, кто на Москве сидит. Простодушная похвальба сменялась униженным, но не простодушным раскаянием. Эта изменчивость настроения происходила не только от темперамента Богдана, но и от чувства лжи своего положения. Он не мог сладить с Польшей одними казацкими силами, а желательная внешняя помощь из Москвы не приходила, и он должен был держаться за крымского хана. После первых побед своих он намекал на свою готовность служить московскому царю, если тот поддержит казаков. Но в Москве медлили, выжидали, как люди, не имеющие своего плана, а чающие его от хода событий. Там не знали, как поступить с мятежным гетманом, принять ли его под свою власть, или только поддерживать из за угла против поляков. Как подданный Хмельницкий был менее удобен, чем как негласный союзник: подданного надобно защищать, а союзника можно покинуть по миновании в нем надобности. Притом открытое заступничество за казаков вовлекало в войну с Польшей и во всю путаницу малороссийских отношений. Но и остаться безучастным к борьбе значило выдать врагам православную Украйну и сделать Богдана своим врагом: он грозил, если

его не поддержат из Москвы, наступать на нее с крымскими татарами, а не то, побившись с ляхами, помириться да вместе с ними поворотиться на царя. Вскоре после Зборовского договора, сознавая неизбежность новой войны с Польшей, Богдан высказал царскому послу желание в случае неудачи перейти со всем войском Запорожским в московские пределы. Только года через полтора, когда Хмельницкий уже проиграл вторую кампанию против Польши и потерял почти все выгоды, завоеванные в первой, в Москве, наконец, признали эту мысль Богдана удобнейшим выходом из затруднения и предложили гетману со всем войском казацким переселиться на пространные и изобильные земли государевы по рекам Донцу, Медведице и другим угожим местам: это переселение не вовлекало в войну с Польшей, не загоняло казаков под власть султана турецкого и давало Москве хорошую пограничную стражу со стороны степи. Но события не следовали благоразумному темпу московской политики. Хмельницкий вынужден был к третьей войне с Польшей при неблагоприятных условиях и усиленно молил московского царя принять его в подданство; иначе ему остается отдаться под давно предлагаемую защиту турецкого султана и хана крымского. Наконец в начале 1653 г. в Москве решили принять Малороссию в подданство и воевать с Польшей. Но и тут проволочили дело еще почти на год, только летом объявили Хмельницкому о своем решении, а осенью собрали земский собор, чтобы обсудить дело по чину, потом еще подождали, пока гетман потерпел новую неудачу под Жванцем, снова выданный своим союзником ханом, и только в январе 1654 г. отобрали присягу от казаков. После капитуляции под Смоленском в 1634 г. 13 лет ждали благоприятного случая, чтобы смыть позор. В 1648 г. поднялись казаки малороссий-

ские. Польша очутилась в отчаянном положении; из Украйны просили Москву помочь, чтобы обойтись без предательских татар, и взять Украйну под свою державу. Москва не трогалась, боясь нарушить мир с Польшей, и 6 лет с неподвижным любопытством наблюдала, как дело Хмельницкого, испорченное татарами под Зборовом и Берестечком, клонилось к упадку, как Малороссия опустошалась союзниками татарами и зверски свирепой усобицей, и наконец, когда страна уже никуда не годилась, ее приняли под свою высокую руку, чтобы превратить правящие украинские классы из польских бунтарей в озлобленных московских подданных. Так могло идти дело только при обоюдном непонимании сторон. Москва хотела прибрать к рукам украинское казачество, хотя бы даже без казацкой территории, а если и с украинскими городами, то непременно под условием, чтобы там сидели московские воеводы с дьяками, а Богдан Хмельницкий рассчитывал стать чем-то в роде герцога Чигиринского, правящего Малороссией под отдаленным сюзеренным надзором государя московского и при содействии казацкой знати, есаулов, полковников и прочей старшины. Не понимая друг друга и не доверяя одна другой, обе стороны во взаимных сношениях говорили не то, что думали, и делали то, чего не желали. Богдан ждал от Москвы открытого разрыва с Польшей и военного удара на нее с востока, чтобы освободить Малороссию и взять ее под свою руку, а московская дипломатия, не разрывая с Польшей, с тонким расчетом поджидала, пока казаки своими победами доканают ляхов и заставят их отступиться от мятежного края, чтобы тогда легально, не нарушая вечного мира с Польшей, присоединить Малую Русь к Великой. Жестокой насмешкой звучал московский ответ Богдану, когда он месяца за два до зборовского дела,

имевшего решить судьбу Польши и Малороссии, низко бил челом царю «благословить рати своей наступить» на общих врагов, а он в Божий час пойдет на них от Украйны, моля Бога, чтобы правдивый и православный государь над Украйной царем и самодержцем был. На это видимо искреннее челобитье из Москвы отвечали: вечного мира с поляками нарушить нельзя, *но если король гетмана и все войско Запорожское освободит, то государь гетмана и все войско пожалует, под свою высокую руку принять велит.* При таком обоюдном непонимании и недоверии обе стороны больно ушиблись об то, чего не доглядели во-время. Отважная казацкая сабля и изворотливый дипломат, Богдан был заурядный политический ум. Основу своей внутренней политики он раз навеселе высказал польским комиссарам: «провинится князь, режь ему шею; провинится казак, и ему тоже—вот будет правда». Он смотрел на свое восстание только как на борьбу казаков со шляхетством, угнетавших их, как последних рабов, по его выражению, и признавался, что он со своими казаками ненавидит шляхту и панов до смерти. Но он не устранил и даже не ослабил той роковой социальной розни, хотя ее и чуял, какая таилась в самой казацкой среде, завелась до него и резко проявилась тотчас после него: это—вражда казацкой старшины с рядовым казачеством, «городовой и запорожской чернью», как тогда называли его на Украйне. Эта вражда вызвала в Малороссии бесконечные смуты и привела к тому, что правобережная Украйна досталась туркам и превратилась в пустыню. И Москва получила по заслугам за свою тонкую и осторожную дипломатию. Там смотрели на присоединение Малороссии с традиционно-политической точки зрения, как на продолжение территориального собирания Русской земли, отторжение обширной русской области

от враждебной Польши к вотчине московских государей, и по завоевании Белоруссии и Литвы в 1655 г. поспешили внести в царский титул «всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца Литовского, Волынского и Подольского». Но там плохо понимали внутренние общественные отношения Украйны, да и мало занимались ими, как делом не важным, и московские бояре недоумевали, почему это посланцы гетмана Выговского с таким презрением отзывались о запорожцах, как о пьяницах и игроках, а между тем все казачество и с самим гетманом зовется *Войском Запорожским*, и с любопытством расспрашивали этих посланцев, где живали прежние гетманы, в Запорожьи или в городах, и из кого их выбирали, и откуда сам Богдан Хмельницкий выбран. Очевидно, московское правительство, присоединив Малороссию, увидело себя в тамошних отношениях, как в темном лесу. Зато малороссийский вопрос, так криво поставленный обеими сторонами, затруднил и испортил внешнюю политику Москвы на несколько десятилетий, завязил ее в невылазные малороссийские дрязги, раздробил ее силы в борьбе с Польшей, заставил ее отказаться и от Литвы, и от Белоруссии с Волынью и Подолией и еле-еле дал возможность удержать левобережную Украйну с Киевом на той стороне Днепра. После этих потерь Москва могла повторить про себя самые слова, какие однажды сказал, заплакав, Б. Хмельницкий в упрек ей за неподание помощи во время: «не того мне хотелось и не так было тому делу быть».

Балтийский вопрос.

Малороссийский вопрос своим прямым или косвенным действием усложнил внешнюю политику Москвы. Царь Алексей, начав войну с Польшей за Малороссию в 1654 г., быстро завоевал всю Белоруссию и значительную часть Литвы, с Вильной, Ковной и Гродной. В то время как

Москва забирала восточные области Речи Посполитой, на нее же напал с севера другой враг, шведский король Карл X, который так же быстро завоевал всю Великую и Малую Польшу с Краковом и Варшавой, выгнал короля Яна Казимира из Польши и провозгласил себя польским королем, наконец, даже хотел отнять Литву у царя Алексея. Так два неприятеля, бившие Польшу с разных сторон, столкнулись и поссорились из-за добычи. Царь Алексей вспомнил старую мысль царя Ивана о балтийском побережьи, о Ливонии, и борьба с Польшей прервалась в 1656 г. войной со Швецией. Так опять стал на очередь забытый вопрос о распространении территории Московского государства до естественного ее рубежа, до балтийского берега. Вопрос ни на шаг не подвинулся к решению: Риги взять не удалось, и скоро царь прекратил военные действия, а потом заключил мир со Швецией (в Кардисе 1661 г.), воротив ей все свои завоевания. Как ни была эта война бесплодна и даже вредна Москве тем, что помогла Польше оправиться от шведского погрома, все же она помешала несколько соединиться под властью одного короля двум государствам, хотя одинаково враждебным Москве, но постоянно ослаблявшим свои силы взаимною враждой.

Восточный вопрос.

Уже умиравший Богдан и тут стал поперек дороги и друзьям, и недругам, обоим государствам, и тому, которому изменил, и тому, которому присягал. Испуганный сближением Москвы с Польшей, он вошел в соглашение со шведским королем Карлом X и трансильванским князем Рагоци, и они втроем составили план раздела Речи Посполитой. Истый представитель своего казачества, привыкшего служить на все четыре стороны, Богдан перебывал слугой или союзником, а подчас и предателем всех соседних владетелей, и короля польского, и царя московского, и хана крым-

ского, и султана турецкого, и господаря молдавского, и князя трансильванского и кончил замыслом стать вольным удельным князем малороссийским при польско-шведском короле, которым хотелось быть Карлу X. Эти предсмертные козни Богдана и заставили царя Алексея кое-как кончить шведскую войну. Малороссия втянула Москву и в первое прямое столкновение с Турцией. По смерти Богдана началась открытая борьба казацкой старшины с чернью. Преемник его Выговский передался королю и с татарами под Конотопом уничтожил лучшее войско царя Алексея (1659 г.). Ободренные этим и освободившись от шведов с помощью Москвы, поляки не хотели уступать ей ничего из ее завоеваний. Началась вторая война с Польшей, сопровождавшаяся для Москвы двумя страшными неудачами, поражением кн. Хованского в Белоруссии и капитуляцией Шереметева под Чудновом на Волыни вследствие казацкой измены. Литва и Белоруссия были потеряны. Преемники Выговского, сын Богдана Юрий и Тетеря изменили. Украйна разделилась по Днепру на две враждебные половины, левую московскую и правую польскую. Король захватил почти всю Малороссию. Обе боровшиеся стороны дошли до крайнего истощения: в Москве нечем стало платить ратным людям и выпустили медные деньги по цене серебряных, что вызвало Московский бунт 1662 г.; Великая Польша взбунтовалась против короля под предводительством Любомирского. Москва и Польша, казалось, готовы были выпить друг у друга последние капли крови. Их выручил враг обеих гетман Дорошенко, поддавшись с правобережной Украйной султану (1666 г.). В виду грозного общего врага Андрусовское перемирие 1667 г. положило конец войне. Москва удержала за собой области Смоленскую и Северскую и левую половину Украйны с Киевом, стала широко растянутым фронтом на

Днепре от его верховьев до Запорожья, которое согласно своей исторической природе осталось в межеумочном положении, на службе у обоих государств, Польского и Московского. Новая династия замолила свои столбовские, деулинские и поляновские грехи. Андрусовский договор произвел крутой перелом во внешней политике Москвы. Руководителем ее вместо осторожно-близорукого Б. И. Морозова стал виновник этого договора А. Л. Ордин-Нащокин, умевший заглядывать вперед. Он начал разрабатывать новую политическую комбинацию. Польша перестала казаться опасной. Вековая борьба с ней приостановилась надолго, на целое столетие. Малороссийский вопрос заслонили другие задачи, им же и поставленные. Они направлены были на Ливонию, т.-е. Швецию, и на Турцию. Для борьбы с той и другой нужен был союз с Польшей, угрожаемой обеими; она сама усиленно хлопотала об этом союзе. Ордин-Нащокин развил идею этого союза в целую систему. В записке, поданной царю еще до Андрусовского договора, он тремя соображениями доказывал необходимость этого союза: только этот союз даст возможность покровительствовать православным в Польше; только при тесном союзе с Польшей можно удержать казаков от злой войны с Великороссией по наущению хана и шведа; наконец, молдаване и волохи, теперь отделенные от православной Руси враждебной Польшей; при нашем союзе с нею к нам пристанут и отпадут от турок, и тогда от самого Дуная через Днестр из всех волохов, из Подолии, Червонной Руси, Волыни, Малой и Великой Руси составится цельный многочисленный народ христианский, дети одной матери, православной Церкви. Последнее соображение должно было встретить в царе особенное сочувствие: мысль о турецких христианах давно занимала Алексея. В 1656 г. на Пасху, похристосовавшись в церкви с жившими в Москве-

греческими купцами, он спросил их, хотят ли они, чтобы он освободил их от турецкой неволи, и на понятный ответ их продолжал: «когда вернетесь в свою страну, просите своих архиереев, священников и монахов молиться за меня, и по их молитвам мой меч рассечет выю моих врагов». Потом с обильными слезами он сказал, обращаясь к боярам, что его сердце сокрушается о порабощении этих бедных людей неверными и Бог взыщет с него в день судный за то, что, имея возможность освободить их, он пренебрегает этим, но принял на себя обязательство принести в жертву свое войско, казну, даже кровь свою для их избавления. Так рассказывали сами греческие купцы. В договоре 1672 г. незадолго до нашествия султана на Польшу царь обязался помогать королю в случае нападения турок и прислать к султану и хану отговаривать их от войны с Польшей. Виды непривычных союзников далеко не совпадали: Польша прежде всего заботилась о своей внешней безопасности; для Москвы к этому присоединился еще вопрос об единоверцах и притом вопрос обоюдосторонний—о турецких христианах с русской стороны и о русских магометанах с турецкой. Так скрестились религиозные отношения на европейском Востоке еще в XVI в. Московский царь Иван, как вы знаете, покорил два магометанские царства, Казанское и Астраханское. Но покоренные магометане с надеждой и мольбой обращались к своему духовному главе, преемнику халифов, султану турецкому, призывая его освободить их от христианского ига. В свою очередь под рукой турецкого султана жило на Балканском полуострове многочисленное население, единоверное и единоплеменное с русским народом. Оно также с надеждой и мольбой обращалось к Московскому государю, покровителю православного Востока, призывая его освободить турецких христиан от магометан-

ского ярма. Мысль о борьбе с турками при помощи Москвы тогда стала бойко распространяться среди балканских христиан. Согласно договору московские послы поехали в Константинополь отговорить султана от войны с Речью Посполитой. Знаменательные вести привезли они из Турции. Проезжая по Молдавии и Валахии, они слышали такие толки в народе: «дал бы только Бог хотя малую победу одержать над турками христианам, и мы тотчас стали бы промышлять над неверными». Но в Константинополе московским послам сказали, что недавно приходили сюда послы от казанских и астраханских татар и от башкир, которые просили султана принять в свое подданство царства Казанское и Астраханское, жалуясь, что московские люди, ненавидя их басурманскую веру, многих из них бьют до смерти и разоряют беспрестанно. Султан велел татарам потерпеть еще немного и пожаловал челобитчиков халатами.

Европейские отношения.

Так малороссийский вопрос потянул за собою два других: вопрос балтийский—о приобретении балтийского побережья и восточный—об отношениях к Турции из-за балканских христиан. Последний вопрос тогда вынашивался только в идее, в благожелательных помыслах царя Алексея и Ордина-Нащокина: тогда еще не под силу был русскому государству прямой практический приступ к этому вопросу, и он пока сводился для московского правительства к борьбе с врагом, стоявшим на пути к Турции, с Крымом. Этот Крым сидел бельмом на глазу у московской дипломатии, входил досадным элементом в состав каждой ее международной комбинации. Уже в самом начале царствования Алексея, не успев еще свести своих очередных счетов с Польшей, Москва склоняла ее к наступательному союзу против Крыма. Когда Андрусовское перемирие по Москов-

скому договору 1686 г. превратилось в вечный мир, и Московское государство впервые вступило в европейскую коалицию, в четверной союз с Польшей, Германской империей и Венецией против Турции, Москва взяла на себя в этом предприятии наиболее разученную ею партитуру, борьбу с татарами, наступление на Крым. Так с каждым шагом осложнялась внешняя политика Московского государства. Правительство завязывало вновь или восстановляло порванные связи с обширным кругом держав, которые были ему нужны по его отношениям к ближайшим враждебным соседям или которым оно было нужно по их европейским отношениям. А Московское государство оказалось тогда нелишним в Европе. В пору крайнего международного своего унижения, вскоре после смуты, оно не теряло известного дипломатического веса. Международные отношения на Западе складывались тогда для него довольно благоприятно. Там начиналась Тридцатилетняя война и отношения государств теряли устойчивость; каждое искало внешней опоры, боясь одиночества. Московскому государству при всем его политическом бессилии придавало силу его географическое положение и церковное значение. Французский посол Курменен, первый посол из Франции, явившийся в Москву, не из одной только французской вежливости называл царя Михаила начальником над восточной страною и над греческою верою. Москва стояла в тылу у всех государств между Балтийским и Адриатическим морем, и когда здесь международные отношения запутались и завязалась борьба, охватившая весь континентальный Запад, каждое из этих государств заботилось обеспечить свой тыл с востока заключением союза или приостановкой вражды с Москвой. Вот почему с самого начала деятельности новой династии круг внешних сношений Московского госу-

дарства постепенно расширяется даже без усилий со стороны его правительства. Его вовлекают в различные политические и экономические комбинации, складывавшиеся тогда в Европе. Англия и Голландия помогают царю Михаилу уладить дела с враждебными ему Польшей и Швецией, потому что Московия для них выгодный рынок и удобный транзитный путь на восток, в Персию, даже в Индию. Французский король предлагает Михаилу союз тоже по торговым интересам Франции на востоке, соперничая с англичанами и голландцами. Сам султан зовет Михаила воевать вместе Польшу, а шведский король Густав Адольф, обобравший Москву по Столбовскому договору, имея общих с нею недругов в Польше и Австрии, внушает московским дипломатам идею антикатолического союза, соблазняет их мыслью сделать их униженное отечество органическим и влиятельным членом европейского политического мира, называет победоносную шведскую армию, действовавшую в Германии, передовым полком, бьющимся за Московское государство, и первый заводит постоянного резидента в Москве. Государство царя Михаила было слабее государства царей Ивана и Федора, но было гораздо менее одиноким в Европе. Еще в большей степени можно сказать это о государстве царя Алексея. Приезд иноземного посольства становится тогда привычным явлением в Москве. Московские послы ездят ко всевозможным европейским дворам, даже к испанскому и тосканскому. Впервые московская дипломатия выходит на такое широкое поприще. С другой стороны, то теряя, то приобретая на западных границах, государство непрерывно продвигалось на восток. Русская колонизация, еще в XVI в. перевалившая за Урал, в продолжение XVII в. уходит далеко в глубь Сибири и достигает китайской границы, расширяя

московскую территорию уже к половине XVII в. по крайней мере тысяч на 70 кв. миль, если только можно прилагать какую-либо геометрическую меру к тамошним приобретениям. Эти успехи колонизации на востоке привели Московское государство в столкновение и с Китаем.

Значение внешней политики.

Так осложнялись и затруднялись внешние отношения государства. Они оказали разностороннее действие на его внутреннюю жизнь. Учащавшиеся войны все ощутительнее давали чувствовать неудовлетворительность домашних порядков и заставляли присматриваться к чужим. Учащавшиеся посольства умножали случаи для поучительных наблюдений. Более близкое знакомство с западно-европейским миром выводило хотя бы только правящие сферы из заколдованного предрассудками и одиночеством круга москворецких понятий. Но всего более войны и наблюдения давали чувствовать скудость материальных средств, доисторическую невооруженность и малую производительность народного труда, неумелость прибыльного его приложения. Каждая новая война, каждое поражение несло правительству новые задачи и заботы, народу новые тяжести. Внешняя политика государства вынуждала все большее напряжение народных сил. Достаточно краткого перечня войн, веденных первыми тремя царями новой династии, чтобы почувствовать степень этого напряжения. При царе Михаиле шли две войны с Польшей и одна со Швецией; все три кончились неудачно. При Михайловом преемнике шли опять две войны с Польшей за Малороссию и одна со Швецией; две из них кончились опять неудачно. При царе Федоре шла тяжелая война с Турцией, начавшаяся при его отце в 1673 г. и кончившаяся бесполезным Бахчисарайским перемирием в 1681 г.: запад-

ная заднепровская Украйна осталась за турками. Если вы рассчитаете продолжительность всех этих войн, увидите, что на какие-нибудь 70 лет (1613—1682) приходится до 30 лет войны, иногда одновременно с несколькими неприятелями.

Лекция XLVII.

Колебания во внутренней жизни Московского государства XVII в.— Два ряда нововведений.—Направление законодательства и потребность в новом своде законов. — Московский мятеж 1648 г. и его отношение к Уложению.—Приговор 16 июля 1648 г. о составлении Уложения и исполнение приговора. — Письменные источники Уложения.—Участие соборных выборных в его составлении.—Приемы составления.—Значение Уложения. — Новые идеи. — Новоуказанные статьи.

Возвращаемся к внутренней жизни Московского государства. Из обзора ближайших следствий Смуты и внешней политики государства мы видели, что правительство новой династии стало перед трудными внешними задачами с оскудевшими наличными средствами, материальными и нравственными. Где оно будет искать недостававших ему средств и как найдет их — вот вопрос, который теперь нам предстоит изучить.

Колебания.

Отвечая на этот вопрос, мы переберем все наиболее видные явления нашей внутренней жизни. Они очень сложны, идут различными, часто пересекающимися и иногда встречными течениями. Но можно разглядеть их общий источник: это был тот же глубокий перелом, произведенный Смутным временем в умах и отношениях, на который я уже указывал, говоря о ближайших следствиях Смуты. Он

состоял в том, что пошатнулся обычай, на котором держался государственный порядок при старой династии, перервалось предание, которым руководились созидатели и охранители этого порядка. Когда люди перестают действовать по привычке, выпускают из рук нить предания, они начинают усиленно и суетливо размышлять, а размышление делает их мнительными и колеблющимися, заставляет их пугливо пробовать различные способы действия. Этой робостью отличались и московские государственные люди XVII в. В них обилие новых понятий, плод тяжкого опыта и усиленного размышления, совмещалось с шаткостью политической поступи, с изменчивостью направлений, признаком непривычки к своему положению. Сознавая несоразмерность наличных средств с задачами, ставшими на очередь, они сначала ищут новых средств в старых домашних национальных источниках, напрягают силы народа, чинят и достраивают или восстанавливают порядок, завещанный отцами и дедами. Но замечая истощение домашних источников, они хлопотливо бросаются на сторону, привлекают иноземные силы в подмогу изнемогающим своим, а потом опять впадают в пугливое раздумье, не зашли ли слишком далеко в уклонении от родной старины, нельзя ли обойтись своими домашними средствами, без чужой помощи. Эти направления, сменяясь одно другим, во второй половине XVII в. идут некоторое время рядом, а к концу его сталкиваются, производят ряд политических и церковных потрясений и, переступив в XVIII в., сливаются в петровской реформе, которая насильственно вгоняет их в одно русло, направляет к одной цели. Вот в общих чертах ход внутренней жизни Московскаго государства с окончания Смуты до начала XVIII в. Теперь обратимся к изучению отдельных его моментов.

Два ряда нововведений.

Как ни старалась новая династия действовать в духе старой, чтобы заставить забыть, что она новая и потому менее законна, ей нельзя было обойтись без нововведений. Смута так много поломала старого, что самое восстановление разрушенного неизбежно получало характер обновления реформы. Нововведения идут прерывистым рядом с перваго царствования новой династии до конца века, подготовляя преобразования Петра Великого. Согласно с двумя указанными сейчас направлениями в жизни Московского государства в потоке этих подготовительных нововведений можно различить две струи неодинакового происхождения и характера, хотя по временам они соприкасались и как будто даже сливались одна с другой. Реформы одного ряда велись домашними средствами, без чужой помощи, по указаниям собственного опыта и разумения. А так как домашние средства состояли только в расширении государственной власти насчет общественной свободы и в стеснении частного интереса во имя государственных требований, то каждая реформа этого порядка сопровождалась какой либо тяжкой жертвой для народного благосостояния и общественной свободы. Но в людских делах есть своя внутренняя закономерность, не поддающаяся усмотрению людей, которые их делают, и обыкновенно называемые *силою вещей*. С первого приступа к реформам *по своему* стала чувствоваться их недостаточность или безуспешность, и чем более росло это чувство, тем настойчивее пробивалась мысль о необходимости подражания *чужому* или заимствований со стороны.

Потребность в своде законов.

По самой цели самобытных нововведений, направленных к охране или восстановлению разрушенного Смутой порядка, они отличались московской осторожностью и неполнотой, вводили новые формы, новые приемы действия, избе-

тая новых начал. Общее направление этой обновительной деятельности можно обозначить такими чертами: предполагалось произвести в государственном строе пересмотр без переворота, частичную починку без перестройки целого. Прежде всего необходимо было упорядочить людские отношения, спутанные смутой, уложить их в твердые рамки, в точные правила. Здесь правительству царя Михаила приходилось бороться со множеством затруднений: нужно было все восстановлять, чуть не сызнова строить государство—до того был разбит весь его механизм. Автор упомянутой псковской повести о Смутном времени прямо говорит, что при царе Михаиле „царство внове строитися начат". Царствование Михаила было временем оживленной законодательной деятельности правительства, касавшейся самых разнообразных сторон государственной жизни. Благодаря тому к началу царствования Михаилова преемника накопился довольно обильный запас новых законов и почувствовалась потребность разобраться в нем. По установившемуся порядку московского законодательства новые законы издавались преимущественно по запросам из того или другого московского приказа, вызывавшимся судебно-административной практикой каждого, и обращались к руководству и исполнению в тот приказ, ведомства которого они касались. Там согласно с одной статьей Судебника 1550 г. новый закон приписывали к этому своду. Так основной кодекс подобно стволу дерева давал от себя ветви в разных приказах: этими продолжениями Судебника были указные книги приказов. Надобно было объединить эти ведомственные продолжения Судебника, свести их в один цельный свод, чтобы избегнуть повторения случая, едва ли одиночного, какой был при Грозном: А. Адашевъ внес в Боярскую думу из своего Челобитного приказа законода-

тельный запрос, который был уже решен по запросу из Казенного приказа, и дума, как бы позабыв сама недавнее выражение своей воли, велела казначеям записать в их указную книгу закон, ими уже записанный. Бывало и так, что иной приказ искал по другим закона, записаннаго в его собственной указной книге. Понятно, как дьяк-невежда мог путать дела, а дьяк-дока вертеть ими. Эту собственно кодификационную потребность, усиленную приказными злоупотреблениями, можно считать главным побуждением, вызвавшим новый свод и даже частью определившим самый его характер. Можно заметить или предположить и другие условия, повлиявшие на характер нового свода. Необычайное положение, в каком очутилось государство после смуты, неизбежно возбуждало новые потребности, ставило правительству непривычные задачи. Эти государственные потребности скорее, чем вынесенные из смуты новые политические понятия, не только усилили движение законодательства, но и сообщили ему новое направление; несмотря на все старание новой династии сохранить верность старине. До XVII в. московское законодательство носило казуальный характер, давало ответы на отдельные текущие вопросы, какие ставила правительственная практика, не касаясь самых оснований государственного порядка. Заменой закона в этом отношении служил старый обычай, всем знакомый и всеми признаваемый. Но как скоро этот обычай пошатнулся, как скоро государственный порядок стал сходить с привычной колеи предания, тотчас возникла потребность заменить обычай точным законом. Вот почему законодательство при новой династии получает более органический характер, не ограничивается разработкой частных, конкретных случаев государственного управления и подходит все ближе к самым основаниям.

государственного порядка, пытается, хотя и неудачно, уяснить и выразить его начала.

Мятеж 1648 г.

Труднее установить отношение Уложения к московскому мятежу 1648 г., случившемуся месяца за полтора до приговора государя с думой составить новый свод законов. В этом мятеже явственно вскрылось положение новой династии. Два первые царя ее не пользовались народным уважением. Несмотря на свое земское происхождение эта династия довольно скоро вошла в привычки старой, стала смотреть на государство, как на свою вотчину, и управлять им по-домашнему, с благодушной небрежностью вотчинной усадьбы, вообще успешно перенимала недостатки прежней династии, может быть, потому, что больше перенимать было нечего. Из плохих остатков разбитого боярства с примесью новых людей не лучше их составился придворный круг, которому очень хотелось стать правящим классом. Влиятельнейшую часть этого круга составляли царские и особенно царицыны родственники и любимцы. Престол новой династии надолго облегла атмосфера придворнаго фавора; временщики длинным рядом тянутся по трем первым царствованиям: Салтыковы, кн. Репнин, опять Салтыковы при Михаиле, Морозов, Милославские, Никон, Хитрово при Алексее, Языков и Лихачев при Федоре. Сам патриарх Филарет титулом второго великого государя прикрывал в себе самого обыкновенного временщика, вовсе непохожего на обходительного боярина, каким он был прежде, и назначившего себе преемником на патриаршем престоле человека, все достоинство которого заключалось лишь в том, что он был дворовым сыном боярским, попросту холопом Филарета. Как нарочно три первые царя вступали на престол в незрелом возрасте, оба первые 16-ти лет, третий 14-ти. Пользуясь сначала их

молодостью, а потом бесхарактерностью, правящая среда развила в управлении произвол и корыстолюбие в размерах, которым позавидовали бы худшие дьяки времен Грозного, кормившие царя одной половиной казенных доходов, а другую приберегавшие себе, по выражению тогдашних московских эмигрантов. Вспомогательным поощрением правительственных злоупотреблений служила и привилегированная их наказуемость: царь Михаил обязался, как мы знаем, людей вельможных родов не казнить смертью ни за какое преступление, а только ссылать в заточение, и при царе Алексее бывали случаи, когда за одно и то же преступление высокие чины подвергались только царскому гневу или отставке, а дьякам, подьячим и простым людям отсекали руки и ноги. Эти обязательства, принятые перед боярами негласно, необнародованные, составляли коренную ложь в положении новой династии и придавали ее воцарению вид царско-боярского заговора против народа. Характерно в этом смысле выражение Котошихина о царе Михаиле, что „хотя он самодержцем писался, однако без боярского совету не мог делати ничего", но рад был покою, прибавляет к этому Татищев, т.-е. предоставил все управление боярам. Народ своим стихийным чутьем понял эту ложь, и воцарение новой династии стало эрой народных мятежей. Царствование Алексея в особенности было „бунташным временем", как его тогда называли. К тому времени окончательно сложился в составе московского общества и управления тип „сильного человека" или „временника", по тогдашнему выражению. Это — властное лицо, заручившийся льготами землевладелец, светский либо духовный, или приятный при дворе правитель, крепкий верой в свою безнаказанность и достаточно бессовестный, чтобы всегда быть готовым, пользуясь своею мочью и общим бес-

правием, употребить силу над беззаступным людом,[1] „затеснить и изобидеть многими обидами". Это было едва ли не самое характерное и особенно удавшееся произведение внутренней политики новой династии, выросшее в московской правительственной среде из мысли, что царь — в ее руках и без нее не обойдется. Простой народ относился к этим временщикам с самой задушевной ненавистью. Московский июньский мятеж 1648 г., отозвавшийся во многих других городах, был ярким выражением этого чувства. Столичное простонародье было особенно изобижено сильными людьми, светскими и духовными, не отстававшими от светских, патриархом, епископами, монастырями: выгонные земли города были расхищены и заняты под слободы, загородные дворы и огороды, проезды в окрестные леса распаханы, так что московскому простому обывателю некуда стало ни выгнать животину, ни проехать за дровами, чего искони при прежних государях не бывало. Июньский бунт и был восстанием „черных людей" на „сильных", когда „всколыбалася чернь на бояр" и принялась грабить боярские, дворянские и дьячьи дворы и избивать наиболее ненавистных правителей. Острастка возымела сильное действие: двор перепугался; принялись задабривать столичное войско и чернь; стрельцов поили по приказу царя; царский тесть несколько дней сряду угощал у себя в доме выборных из московских тяглых обывателей; сам царь во время крестного хода говорил речь народу, звучавшую извинением, со слезами „упрашивал у черни" свояка и дорогого человека Морозова; на обещания не скупились. „Мира" стали бояться; пошли толки, что государь стал милостив, сильных из царства выводит, сильных побивают ослопьем да каменьем. При старой династии Москва не переживала таких бурных проявлений народного озлобления против

правящих классов, не видывала такой быстрой смены пренебрежения к народу заискиванием перед толпой, не слыхала таких непригожих речей про царя, какие пошли после мятежа. „царь глуп, глядит все изо рта у бояр Морозова и Милославского, они всем владеют и сам государь все это знает да молчит, чорт у него ум отнял“. Не летний московский мятеж 1648 г., скоро отозвавшийся и в других городах, внушил мысль об Уложении—на то были свои причины; но он побудил правительство привлечь к участию в этом деле земских представителей: на земский собор, созванный на 1 сентября того же года для выслушания и подписи свода, правительство смотрело, как на средство умиротворения народа. Можно поверить патриарху Никону, который писал, как о деле всем ведомом, что этот собор был созван не добровольно, „боязни ради и междоусобий от всех черных людей, а не истинные правды ради“. Несомненно, эти мятежи, не быв первоначальной причиной предпринятой кодификационной работы, однако отразились на ее ходе: правительственный испуг испортил дело.

Приговор 16 июля.

Мысль составить Уложение, почин дела исходил от государя с тесным собором, т.-е. правительственным советом, состоявшим из Освященного собора и Боярской думы. В грамотах, разосланных по областям летом 1648 г., было объявлено, что велено написать Уложенную книгу по указу государя и патриарха, по приговору бояр и по челобитью стольников и стряпчих и всяких чинов людей. Трудно догадаться, когда и как было представлено правительству это челобитье всех чинов, даже было ли когда-либо представлено. Говорить от имени всей земли было привычкой московских правительств, сменявшихся по пресечении старой династии. При новых царях челобитье „всяких чинов

людей“ сделалось стереотипной формулой, которою хотели оправдать всякое большое правительственное дело, не стесняясь точностью выражений: достаточно было какой-либо случайно составившейся группе людей разных чинов обратиться с ходатайством на государево имя, чтобы вызвать указ „по челобитью всех чинов людей“. Приказная подделка под народную волю стала своего рода политической фикцией, сохранившейся для известных случаев доселе в виде пережитка с чисто-условным значением. Достоверно то, что 16 июля 1648 г. государь с Боярской думой и Освященным собором приговорил выбрать „пристойные к государственным и земским делам статьи“ из правил апостольских и св. отцов, из законов греческих царей, а также собрать указы прежних русских государей и боярские приговоры, „справить“ эти указы и приговоры со старыми судебниками, а по каким делам в судебниках прежних государей указа не положено и боярских приговоров не было, написать новые статьи и все это сделать „общим советом“. Составить проект Уложения поручено было особой кодификационной комиссии из 5 членов, из бояр князей Одоевского и Прозоровского, окольничаго кн. Волконского и двух дьяков, Леонтьева и Грибоедова. Все это были люди не особенно влиятельные, ничем не выдававшиеся из придворной и приказной среды; о кн. Одоевском сам царь отзывался пренебрежительно, разделяя общее мнение Москвы; только дьяк Грибоедов оставил по себе след в нашей письменности составленным позднее, вероятно, для царских детей первым у нас учебником русской истории, где автор производит новую династию через Анастасию от сына небывалого „государя Прусской земли“ Романова, сродника Августу, кесарю римскому. Три главные члена этой комиссии были думные люди: значит, этот „приказ кн. Одоев-

ского с товарищи“, как он называется в документах, можно считать коммиссией думы. Коммиссия выбирала статьи из указанных ей в приговоре источников и составляла новые; те и другие писались „в доклад“, представлялись государю с думой на рассмотрение. Между тем к 1 сентября 1648 г. в Москву созваны были выборные из всех чинов государства, служилых и торгово-промышленных посадских, выборные от сельских или уездных обывателей, как от особой курии, не были призваны. С 3 октября царь с духовенством и думными людьми слушал составленный комсссией проект Уложения, и в то же время его читали выборным людям, которые к тому „общему совету“ были призваны из Москвы и из городов, „чтобы то все Уложение впредь было прочно и неподвижно“. Затем государь указал высшему духовенству, думным и выборным людям закрепить список Уложения своими руками, после чего оно с подписями членов собора в 1649 г. было напечатано и разослано во все московские приказы и по городам в воеводския канцелярии для того, чтобы „всякие дела делать по тому Уложению“.

Составление свода. Такова внешняя история памятника, как она рассказана в официальном к нему предисловии. На комиссию возложена была двоякая задача: во-первых, собрать, разобрать и переработать в целый свод действующие законы, разновременные, несоглашенные, разбросанные по ведомствам и потом нормировать случаи, не предусмотренные этими законами. Вторая задача была особенно трудна. Комиссия не могла ограничиться собственной юридической предусмотрительностью и своим правовым разумением, чтобы установить такие случаи и найти нормы для их определения. Необходимо было знать общественные нужды и отношения, изучить правовой разумъ народа, а также практику судеб-

ных и административных учреждений; по крайней мере, мы так посмотрели бы на такую задачу. В первом деле комиссии могли помочь своими указаниями выборные; для второго ей надобно было пересмотреть делопроизводство тогдашних канцелярий, чтобы найти прецеденты, «примерные случаи», как тогда говорили, чтобы видеть, как рѣшали не предусмотренные законом вопросы областные правители, центральные приказы, сам государь с Боярской думой. Предстояла обширная работа, требовавшая долгих и долгих лет. Впрочем, до такого мечтательного предприятия дело не дошло: решили составить Уложение ускоренным ходом, по упрощенной программе. Уложение разделено на 25 глав, содержащихъ в себе 967 статей. Уже к октябрю 1648 г., т.-е. в два с половиной месяца, изготовлено было к докладу 12 первых глав, почти половина всего свода; их и начал с 3 октября слушать государь с думой. Остальные 13 глав были составлены, выслушаны и утверждены в думе к концу января 1649 г., когда закончилась деятельность комиссии и всего собора и Уложение было закончено в рукописи. Значит, этот довольно обширный свод составлен был всего в полгода с чем-нибудь. Чтобы объяснить такую быстроту законодательной работы, надобно припомнить, что Уложеніе составлялось среди тревожных вестей о мятежах, вспыхивавших вслед за июньским московским бунтом в Сольвычегодске, Козлове, Талицке, Устюге и других городах, и заканчивалось в январе 1649 г., под влиянием толков о готовившемся новом восстании в столице. Торопились покончить дело, чтобы соборные выборные поспешили разнести по своимъ городам рассказы о новом курсе московскаго правительства и об Уложении, обещавшем всем „ровную" справедливую расправу.

Источники.

Действительно, Уложение составлялось наспех, кое-как и сохранило на себе следы этой спешности. Не погружаясь в изучение всего приказного материала, комиссия ограничилась основными источниками, указанными ей в приговоре 16 Июля. Это были Кормчая, именно вторая ее часть, заключающая в себе кодексы и законы греческих царей (лекция XIII), московские судебники, собственно Судебник царский, и дополнительные к нему указы и боярские приговоры, т.-е. указные книги приказов. Эти указные книги—самый обильный источникъ Уложения. Целый ряд глав свода составлен по этим книгам с дословными или измененными выдержками: например, две главы о поместьях и вотчинах составлены по книге Поместного приказа, глава «о холопье суде» по книге приказа Холопьяго суда, глава «о разбойных и о татиных делах» по книге Разбойного приказа. Кроме этих основных источников комиссия пользовалась и вспомогательными. Своеобразное употребление сделала она из памятника стороннего, Литовского Статута 1588 г. В сохранившемся подлинном свитке Уложения встречаем неоднократные ссылки на этот источник. Составители Уложения, пользуясь этим кодексом, следовали ему, особенно при составлении первых глав, в расположении предметов, даже в порядке статей, в подборе казусов и отношений, требовавших законодательного определения, в постановке правовых вопросов, но ответов искали всегда в своем туземном праве, брали формулы самых норм, правовых положений, но только общих тому и другому праву или безразличныхъ, устраняя все ненужное или несродное праву и судебному порядку московскому, вообще перерабатывали все, что заимствовали. Таким образом Статут послужил не столько юридическим источником Уложения, сколько кодификационным пособием для его составителей, давал им готовую программу.

Участие соборных выборных.

Комиссии пришлось черпать еще из одного вспомогательного источника, тем более важного, что это был источник живой, не архивный: разумею самый собор, точнее, соборных выборных, призванных выслушать и подписать Уложение. Мы видели, как составлялся свод: инициатива дела шла от государя с Боярской думой, проект свода был выработан канцелярским порядком, комиссией думы при содействии приказов, доставлявших материалы и справки, рассмотрен, исправлен и утвержден той же думой, а соборным выборным прочитан, сообщен к сведению и для подписи. Однако земское представительство не оставалось лишь страдательным слушателем свода, помимо него заготовленного. Правда, ни из чего не видно, чтобы статьи Уложения при чтении выборным обсуждались ими; читая им статью за статьею, у них не спрашивали, *да* или *нет*; однако им предоставлено было значительное участие в деле, принимавшее довольно разнообразные формы. Приговор 16 июля не имел в виду нового кодекса: он поручил комиссии только свести и согласить наличный запас законодательства, „государские указы и боярские приговоры со старыми судебниками справить". Новыми статьями комиссия только пополняла пробелы действующих законов. Она должна была делать свое дело „общим советом" с земскими выборными, которых для того и призвали, чтобы быть на Москве „для государева и земского дела с государевыми боярами" кн. Одоевским с товарищами или „быть у них в приказе". Земские представители, значит, вводились в состав кодификационной комиссии или при ней состояли. Знакомясь с изготовлявшимся проектом, выборные, как сведущие люди, указывали кодификаторам, что в нем следует изменить или пополнить, заявляли о своих нуждах, а комиссия облекала эти заявления и указания в форму зем-

ских челобитных, которые вносила в думу. Там по этим челобитным „приговаривали“, давали решения, которые объявлялись выборным, как законы, и вносились в Уложение. Так выборным открыт был путь к участию в самом проекте Уложения. Трудно сказать, как происходили эти совещания комиссии, в общем ли собрании выборных, которых было не менее 290, или по какой либо группировке. Знаем, что 30 октября 1648 г. выборные от служилых и посадских торговых людей подали в комиссию отдельные челобитные о повороте в посадское тягло подгородных слобод, городских дворов и торгово-промышленных заведений, принадлежавших нетяглым владельцам. Комиссия объединила обе эти челобитные и внесла в думу, как общее ходатайство „от всея земли“. Из этих челобитных, докладов, выписок или справок и думских по ним приговоров, выработалось целое положение о составе посадских обществ и об отношении к ним сторонних людей, промышлявших в городах. Из этого положения составлена глава XIX Уложения „о посадских людех“. Совещательные указания членам кодификационной комиссии и представление через нее челобитий в думу—таковы две формы участия выборных в составлении Уложения. Но была и третья форма, наиболее важная ставившая соборных выборных в прямое отношение уже не к комиссии, а к самой государевой думе; это когда царь с думой являлся среди выборных и вместе с ними произносил приговор по возбужденному вопросу. В Уложении отмечен один такой случай, не единственный в действительности. Выборные люди всех чинов били челом от всей земли отобрать церковные земли, перешедшие во владение духовенства вопреки закону 1580 г. В главу XVII Уложения о вотчинах внесена статья (42), которая гласит, что государь, по совету с Освященным собором и поговорив

с думными и выборными служилыми людьми, „собором уложили“ воспретить всякое отчуждение вотчин в пользу Церкви. Выборные люди здесь прямо введены в состав законодательной власти, но не все, а только служилые, как представители вотчинников, которых касалось дело, хотя челобитье шло от всей земли, от всяких чинов. Верховное правительство по уровню политического сознания оказалось ниже земского представительства: последнее понимало интерес всеземский, а первое—только сословный. По документам известны еще два прямо не указанные в Уложении соборные приговора с участием выборных. По челобитью выборных служилых людей государь с думой и с челобитчиками собором уложил отменить „урочные лета“, т.-е. срок давности для возврата беглых крестьян; этот приговор изложен в первых статьях главы XI Уложения о крестьянах. Еще важнее глава VIII „о искуплении пленных“, устанавливающая общий подворный налог для выкупа пленных и таксу выкупа: эта глава заимствована из соборного приговора государя с думой и „всяких чинов с выборными людьми“. На этот раз весь выборный состав собора возымел законодательную власть. Наконец, один частный случай живо рисует и отношение выборных к делу Уложения, и отношение правительства к земским челобитьям. Депутат курского дворянства Малышев, возвращаясь домой по окончании собора, выпросил себе царскую „береженую“, охранную грамоту, чтобы защитить его—от кого бы вы думали?—от его собственных избирателей. Он опасался от них всякого дурна по двум причинам: за то, что не все „нужи“ избирателей провел на соборе в Уложении и за то, что черезчур поревновал о благочестии, в особой челобитной царю „всяким дурном огласил“, охаял своих земляков курчан в неблагопристойном провождении воскресных и празд-

ничных дней. Грамота обеляет депутата перед избирателями от первого обвинения, что он „розных их *прихотей* в Уложенье не исполнил", а ответственность по второму пункту Малышев взваливает на правительство, на самого царя, жалуясь в челобитной, что в Уложении указаны только часы работы и торговли в праздничные дни (X, 25), а запрета и наказания за праздничное неблагоповедение согласно его челобитью указа не написано. Царь уважил просьбу неугомонного моралиста, велел послать грамоты о достодолжном провождении праздников „с великим запрещением", но Уложения не пополнил.

Приемы составления.

Теперь мы можем уяснить себе, как составлялось Уложение. Это был сложный процесс, в котором можно различить моменты *кодификации, совещания, ревизии, законодательного решения и заручной скрепы:* так назовем последний момент, применяясь к языку приговора 16 июля. Эти моменты распределялись между составными частями собора, Боярской Думой и Освященным собором с государем во главе, пятичленной комиссией кн. Одоевскаго и выборными людьми, которые состояли собственно при комиссии, а не при думе; совокупность этих частей и составляла собор 1648 г. Кодификационная часть была делом приказа кн. Одоевского и состояла в выборке и сводке узаконений из указанных ему источников, а также в редактировании челобитий выборных людей. Совещательный момент заключался в участии, какое принимали выборные в работах комиссии. Это участие, видели мы, выражалось в челобитьях, которые имели значение дебатов, заменяли прения, обсуждение, и известен случай, когда челобитная выборных получила характер прямого возражения, сопровождавшегося отменой или исправлением государева указа, против которого она была направлена. Я уже упоминал о челобитье

выборных поворотить в тягло льготные подгородные слободы частных владельцев. Состоялся указ отписать эти слободы на государя в тягло, „сыскав“, расследовав, откуда и когда пришли их обыватели, и не распространяя этого сыска назад за 1613 г. Выборные, опасаясь обычной московской приказной проволочки и сыскных козней, обратились с новой челобитной отписать слободы на государя „без лет и без сыску, где кто ныне живет“. В тот же день ходатайство было доложено государю и получило полное удовлетворение. Ревизия и законодательное решение принадлежали государю с думой. Ревизия состояла в пересмотре действующих законов, как их сводила комиссия в своем проекте. Приговор 16 июля как бы приостанавливал действие этих законов, низводил их на степень временных правил—впредь до нового законодательного их утверждения. Теряя силу правовых норм, эти старые законы при составлении Уложения сохраняли однако значение источников права. В думе или исправляли их текст, или касались и содержания, изменяя или отменяя самые нормы, чаще пополняя проект старым указом, пропущенным комиссией, или новым узаконением, дававшим норму на непредусмотренный прежде случай: так ревизия соединялась с редакцией. Ограничусь одним отмеченным в Уложении примером. В начале главы XVII о вотчинах комиссия поместила указы царя Михаила и патриарха Филарета о порядке, в каком призывать наследников к наследованию родовых и выслуженных вотчин. Дума утвердила эти статьи проекта, но прибавила к ним постановление о том, в каких случаях матери и бездетные вдовы вотчинников обеспечиваются на счет выслуженных вотчин. Ревизией дума пользовалась безраздельно; но при законодательном решении по свойству решаемых вопросов она принимала разнообразный состав,

делясь своей законодательной властью с другими частями собора. Иногда приговор произносился только государем с думой, иногда с участием Освященного собора; по временам призывались выборные только некоторых чинов, и еще реже вопрос решался всем собором с выборными людьми всяких чинов. Желая, „чтобы то все Уложение впредь было прочно и неподвижно“, его вырабатывали собранием, лишенным всякой прочности и неподвижности. Общим и обязательным делом собора, для чего собственно и созывали его, было закрепление свода подписями всех членов, должностных, как и выборных: это должно было со стороны правящих лиц и народных представителей служить ручательством в том, что они признают Уложение правильным, удовлетворяющим их нуждам, и что „всякие дела будут делать по тому Уложению“. Патриарх Никон был совсем не прав, когда позорил этот свод законов, называя его „проклятой книгой, дьявольским законом“: зачем он молчал, слушая и подписывая эту проклятую книгу в 1649 г. в сане архимандрита Новоспасского монастыря?

Значение Уложения.

По мысли, какую можно предположить в основании Уложения, оно должно было стать последним словом московского права, полным сводом всего накопившегося в московских канцеляриях к половине XVII в. законодательного запаса. Эта мысль сквозит в Уложении, но осуществлена не особенно удачно. В техническом отношении, как памятник кодификации, оно не перегнало старых судебников. В расположении предметов законодательства пробивается желание изобразить государственный строй в вертикальном разрезе, спускаясь сверху, от Церкви и государя с его двором до казаков и корчмы, о чем говорят две последние главы. Можно с немалыми усилиями свести главы Уложения в отделы государственного права, судоустройства и судо-

производства, вещного и уголовного права. Но такие группировки остались для кодификаторов только порывами к системе. Источники исчерпаны неполно и беспорядочно; статьи, взятые из разных источников, не всегда соглашены между собою и иногда попали не на свои места, скорее свалены в кучу, чем собраны в порядок. Если Уложение действовало у нас почти в продолжение двух столетий до Свода Законов 1833 г., то это говорит не о достоинствах Алексеевскаго свода, а лишь о том, как долго у нас можно обойтись без удовлетворительнаго закона. Но как памятник законодательства, Уложение сделало значительный шаг вперед сравнительно с судебниками. Это уже не простое практическое руководство для судьи и управителя, излагающее способы и порядок восстановления нарушенного права, а не самое право. Правда, и в Уложении всего больше места отведено формальному праву: глава X о суде—самая обширная, по числу статей составляет едва не треть всего уложения. Оно допустило важные, но понятные пробелы и в материальном праве. В нем не находим основных законов, о которых тогда в Москве не имели и понятия, довольствуясь волей государя и давлением обстоятельств; отсутствует и систематическое изложение семейного права, тесно связанного с обычным и церковным: не решались трогать ни обычая, слишком сонного и неповоротливого, ни духовенства, слишком щекотливого и ревнивого к своим духовно-ведомственным монополиям. Но все-таки Уложение гораздо шире судебников захватывает область законодательства. Оно пытается уже проникнуть в состав общества, определить положения и взаимные отношения различных его классов, говорит о служилых людях и служилом землевладении, о крестьянах, о посадских людях, холопах, стрельцах и казаках. Разумеется, здесь главное внимание обращено на дворянство,

как на господствующий военно-служилый и землевладельческий класс: без малого половина всех статей Уложения прямо или косвенно касается его интересов и отношений. Здесь, как и в других своих частях, Уложение старается удержаться на почве действительности.

Новые идеи.

Но при общем охранительном своем характере Уложение не могло воздержаться от двух преобразовательных стремлений, указывающих, в каком направлении пойдет или уже шла дальнейшая стройка общества. Одно из этих стремлений в приговоре 16 июля прямо поставлено, как задача кодификационной комиссии: ей поручено было составить проект такого Уложения, чтобы „всяких чинов людем от большого и до меньшого чину суд и расправа была во всяких делех всем ровна". Это—не равенство всех перед законом, исключающее различие в правах: здесь разумеется равенство суда и расправы для всех, без привилегированных подсудностей, без ведомственных различий и классовых льгот и изъятий, какие существовали в тогдашнем московском судоустройстве, имеется в виду суд одинаковый, нелицеприятный и для боярина, и для простолюдина, с одинаковой подсудностью и процедурой, хотя и не с одинаковой наказуемостью; судить всех, даже приезжих иноземцев, одним и тем же судом в правду, „не стыдяся лица сильных, и избавляти обидящего (обидимого) от руки неправедного"—так предписывает глава X, где сделана попытка начертать такой ровный для всех суд и расправу. Идея такого суда исходила из принятого Уложением общего правила устранять всякое льготное состояние и отношение, соединенное с ущербом для государственного, особенно казенного интереса. Другое стремление, исходившее из того же источника, проведено в главах с сословиях и выражало новый взгляд на отношение свободного лица к государству. Чтобы выразу-

меть это стремление, надобно несколько отрешиться от современных понятий о личной свободе. Для нас личная свобода, независимость от другого лица, не только неотъемлемое право, ограждаемое законом, но и обязанность, требуемая еще и нравами. Никто из нас не захочет да и не может стать формальным холопом по договору, потому что никакой суд не даст защиты такому договору. Но не забудем, что мы изучаем русское общество XVII в.,— общество холоповладельческое, в котором действовало крепостное право, выражавшееся в различных видах холопства, и к этим видам именно в эпоху Уложения, как увидим это скоро, готов был прибавиться новый вид зависимости, крепостная крестьянская неволя. Тогда в юридический состав личной свободы входило право свободного лица отдать свою свободу на-время или навсегда другому лицу без права прекратить эту зависимость по своей воле. На этом праве и основались различные виды древнерусского холопства. Но до Уложения у нас существовала личная зависимость без крепостного характера, создававшаяся личным *закладом*. Заложиться за кого-либо значило: в обеспечение ссуды или в обмен за какую-либо иную услугу, например, за податную льготу или судебную защиту, отдать свою личность и труд в распоряжение другого, но, сохраняя право прервать эту зависимость по своему усмотрению, разумеется, очистив принятые на себя обязательства заклада. Такие зависимые люди назывались в удельные века *закладнями*, а в московское время *закладчиками*. Заем под работу был для бедного человека в древней Руси наиболее выгодным способом помещения своего труда. Но, отличаясь от холопства, закладничество стало усвоять себе холопью льготу, свободу от государственных повинностей, что было злоупотреблением, за которое теперь закон и ополчился

против закладчиков и их приемщиков: поворотив закладчиков в тягло, Уложение (гл. XIX, ст. 13) пригрозило имъ за повторительный заклад „жестоким наказанием", кнутом и ссылкой в Сибирь на Лену, а приемщикам „великой опалой" и конфискацией земель, где закладчики впредь жить будут. Между тем для многих бедных людей холопство и еще больше закладничество было выходом из тяжелого хозяйственного положения. При тогдашней дешевизне личной свободы и при общем бесправии льготы и покровительства, „заступа" сильного приемщика были ценными благами; потому отмена закладничества поразила закладчиков тяжким ударом, так что они в 1649 г. затевали в Москве новый бунт, понося царя всякой неподобной бранью. Мы поймем их настроение, не разделяя его. Свободное лицо, служилое или тяглое, поступая в холопы или в закладчики, пропадало для государства. Уложение, стесняя или запрещая такие переходы, выражало общую норму, в силу которой свободное лицо, обязанное государственным тяглом или службой, не могло отказываться от своей свободы, самовольно слагая с себя обязанности перед государством, лежавшие на свободном лице; лицо должно принадлежать и служить только государству и не может быт ничьей частной собственностью: „крещеных людей никому продавати не велено (XX, 97)". Личная свобода становилась обязательной и поддерживалась кнутом. Но право, пользование котрым становится обязательным, превращается в повинность. Мы не чувствуем на себе тяжести этой повинности, потому что государство, не дозволяя нам быть холопами и даже полухолопами, оберегает в нас самое дорогое наше достояние, человеческую личность, и все наше нравственное и гражданское существо стоит за это стеснение нашей воли со стороны государства, за эту повинность, которая дороже всякого права

Но в русском обществе XVII в. ни личное сознание, ни общественные нравы не поддерживали этой общечеловеческой повинности. Благо, которое для нас выше всякой цены, для русского черного человека XVII в. не имело никакой цены. Да и государство, воспрещая лицу частную зависимость, не оберегало в нем человека или гражданина, а берегло для себя своего солдата или плательщика. Уложение не отменяло личной неволи во имя свободы, а личную свободу превращало в неволю во имя государственного интереса. Но в строгом запрете закладничества есть сторона, где мы встречаемся с закладчиками в одном порядке понятий. Эта мера была частичным выражением общей цели, поставленной в Уложении, овладеть общественной группировкой, рассажав людей по запертым наглухо сословным клеткам, сковать народный труд, сжав его в узкие рамки государственных требований, поработив им частные интересы. Закладчики только раньше почувствовали на себе тяжесть, ложившуюся и на другие классы. Это была общая народная жертва, вынужденная положением государства, как увидим, изучая устройство управления и сословий после смуты.

Новоуказные статьи.

Завершая собою законодательную работу прежнего времени, Уложение послужило исходным моментом для дальнейшей законодательной деятельности. Недостатки его стали чувствоваться скоро по вступлении его в действие. Его дополняли и исправляли по частямъ *новоуказные статьи*, служившие прямым его продолжением; таковы статьи о *татебных, разбойных и убийственных делах* 1669 г., *о поместьях и вотчинах* 1675—1677 гг. и др. Этот детальный, часто мелочный пересмотр отдельных статей Уложения, исполненный колебаний, то отменявший, то восстановлявший отдельные узаконения свода 1649 г., очень

любопытен, как отражение момента московской государственной жизни, когда ее руководителями начало овладевать сомнение в пригодности норм права и приемов управления, в добротность которых так веровали, и они конфузливо стали чувствовать потребность в чем-то новом, недоморощенном, „европском“.

Лекция XLVIII.

Затруднения правительства.—Централизация местного управления: воеводы и губные старосты.—Судьба земских учреждений.—Окружные *разряды*.—Сосредоточение центрального управления.—Приказы Счетных и Тайных дел.—Сосредоточение общества.—Основные и переходные классы.—Образование сословий.—Служилые люди.—Посадское население; возврат закладников в посадское тягло.

Соборное Уложение 1649 г. завершило собой ряд процессов нашей внутренней жизни, начавшихся со смуты и под ее влиянием, закрепило законом положение государства, создавшееся из этих процессов к половине XVII в. Мы заметили при новой династии новые понятия в умах и новых людей в управлении, новую постановку верховной власти и новый состав земского собора. Все эти новизны вытекали прямо или косвенно из одного печального источника, из глубокого общего перелома русской жизни, произведенного смутой, надломившего силы народа и пошатнувшего внешнее положение государства. Тогда стал перед правительством новой династии вопрос, как выйти из затруднений, в каких оно очутилось. Мы обратились к изучению капитального памятника нашего законодательства XVII в., чтобы видеть, в каком направлении действовало правительство, где и как оно искало выхода из тяжелого

положения. Мы заметили, что, провозгласив отмену всяких льготных изъятий в суде и запрет дальнейшего расширения несвободных состояний, освобождавших от государственных тягостей, оно стремилось собрать в своих руках все наличные силы народа. Оно вообще тогда собирало все, что уцелело от разрухи и могло ему пригодиться, недостававшие ему деньги, разбегавшихся людей, податных плательщиков и ратников, земских выборных для совета, наконец—самые законы.

Воеводы. В борьбе с затруднениями московское правительство хотело прежде всего собраться с собственными силами, чувствовало потребность приобрести более единства воли и более энергии в действиях. С этой целью оно принялось после смуты централизовать управление, стягивать в свои руки работу его сил, местных и даже центральных. Впрочем, тогда в Москве понимали централизацию по-своему, не в смысле подведомственного подчинения местных органов центральному управлению, а как соединение в одном лице или учреждении разнородных предметов, взаимно соприкасающихся в жизни: так, в сельской лавке под одной вывеской сосредоточиваются разнообразные товары по местным пунктам спроса, а не разбрасываются по специальностям. Сами обыватели стояли на одной точке зрения с правительством, предпочитали иметь дело с одним учреждением по всяким своим нуждам и иногда заявляли правительству, что их не в меру тяготят приказы, которые ведают их по разным делам, и что лучше бы ведать их во всем одному приказу, чтобы „напрасных обид и разоренья не было". Этим практическим удобством и руководились при царе Михаиле в перестройке местнаго управления. Старая династия покинула областное управление в состоянии крайнего раздробления. Земская реформа царя

Ивана разбила область, уезд, на несколько ведомств и на множество местных сословных миров, городских и сельских, служилых и тяглых (лекция XXXIII и XXXIX). Каждый такой местный мир действовал обособленно, имел свое особое выборное управление. Все эти миры ничем не объединялись между собою на месте, кроме редких всесословных и всеуездных выборов губных старост, и каждый из этих миров через своих выборных управителей имел непосредственное отношение к центральным учреждениям, приказам. Только в пограничных городах, где требовалась сильная военная власть, уже в XVI в. введены были *воеводы*, которые сосредоточивали в своих руках власть над всем уездом по всем делам кроме духовных. Такое раздробленное выборное областное управление могло действовать только в спокойные времена. С пресечением старой династии такие времена миновали надолго. В продолжение смуты все области, даже внутренние, подверглись опасности неприятельского нападения; поэтому даже и во внутренних уездах стали появляться воеводы. До нас дошел документ, составленный около 1628 г.: это—роспись 32 городов, где прежде воевод не было и где они явились с „Расстригина прихода", т.-е. с царствования первого самозванца, с 1605 г. Это преимущественно центральные города, *замосковные*, как они тогда назывались, Владимир, Переяславль, Ростов, Белозерск и другие. Из перечня этих городов, в которых воевод прежде не было, а были земские судьи, губные старосты и городовые приказчики, т.-е. выборные сословные власти, видно, что воеводство при царе Михаиле стало повсеместным учреждением. Воеводе подчинен был весь уезд со всеми классами общества и по всем делам; власть его простиралась на уездный город и на все сельские общества уезда, по делам как финансовым и судебным, так и

полицейским и военным. С внешней стороны введение воеводства могло казаться улучшением местного управления. Разрозненные местные сословные миры объединились под одной властью; уезд стал цельной административной единицей. Зато местным управлением теперь руководил представитель центральной государственной власти, приказный человек по назначению, а не земский правитель по выбору. С этой стороны воеводство было решительным поворотом от земского начала, положенного в основу местных учреждений царя Ивана, к бюрократическому порядку местного управления. Но оно не было возвратом к старым наместничествам. Воевода назначался ведать уезд не на себя подобно кормленщику, а на государя, как истая коронная власть. Поэтому воеводам неприличны были кормы и пошлины, какие по уставным грамотам шли в пользу наместников. Для центральных московских приказов воеводство действительно было удобством. Сподручнее было иметь дело с одним общим правителем уезда, притом своим ставленником, чем с многочисленными выборными уездными властями. Но для местного населения воеводство стало не только восстановлением, но и ухудшением наместничьего управления. Воеводы XVII в. были сыновья или внуки наместников XVI в. На протяжении одного-двух поколений могли измениться учреждения, а не нравы и привычки. Воевода не собирал кормов и пошлин в размерах, указанных уставной грамотой, которой ему не давали; но не были воспрещены добровольные приносы „в почесть", и воевода брал их без уставной таксы, сколько рука вaward. В своих челобитных о назначении соискатели воеводских мест так напрямки и просили отпустить их в такой-то город на воеводство „покормиться" *). На деле вопреки

*) Прил. II

своей идее воеводство стало ухудшенным продолжением наместничества. Последнее по идее было административным жалованьем за ратную службу, а на деле стало административной службой под предлогом жалованья за ратную повинность, потому что наместник все-таки правил и судил. Воеводство хотели сделать административной службой без жалованья, а на деле оно вышло неокладным жалованьем под предлогом административной службы. Неопределенная точно широта власти воеводы поощряла к злоупотреблениям. Стеснительно-подробные наказы, какими снабжал воеводу отправлявший его приказ, однако предписывали ему в конце концов поступать, „как пригоже, смотря по тамошнему делу, как Бог вразумит", предоставляя ему полный произвол. Понятно, почему земские люди XVII в. впоследствии с сожалением вспоминали времена, когда не было воевод. Неизбежная при таком сочетании регламентации с произволом неопределенность прав и обязанностей располагала злоупотреблять первыми и пренебрегать вторыми, в воеводском управлении превышение власти чередовалось с ее бездействием.

Губные старосты.

Воевода судил и рядил в *съезжей* или *приказной избе*: это—наше губернское правление. Рядом с воеводой стоял другой орган центральной власти в уезде со специальным назначением, *губной староста*, сидевший в *губной избе*; в иных уездах их было двое и даже больше. Эта высшая судебно-полицейская власть в уезде, возникшая еще в XVI в., как мы знаем, имела смешанный характер, земский по источнику полномочий и приказный по ведомству: губной староста выбирался на всесословном местном съезде, но ведал не местные земские, а общегосударственные дела по важнейшим уголовным преступлениям. В XVII в. губное ведомство расширилось: сверх разбоя и татьбы к нему

отнесены были дела о душегубстве, поджоге, совращении из православия, оскорблении родительской власти и др. Влияние общего направления внутренней политики правительства сказалось в том, что приказный элемент в должности губного старосты получил решительное преобладание над земским и это сближало губного старосту по характеру должности с воеводой. Но это направление не соединялось с определенным планом, было скорее правительственным позывом, чем программой, что и отразилось на бесконечных колебаниях, каким подверглось взаимное отношение обеих должностей: губные старосты то отменялись, то восстановлялись; в иных местах губные дела поручались воеводам, в других губные старосты ведали воеводские дела. По просьбе обывателей городом правил вместо воеводы губной староста, а когда он становился неугоден городу, назначался опять воевода с поручением ведать и губные дела; губной староста действовал то независимо от воеводы, то был подчинен ему.

Судьба земских учреждений.

Что же сталось с собственно земским сословным самоуправлением, ведавшим тяглое население? С повсеместным введением воевод оно не исчезло, но было стеснено и подчинено воеводам и круг его действия сузился. С переходом судебной власти к воеводам судные коллегии излюбленных голов с целовальниками были закрыты; только в дворцовых и черных крестьянских волостях, да в северных «поморских» уездах, в нынешних губерниях Архангельской, Олонецкой, Вятской и Пермской, уцелели выборные земские судейки. В кругу выборного земского управления теперь остались дела финансовые, т.-е. казенные сборы, и дела местные хозяйственные. Казенные косвенные сборы, таможенные, питейные и другие, ведались попрежнему *верными головами* с целовальниками. Сбор прямых налогов и

хозяйственные дела земских обществ городских и сельских оставались на руках земских старост с целовальниками. Эти хозяйственные дела состояли в сборах на мирские нужды, в распоряжении мирской землей, в выборах на разные должности по земскому управлению, а также в выборе приходского священника с причтом. Земский староста вел свои дела в *земской избе*, городской или уездной земской управе, всегда находившейся на посаде, за стенами городского кремля, где помещались избы съезжая и губная. Ближайший надзор за действиями земской избы принадлежал „советным людям", выборным гласным посадского или сельского населения уезда. Со введением воеводств на земское управление пала новая тяжкая повинность, кормление воевод и приказных людей, дьяков и подьячих; этот расход едва ли не всего более истощал „земскую коробку". Земский староста вел расходную книгу, в которую записывал все, на что тратились мирские деньги, для отчета советным людям. Эти книги старост наглядно показывают, что значило в XVII в. кормить воеводу. Изо дня в день староста записывал, что он тратил на воеводу и его приказных людей. Он носил на воеводский двор все нужное для домашнего и канцелярского обихода воеводы, мясо, рыбу, пироги, свечи, бумагу, чернила. В праздники или в именины он ходил поздравлять воеводу и приносил подарки, калачи или деньги „в бумажке", как ему самому, так и его жене, детям, приказным людям, дворовым слугам, приживалкам, даже юродивому, проживавшему у воеводы. Эти расходные книги всего лучше объясняют значение земского самоуправления при воеводах. Староста земский со своими целовальниками—лишь послушные орудия приказной администрации; на них возложена вся черная административная работа, в которой не хотел марать рук вое-

вода с дьяком и подьячими. Земство вело свои дела под наблюдением и по указаниям воеводы; земский староста вечно на посылках у воеводы и лишь изредка решается вступаться за свой мир против его распоряжений, заявляет протест, идет на воеводский двор „лаять" воеводу, выражаясь языком тогдашней земской оппозиции. Из такого отношения земского управления к приказному развились чрезвычайные злоупотребления. Воеводское кормление часто вело к разорению земских миров. Правительство, не прибегая к радикальным мерам, старалось по возможности устранить или ослабить это зло, изыскивая разные к тому средства, назначало на должности по указанию мира или предоставляло миру выбирать должностных приказных лиц, воеводские дела поручало выборным губным старостам, грозило в указах и в уложении строгими взысканиями за неправый суд, дозволяло тяжущимся заявлять подозрение на своего воеводу, предоставляя им в таком случае переносить свое дело на решение к воеводе соседнего уезда. При царе Алексее запрещено было назначать дворян воеводами в города, где у них были вотчины или поместья. Неоднократно запрещаемы были при царе Михаиле и его преемнике всякие денежные и натуральные кормы для воевод под угрозой взыскать взятое вдвое. Так централизация местного управления уронила земские учреждения, исказила их первоначальный характер, лишила их самостоятельности, не уменьшив их обязанностей и ответственности. Это была также одна из жертв, принесенных обществом государству.

Окружные разряды.

Сосредоточение местного управления не ограничилось пределами уезда: уже при царе Михаиле сделан был еще шаг вперед в эту сторону. Во время войн с Польшей и Швецией пограничные уезды по западной, южной и юго-

восточной окраине государства с целью лучшего устройства внешней обороны правительство соединяло в крупные военные округа, называвшиеся *разрядами*, в которых уездные воеводы были поставлены в зависимость от главных окружных воевод, как высших местных военногражданских управителей и предводителей военно-служилых людей, составлявших окружные корпуса. Так еще в начале царствования Михаила упоминаются разряды *Рязанский* и *Украйный*, в состав которого входили Тула, Мценск и Новосиль. При царе Алексее появляются разряд *Новгородский*, *Севский* или Северский, *Белгородский* (прежний Украйный), *Тамбовский*, *Казанский*. При царе Федоре предположено было и внутренние уезды соединить в такие же военные округа, образовав разряды *Московский*, *Владимирский*, *Смоленский*. Эти военные округа и послужили основанием губернского деления, введенного Петром Великим.

Сосредоточение центр. управления.

Централизация, хотя в меньшей степени, коснулась и центрального управления, где она была даже нужнее, чем в областном. Говоря о московских приказах XVI в., я уже имел случай заметить, что они и в XVII в. строились попрежнему (лекция XXXVIII). Осложнение государственных потребностей и отправлений нагромоздило их до полусотни. В них трудно найти какую-либо систему, это была скорее куча крупных и мелких учреждений, министерств, контор и временных комиссий, как бы мы их ни назвали. Количество приказов и беспорядочное разграничение в них ведомств затрудняли контроль и направление их деятельности: иногда само правительство не знало, куда приткнуть необычное дело, и без дальнейших размышлений учреждало для него новый приказ. Отсюда возникла потребность стянуть слишком раздробленное центральное управление. Его сосредоточивали двумя способами: или

подчиняли одному начальнику несколько родных по ведомствам приказов, или несколько приказов сливали в одно учреждение; в первом случае группе приказов сообщалось одно руководство и направление, во втором нескольким приказам сообщалась одинаковая организация. Тесть царя Алексея И. Д. Милославский был начальником приказа Большой Казны, одного из департаментов министерства финансов; но он же правил и приказами, ведавшими новые роды войск, какие заводились в XVI и XVII вв., именно *Стрелецким*, *Рейтарским*, *Иноземским* да кстати и невоенным *Аптекарским*, так как при нем состояли лекаря, тоже иноземцы. *Посольскому* приказу, ведавшему иностранные дела, были подчинены девять других приказов, ведавших новоприсоединенные области, *Малороссийский*, *Смоленский*, *Литовский* и другiе, а также *Полоняничный*, заведывавший выкупом пленных. Вероятно, эти приписанные к Польскому приказы и помещались с ним рядом в длинном здании приказов, тянувшемся от Архангельского собора по кремлевскому обрыву к Спасским воротам. Путем этого сосредоточения из множества мелких учреждений складывалось несколько крупных ведомств, которые послужили предшественниками коллегий Петра Великого. С целью надзора при царе Алексее возникли два новых приказа. Контроль финансовый был поручен приказу *Счетных дел*: он считал государственные доходы и расходы по книгам всех других центральных приказов и областных учреждений и стягивал к себе остатки от текущих расходов, где таковые оказывались, обращался в другие приказы с запросами по исполнению ассигновок, данных должностным лицам, послам, полковым воеводам, вызывал к отчету из городов земских целовальников с их приходо-расходными книгами. Это было место, где объединялось финансовое

Приказы Счетных и Тайных дел.

счетоводство. Счетный приказ существовал уже в 1621 г. Другой был приказ *Тайных Дел*. Название этого приказа страшнее его ведомства: это не тайная полиция, а просто ведомство государева спорта, «потехи», как тогда говорили. Царь Алексей был страстный сокольничий охотник. Приказ Тайных Дел ведал 200 сокольников и кречетников, больше 3000 соколов, кречетов, ястребов и до 100000 голубиных гнезд для корма и выучки охотничьих птиц. К этим кречетам и голубям благодушный и рассчетливый царь пристроил множество разнородных дел не только своего личного обихода, но и общегосударственного управления. Через Тайный приказ он вел свою личную переписку особенно по дипломатическим и военным делам, следил за хозяйством некоторых своих имений, за дворцовыми соляными и рыбными промыслами; приказ заведывал делами любимого царского Саввина Сторожевского монастыря, раздачей царской милостыни и т. п. Но через тот же приказ царь делал личные распоряжения по всевозможным предметам общего управления, когда находил нужным непосредственно вмешаться в ход дел или взять на себя почин и руководство в каком-либо новом предприятии, еще не вошедшем в обычный состав управления: так Тайный приказ ведал рудное дело и гранатные заводы. Словом, это— собственная царская канцелярия. Она служила и органом особого царского надзора за управлением, который действовал помимо общего контроля, шедшего из Боярской думы. Котошихин описывает один прием этого надзора. Присутствие приказа состояло только из дьяка с десятком подьячих: думным людям туда закрыты были двери. Этих подьячих царь причислял к посольствам, ехавшим в иностранные государства, к воеводам, шедшим в поход, для наблюдения за их словами и поступками: „и те подьячие,

пишет Котошихин, над послы и над воеводами подсматривают и царю приехав сказывают“. Разумеется, великородные послы и воеводы понимали назначение этих маленьких лишних людей в их свите и задабривали их «выше их меры», по выражению Котошихина, и как орган тайного административного надзора, предшественник петровского института фискалов, приказ Тайных Дел едва ли был удачен. Притом он был и бестактен. Котошихин пишет, что царь Алексей устроил этот приказ „для того, чтоб его царская мысль и дела исполнялися все по его хотению, а бояре б и думные люди о том ни о чем не ведали“. Так царь действовал тайком от ближайших исполнителей своей воли, которых сам же и призывал к власти и с которыми жил в таком видимом „совете“, конспирировал против собственного правительства. По атавизму, притом совершенно фиктивному, старый удельный инстинкт опричнины сказался в царе, предки которого никогда не бывали удельными князьями. Тайный приказ поспешили закрыть тотчас по смерти учредителя.

Состав общества

Вместе съ централизацией управления еще въ усиленной степени шло сосредоточение общества. Из устроительной деятельности старой династии общество вышло столь же дробным, как и управление. Оно было разбито на множество разрядов, *чинов*, которые, не считая духовенства, можно свести в четыре основных класса или состояния: это были: 1) люди *служилые*, 2) *тяглые* посадские, 3) тяглые сельские и 4) *холопы*. По отношению к государству основные классы различались *родом повинностей*, связанных с имущественным положением лиц, в служилом классе еще и с происхождением, чины—*размерами* или степенью тяжести однородных повинностей. Так повинностью служилых людей землевладельцев была наследственная служба

ратная и соединенная с нею придворная и административная; по степени ее важности и тяжести, соответствовавшей размерам землевладения и породе, служилый класс распадался на чины думные, служилые московские и городовые. Посадские торгово-промышленные обыватели тянули посадское тягло „по животам и по промыслам“, по оборотным средствам и промысловым занятиям, а по размерам или доходности тех и других и по связанной с ними тяжести посадских повинностей они делились на *лучших, средних и молодших.* На такие же имущественно-податные разряды распадался и класс сельских людей или крестьян, тянувших поземельное тягло по размерам пашни. Холопы по праву не имели законом защищаемой собственности и не служили, не тянули тягла государству, а состояли в крепостном дворовом услужении у частных лиц, образуя так же несколько видов неволи. Но эти классы, как и чины, не были устойчивыми и неподвижными обязательными состояниями. Лица могли переходить из одного класса или чина в другой, свободные, по своей или государевой воле, холопы, по воле своих господ или по закону, могли менять или соединять хозяйственные занятия: служилый человек мог торговать в городе, крестьянин перейти в холопство или заниматься городским промыслом. При такой подвижности между основными классами образовалось несколько промежуточных, переходных слоев разнородного социального состава. Так между служилыми людьми и холопством кружился слой мелкопоместных или беспоместных детей боярских, которые то отбывали ратную службу со своих или отцовых поместий, то поступали холопами во дворы к боярам и другим служилым людям высших чинов, образуя особый слой *боярских служилых людей.* Между служилым классом и посадским населением стояли служи-

лые люди „меньших чинов“, служившие не *по отечеству*, наследственно, а *по прибору*, по казенному найму: это были казенные кузнецы и плотники, воротники, пушкари и затинщики, состоявшие при крепостях и крепостной артиллерии; они примыкали к служилому классу, неся военно-ремесленную службу, но близко стояли и к посадскому населению, из которого обыкновенно набирались, и занимались городскими промыслами, не неся посадского тягла. Около привилегированных землевладельцев, светских и духовных, ютились, выходя так же из посадов, закладчики, о которых я уже говорил и еще буду говорить сейчас. Наконец, между холопами и свободными классами бродил многочисленный смешанно составленный слой *вольных* или *гулящих* людей: в него входили и затяглые родственники тяглых домохозяев, неотделенные сыновья, братья и племянники и захребетники, так же не имевшие своего хозяйства, работавшие при чужом, и дети духовенства, не пристроившиеся к приходам, и дети боярские, замотавшиеся и бросившие службу, но ни к кому не поступившие во двор, и крестьяне, покинувшие пашню и не избравшие определенного рода жизни, и холопы, вышедшие на волю и еще не давшие на себя новой крепости. Все такие люди, живя в селе, не имели земельного надела и не несли поземельного тягла, а обитая в городе, промышляли, но не отбывали городских повинностей.

Образование сословий.

Дробность чиновного деления и присутствие бродячих промежуточных слоев придавали обществу вид чрезвычайно пестрой и беспорядочной массы. Такой подвижностью и пестротой общественного состава поддерживалась свобода народного труда и передвижения. Но эта свобода крайне затрудняла приказное правительство и противоречила его стремлению, потом проведенному в Уложении, всех при-

влечь к работе на государство и строго регулировать народный труд в интересах казны. Особенно неудобны были для него состояния закладчиков и вольных людей, грозившие постепенным оскудением ратных сил и иссякновением самых источников государственного дохода: пользуясь правом отказа от личной свободы и от соединенных с ней государственных повинностей, оба эти состояния грозили стать социальными убежищами для служилых и тяглых людей, не хотевших ни служить, ни тянуть тягла. Устраняя эти затруднения и опасности, законодательство с воцарения Михаила начинает стягивать общество, как оно стягивало управление: оно соединяло дробные чины с однородными повинностями в крупные замкнутые классы, оставляя самые чины подвижными в пределах того или другого класса, а промежуточные слои вгоняло в эти классы по наибольшей сродности занятий. Эту социальную перестройку оно производило двумя приемами: наследственным прикреплением людей к состояниям, в которых заставал их крепивший их закон, и лишением свободных лиц права отказываться от личной свободы. Таким образом общественный состав упрощался и твердел: служба и тягло по колеблющемуся имущественному положению или по изменчивому занятию превращались в неподвижные повинности по рождению; каждый класс, округляясь, становился плотнее сам в себе и обособленнее от других. Эти замкнутые и обязанные классы впервые в истории нашего общественного строения получили характер *сословий*, а самый процесс, которым они созидались, можно назвать фиксацией, *отвердением состояний.* Так как этот процесс совершался насчет свободы народного труда, то и достигавшийся им результат следует отнести к числу жертв общества в пользу государства.

Служилые люди. Это укрепление и обособление сословий, повидимому, началось со служилого класса, наиболее нужного государству, как боевая сила. Уже судебник 1550 г. дозволил принимать в холопство только отставных детей боярских, воспретив прием служащих и их сыновей, даже не начавших еще службы. Это был низший и бледнейший служилый чин, в котором находилось много охотников поступать в боярские люди. Закон 1558 г. пояснил, что только сыновья детей боярских, достигшие служилого совершеннолетия (15 лет) и еще не поверстанные в службу, могли становиться холопами, а несовершеннолетние и совершеннолетние, но уже записанные в службу, не могли. Нужда и тяжесть службы побуждали нарушать и эти ограничения. При царе Михаиле дворяне и дети боярские жаловались на массовое бегство в холопы их братьев, детей и племянников. Указом 9 марта 1642 г. велено было взять таких дворян-холопов из боярских дворов на службу, если они имели поместья или вотчины и были уже зачислены в службу, а впредь запрещалось принимать в холопство всяких дворян и детей боярских. Этот запрет внесен и в Уложение. Так ратная служба стала наследственной, безысходной сословной повинностью служилых людей. Тогда же определились и специальные их сословные права, как землевладельцев. Правом землевладения пользовались дотоле и боярские люди, и соответствовавшие им по общественному положению монастырские служки; в число тех и других вступали государевы служилые люди с вотчинами и поместьями. Закон 1642 г. поворотил первых на государеву службу, а Уложение лишило тех и других права приобретать вотчины. Личное землевладение, вотчинное и поместное, стало теперь сословной привилегией служилого класса, как ратная служба осталась его специальной сословной по-

винностью: тем и другим служилые чины объединялись в одно сословие и обособлялись от других классов.

Посадское население.

Такому же обособлению подверглось и посадское население. Мы уже видели, как развитие служилого землевладения в XVI в. задержало рост города (лекция XXXIII). Смута разорила и разогнала посадских тяглецов. Затруднения, наступившие с новой династией, грозили новым разрушением едва начавшим оживать посадам. Чтобы быть исправными казенными плательщиками, посадским обществам, связанным круговой тягловой порукой, необходимы были достаточный постоянный комплект членов и обеспеченный сбыт труда и товара. Тяжесть податей заставляла слабосильных выходить из посада, продавая или закладывая свои дворы людям нетяглым, *белым*. В то же время к посадам пристраивался разночинный люд: стрельцы, крестьяне из подгородных сел, церковные слуги, поповичи торговали и промышляли, отбивая торги и промыслы у оставшихся посадских тяглецов, но не участвуя в их тягле; даже попы и дьяконы вопреки церковным правилам сидели в лавках. Бегство из посадского тягла находило себе влиятельное поощрение сверху. Стоит заметить, что всякий раз, как верховная власть слабела, господствующие классы у нас спешили пользоваться минутой и развивали широкую спекуляцию насчет свободы народного труда. Так при царе Федоре Ивановиче современники жалуются на усиленное развитие кабального холопства, в чем деятельно участвовал сам правитель Борис Годунов со своей родней. При царе Михаиле то же повторилось с закладничеством. Я уже говорил об этом виде частной зависимости, отличавшейся от холопства тем, что она не была крепостная, прекращалась по воле закладчика. Закладывались преимущественно посадские люди, торговые и ремесленные, и обыкновенно

Закладчики.

„за сильных людей“, за бояр, патриарха, епископов, за монастыри. Это было большое бедствие для тяглых посажан. Значительные посады в Московском государстве опоясывались казенными служилыми слободами, стрелецкими, пушкарскими, ямскими; населявшие их служилые приборные люди конкуррировали в торгах и промыслах с посадскими людьми, не разделяя их повинностей. Закладчики явились еще более опасными соперниками. Сильные люди принимали их массами и селили целыми слободами на посадах или около не только на своих, но и на общественных посадских землях. В патриаршей слободе на посаде Нижнего Новгорода жило в 1648 г. более 600 новоприбылых торговых и ремесленных людей, „которые в тое слободу сошлися из разных городов и поселилися для своего промыслу и легости“, как жаловались выборные от посадских людей на Уложенном соборе. Это был новый вид закладничества, притом незаконный. Личный заклад в собственном, простейшем виде был заем под работу с обязательством заработать его службой во дворе или на земле заимодавца. Теперь тяглые посадские закладывались без займа или с фиктивным займом обыкновенно за привилегированных землевладельцев, светских и духовных, и не отбывали им дворовой службы, а селились на их льготных землях дворами и целыми слободами и присвояли себе их поземельные льготы, самовольно избывая посадского тягла и занимаясь „всякими промыслами и торгами большими“. Это были капиталисты, а не бедные дворовые рабочие под ссуду. Такие условия были нарушением закона. Уже судебник 1550 г. запретил торговым посадским людям жить на нетяглой церковной земле в посадах, пользуясь ее льготами. При царе Михаиле закон строго обособлял посадские земли тяглые или черные от нетяглых или белых. Как воспре-

щалось беломестцам обеливать приобретаемые ими посадские тяглые дворы и места, так не дозволялось и тяглым людям, селясь на белой земле, по ней обеливать самих себя. Закладничество было прямым злоупотреблением: не будучи крепостным холопством, освобождавшим от тягла, оно соединяло выгоды крепостной неволи с выгодами тяглого посадского промысла, не неся тягла, пользовалось правами без обязанностей. Уже при царе Михаиле жаловались на это зло, и правительство новой династии по усвоенной им привычке ничего не предупреждать и уступать только силе или угрозам удовлетворяло отдельные жалобы, не объединяя их в общую меру. Так в 1643 г. посадские гор. Тобольска жаловались на размножение закладчиков у тамошнего монастыря, которые теснили и обижали их во всяких промыслах, и при этом челобитчики ставили правительству на вид, что у них государевых служеб служить и оброка платить некому. Государь указал взять закладчиков в посад и тягло им тянуть с посадскими людьми вместе. Настойчивые жалобы на закладничество до собора и на самом соборе 1648 г., внушительные и еще неостывшие впечатления июньского бунта в Москве и доступное даже тогдашнему московскому правительству опасение за казенные доходы вместе с желанием приобрести многие тысячи новых плательщиков—все это повело к капитальной переборке состава посадского населения. Отдельные меры, тогда принятые, сведены в главе XIX Уложения о посадских людях. Все слободы частных владельцев, поселенные на посадской земле, купленной или захваченной, отбирались на государя и приписывались в тягло к посадам безвозмездно за то: „не строй на государевой земле слобод и не покупай посадской земли“. Заемные и ссудные записи, данные на себя закладчиками приемщикам, объяв-

лены недействительными. Подгородные вотчины и поместья, которые сошлись с посадами „дворы с дворами", так же приписывались к посадам и обменивались на казенные села в других местах. Закладничество впредь запрещалось под угрозой тяжкой кары, а посадские прикреплялись к своему тяглу и к посадам с такой строгостью, что указ 8 февраля 1658 г. грозил смертной казнью за переход из посада в посад, даже за женитьбу вне посада. Так посадское тягло с торгов и промыслов стало сословной повинностью посадского населения, а право городского торга и промысла—его сословной привилегией. Крестьяне могли продавать в городе „всякие товары" на гостином дворе только прямо с возов, не держа лавок в торговых рядах.

Лекция XLIX.

Крестьяне на землях частных владельцев.—Условия их положения.— Холопство в древней Руси.—Происхождение холопства кабального.— Апрельский указ 1597 г.—Задворные люди.—Появление крепостной крестьянской записи.—Ее происхождение.—Ее условие.—Крепостные крестьяне по Уложению 1649 г.—Крестьянские *животы*.—Податная ответственность за крепостных крестьян.—Отличие крепостного крестьянства от холопства в эпоху Уложения.

В одно время с обособлением классов служилого и посадского окончательно определилось и положение сельского земледельческого населения. Впрочем, существенная перемена произошла лишь в судьбе крестьян, живших на землях частных владельцев и составлявших главную массу сельского населения. Эта перемена обособила их резче прежнего не только от других классов, но и от других разрядов сельского же населения, от крестьян черных или казенных и дворцовых: разумею установление крепостной неволи вледельческих крестьян. Мы покинули сельские классы в начале XVII в. (лекция XXXVII). Мы видели, что казенные и дворцовые крестьяне уже к этому времени были прикреплены к земле или к сельским обществам. Положение крестьян владельческих оставалось неопределенным, потому что на нем столкнулись разносторонние интересы. Чтение о крестьянах в XVI в. я закончил

замечанием, что в начале XVII в. уже действовали все экономические условия неволи господских крестьян и оставалось только найти юридическую норму, которая превратила бы фактическую их неволю в крепостную по закону.

В положении владельческого крестьянства XVI в., как общественного класса, надобно различать три элемента: поземельное тягло, право выхода и нужду в господской ссуде, т.-е. элементы политический, юридический и экономический. Каждый из них был враждебен обоим остальным, и изменчивый ход их борьбы производил колебания законодательства в определении государственного положения класса. Борьба была вызвана элементом экономическим. По разным причинам, частью нами уже изученным, с половины XVI в. стало увеличиваться количество крестьян, нуждавшихся в ссуде для обзаведения и для ведения своего хозяйства. Эта нужда влекла крестьянина к долговой неволе и, столкнувшись с его правом выхода, одолела его: это право, не отмененное законом, стало юридической фикцией. Тогда против неволи крестьянина выступило его поземельное тягло, от которого освобождала крепостная неволя, и законодательство начала XVII в. борется против превращения крестьянина в холопа, установляя *вечность крестьянскую*, безвыходность тяглого крестьянского состояния. В сочетании этих элементов крестьянского положения с условиями древнерусской личной крепости и найдена была юридическая норма, установившая крепостную неволю владельческих крестьян.

Крепостью в древнерусском праве назывался акт символический или письменный, утверждавший власть лица над известной вещью. Власть, укрепленная таким актом, давала владельцу *крепостное* право на эту вещь. Предметом кре-

постного обладания в древней Руси были и люди. Такие крепостные назывались *холопами* и *рабами*. На древнерусском юридическом языке холопом назывался крепостной мужчина, рабой—крепостная женщина. В документах нет терминов „раб“ и „холопка“: *раб* встречается только в церковно-литературных памятниках. Холопство и было древнейшим крепостным состоянием на Руси, установившимся за много веков до возникновения крепостной неволи крестьян. До конца XV в. на Руси существовало только холопство *обельное* или *полное*, как оно стало называться позднее. Оно создавалось различными способами: 1) пленом, 2) добровольной или по воле родителей продажей свободного лица в холопство, 3) некоторыми преступлениями, за которые свободное лицо обращалось в холопство по распоряжению власти, 4) рождением от холопа, 5) долговой несостоятельностью купца по собственной вине, 6) добровольным вступлением свободного лица в личное дворовое услужение к другому без договора, обеспечивающого свободу слуги и 7) женитьбой на рабе без таковаго же договора. Полный холоп не только сам зависел от своего *государя*, как назывался владелец холопа в древней Руси, и от его наследников, но передавал свою зависимость и своим детям. *Право на полного холопа наследственно, неволя полного холопа потомственна*. Существенною юридическою чертою холопства, отличавшею его от других, некрепостных видов частной зависимости, была непрекращаемость его по воле холопа: холоп мог выйти из неволи только по воле своего государя.

Виды неполного холопства.

В Московской Руси из полного холопства выделились различные виды смягченной, условной крепостной неволи. Так из личного услужения, именно из службы приказчиком по господскому хозяйству, тиуном или ключником, возникло в конце XV или в начале XVI в. холопство

докладное, названное так потому, что крепостной акт на такое холопство, *докладная грамота*, утверждался с доклада наместнику. Это холопство отличалось от полного тем, что право на докладного холопа меняло свои условия. иногда прекращалось со смертью господина, иногда передавалось его детям, но не далее. Потом я уже говорил о закладничестве. Оно возникало в разные времена на разных условиях. Первоначальным и простейшим его видом был личный заклад или заем с обязательством должника работать на заимодавца, живя у него во дворе. *Закуп* времен Русской правды, *закладень* удельных веков, как и закладчик XVII в., не были холопы, потому что их неволя могла быть прекращена по воле заложившегося лица. Долг погашался или его уплатой, или срочной отработкой по договору: „отслужат свой урок (срок) да пойдут прочь рубль заслужат, а не отслужат своего урока, ино дадут", возвратят все занятые деньги, как читаем про таких долговых слуг в одном акте XV в.

Кабальное холопство.

Но бывали закладные, по которым закладник обязывался не погашать службой самого долга, а только отплачивать проценты, служить „за рост", и по истечении условленного срока возвратить „истину", занятой капитал. Заемное письмо в древней Руси называлось заимствованным из еврейского словом *кабала*. Личная зависимость, возникавшая из обязательства служить за рост, укреплялась актом, который в отличие от заемной кабалы с личным закладом на условии отработки назывался в XVI в. *служилой кабалой* или *кабалой за ростъ служити*. С конца XV в. в документах появляются *кабальные люди*; но в них долго еще незаметно признаков кабальнаго холопства. Заемная кабала под личный заклад была собственно *заживная*, давала закладнику право зарабатывать взятую вперед ссуду без роста.

погашать беспроцентный долг. По кабале *ростовой*, получившей специальное название *служилой*, кабальный своей службой во дворе заимодавца зарабатывал только проценты, не освобождаясь от возврата капитала в условленный срок или *урокъ*. С таким характером являются кабальные люди в документах до половины XVI в., и только такие служилые кабалы знал Судебник 1550 г., установляя высшей суммой займа под личный заклад 15 руб. (700—800 руб. на наши деньги). Из одного закона 1560 г. видно, что кабальные люди, по ростовым служилым кабалам подлежали искам об уплате долга—знак, что они не стали еще крепостными людьми, а оставались закладнями с правом выкупиться в случае возможности. Из него узнаем, что иные кабальные, оказавшись несостоятельными в уплате кабального долга, сами просились в холопство полное или докладное к своим заимодавцам. Закон воспретил это, предписав попрежнему выдавать несостоятельных кабальных истцам заимодавцам „головой до искупа", до уплаты или до отработки долга. Это запрещение вместе с готовностью самих кабальных итти в полное холопство и с известием английского посла Флетчера, которому в 1588 г. сказывали в Москве, что закон дозволял кредитору продавать жену и детей выданного ему головой должника навсегда или на время—все это показывает, что кабальных тянули в разные стороны: их собственные дворовые и господские привычки к привычному полному холопству, закон ко временной некрепостной неволе. В этой борьбе закладничество на условии службы за рост переработалось, правда, в холопство, только не в полное, а в кабальное. Выдача головой до искупа при обычной несостоятельности выданных подвергала их бессрочной отработке займа. Так в кабальную службу за рост входило и погашение самого долга, личный

заклад под заем превращался в личный наем с получением наемной платы вперед. Это соединение службы за рост с погашением долга и личный характер кабального обязательства стали юридическими основами служилой кабалы, как крепости; ими полагался и предел кабальной службы. Как личное обязательство, связывавшее одно лицо с другим, служилая кабала теряла силу со смертью одной из сторон. В XVII в. встречаем по местам кабалы с обязательством кабального „у государя своего служить во дворе до своей смерти“. Но в случае смерти господина раньше холопа это условие нарушило личный характер кабалы, заставляя кабального служить жене и детям умершего как бы наследственно. Между тем было два рода дворовых слуг, для которых установился другой предел службы—смерть господина. Уже закон 1556 г. постановил, что пленник, выданный в холопство по суду, служит господину „до его живота“. С другой стороны, некоторые на том же условии поступали просто в личное услужение не только без займа, но и без найма. Встречаем служилую кабалу 1596 г., в которой вольный человек обязуется служить не за рост, без займа, „по живот“ господина, которому после своей смерти отпустить слугу на волю с женой, детьми „и что у него живота наживет, и *въ приданые* его и детей не дати за своими детьми“. Здесь перед нами три условия, в которых выражался личный характер служилой кабалы: пожизненность владения кабальным, неотчуждаемость этого владения и право кабального на добытое на службе имущество. Эти условия, также вошедшие в юридический состав кабальной службы, здесь устанавливаются договором; по крайней мере, до 1597 г. не известны указы, узаконяющие их для кабальных с воли, не для полоняников. С установлением пожизненности служилая кабала получила ха-

рактер холопьей крепости: кабальный сам по договору отказывался от права выкупиться и его неволя прекращалась только смертью или волей господина. Уже в указе 1555 г., служилая кабала является со значением *крепости*, крепостного акта, на ряду с полной и докладной, а в одном завещании 1571 г. встречаем и термин *кабальные холопы и робы* вместо обычного дотоле выражения *кабальные люди* или просто *кабальные*. Тогда же становится известна и форма служилой кабалы, державшаяся неизменно целое столетие: вольный человек, один или с женой и детьми, занимал у известного лица, обыкновенно у служилого человека, несколько рублей всегда ровно на год, от такого-то числа до того же числа следующего года, обязуясь „за рост у государя своего служити во дворе по вся дни, а полягут деньги по сроце и мне за рост у государя своего потому же служити по вся дни". Эта стереотипная форма показывает, что она составилась по норме срочной закладной с закладом лица, а не вещи, и с предвидением просрочки. Такие закладныя не редки и сходны со служилыми кабалами в условиях и даже в выражениях. В 1636 г. отец отдал заимодавцу своего сына „на год служить" с обязательством в случае неуплаты денег в срок отпустить сына к заимодавцу „во двор".

Указ 1597 г.

В таком положении нашел кабальное холопство указ, объявленный Холопьему приказу 25 апр. 1597 г. Целью его было упорядочить холоповладение, установить прочный порядок его укрепления. В юридический состав кабальной крепости он не вносил ничего нового, только утвердив и формулировав сложившиеся уже отношения. Постановив, что законную силу имеют только служилые кабалы, записанные в московские кабальные книги Холопьяго Суда и в городах у приказных людей, закон предписывает кабальным

людям со своими женами и детьми, поименованными в их кабалах, оставаться в холопстве по тем кабалам, как и по докладным, т.-е. до смерти своих господ, и если кабальные будут предлагать выкуп, господа могут денег от них не принимать, челобитья о том холопов суду не слушать, а выдавать их в службу по тем кабалам до смерти их господ; дети кабального, записанные в его кабале или родившиеся во время его холопства, крепки отцову государю так же до его смерти. Но в этом законе есть и новые постановления, вскрывающие закулисную игру господствующих классов насчет свободного труда. Рядом с кабальными тогда существовали вольные слуги, служившие без кабал, как вольнонаемная прислуга, или „добровольные холопы“, как называют их документы. Иные служили так лет по 10 и больше, не желая давать на себя кабал своим хозяевам и сохраняя за собой право, признанное указом 1555 г., отойти от них, когда захотят. Апрельский закон 1597 г. назначил срок для такой добровольной службы—меньше полугода: прослуживший полгода или больше обязан был давать на себя кабалу государю, который его „кормил, одевал и обувал“. Карамазин вполне верно оценил это постановление, назвав его законом, „недостойным сего имени своею явною несправедливостью“, изданным „единственно в угодность знатному дворянству“. Однако это стеснение вольной службы не обошлось без законодательных колебаний: боярский царь Василий Шуйский воротился было к закону 1555 г., но Боярская дума восстановила полугодовой срок добровольной службы, а Уложение сократило и этот короткий срок наполовину. В указе 1597 г. есть и другое постановление, показывающее, чьи интересы брали верх при слабом царе Федоре. Закон 1560 г., противодействуя расширению полного холопства, как я уже говорил, запретил несостоятель-

ным кабальным людям продаваться в полные и докладные холопы своим заимодавцам; по закону 1597 г. беглым кабальным, пойманным их господами, разрешено было переходить в более тяжкую неволю к своим господам, если сами того желают. Апрельский указ скорее отягчил, чем облегчил крепостную неволю. Наблюдательный монах, келарь Авраамий Палицин помогает объяснить такое направление законодательства. По его словам, при царе Федоре вельможами, особенно родней и сторонниками всесильного правителя Годунова, как и большим дворянством, обуяла страсть порабощать, кого только было можно: завлекали в неволю всячески, ласками, подарками, вымогали „написание служивое", служилую кабалу, силою и муками; иных зазывали к себе „винца токмо испить"; выпьет неосторожный гость три-четыре чарочки—и холоп готов: „о трех или четырех чарочках достоверен неволею раб бываше тем". Но умер царь Федор, воцарился Борис и наступили страшные голодные годы. Господа осмотрелись и, увидав, что не могут прокормить многочисленной челяди, одних отпускали на волю, других прогоняли без отпускных, третьи разбегались сами, и все это живое богатство, так грешно нажитое, рассыпалось и пошло прахом, а в смуту многие брошенные холопы зло отплатили своим господам.

Сближение ссуднаго крестьянства и кабального холопства.

Я коснулся истории кабального холопства настолько, чтобы объяснить его действие на судьбу владельческих крестьян. При первом взгляде трудно заметить точки соприкосновения между столь различными общественными состояниями, как холоп и крестьянин: один был человек нетяглый, другой тянул тягло; один работал на господском дворе, другой на господской земле. Но в господине и заключалась точка соприкосновения: он служил общим узлом юридических и хозяйственных отношений того и

другого, распоряжался тем и другим. По воцарении новой династии, как мы видели (конец лекции XXXVII), отношение крестьян к земле и к землевладельцам оставалось неопределенным. Закон царя Василия 1607 г. о личном прикреплении по писцовым книгам в смуту утратил силу. В селе действовали порядки, установившиеся к началу XVII в. Крестьянские договоры совершались на прежних условиях добровольного соглашения: крестьянам „изделья на меня делать по порядным записям, как яз с ними уговор учиню полюбовно и в записех напишем“ — так писали в договорах. При переходе имений из рук в руки крестьяне, не связанные давностью или обязательствами по ссуде, могли уходить, куда хотели, новым владельцам до них и до их животов дела не было, „отпустить их совсем“, как писалось в актах. При этом крестьяне *старинные*, родившиеся на своих участках или за своими владельцами, и *старожильцы*, отсидевшие десятилетнюю давность, оставались на своих местах, а новопосаженных со ссудой владелец, их посадивший, увозил к себе в другое свое имение. Крестьяне продолжали отрабатывать рост за полученную ссуду издельем, барщиной. Эта отработка роста и стала сближать ссудное крестьянство с кабальным холопством. Изделье крестьянина было такой же личной работой на господина, как и служба кабального за рост; только последний служил во дворе, а первый работал на двор, „ходил во двор, дворовое дело делал“, как писалось в порядных грамотах. Хозяйственная близость вела и к юридическому сближению. Как скоро в праве установилась мысль, что кабальное обязательство простирается не только на действие, но и на лицо кобального, делая его крепостным, эта мысль настойчиво стала пробивать себе путь в сознание землевладельцев и в их отношение к

крестьянам. Такое распространительное понимание крестьянских отношений облегчилось и с холопьей стороны: движение крестьянства в сторону холопства встретилось с противоположным движением холопства в сторону крестьянства. Подле крестьянина-хлебопашца, исполнявшего работу на барский двор, появляется дворовый, становившийся хлебопашцем. Смутное время пронеслось по стране ураганом, который вымел массы крестьянства из центральных областей государства. Почувствовалась острая нужда в рабочих земледельческих руках, которая заставила землевладельцев обратиться к старинному испытанному средству, искать новых рук для сельской работы в холопстве. Они начали сажать своих дворовых людей на пашню, давать им ссуду, обзаводить их дворами, хозяйством и земельными наделами. При этом с холопом заключали особый договор, который подобно крестьянскому назывался *ссудной записью*. Так, среди холопства возник сельский класс, получивший название *задворных людей*, потому что они селились особыми избами „за двором" землевладельца. Этот класс появляется еще во второй половине XVI века: в актах 1570—1580-х гг. встречаем „задворья", „задворные дворишки" за большим барским двором. Численность этого несвободного сельского класса заметно растет в продолжение XVII в. В поземельных описях первой половины века они отмечаются не часто, но во второй половине являются во многих местностях обычной и значительной составной частью земледельческого населения. В Белевском уезде по переписи 1630-х годов, «людские», холопьи дворы, которые далеко не все принадлежали задворным, составляли немного менее 9% всего земледельческого населения, крестьянского, бобыльского и холопьяго, жившего на землях служилых землевладельцев особыми

Задворные люди.

дворами; по переписи 1687 г. одних задворных значилось 12%. С течением времени к ним присоединилась и часть господской дворни, *деловые люди*, которые в переписях прописывались живущими в помещиковых и вотчинниковых дворах, но состояли в хозяйственном и юридическом положении, совершенно одинаковом с задворными людьми. Задворные выходили из всех разрядов холопства, преимущественно из холопства кабального. Но положение задворного человека, как холопа-хозяина, двоовладельца, имело и некоторое юридическое действие: задворный человек по закону 1624 г. сам своим имуществом отвечал за свое преступление, а не его господин. Значит, его имущество признавалось его собственностью, хотя бы и не полной. Задворный и укреплялся особым способом: он давал на себя ссудную запись, не только селясь за барским двором с воли, но и при переходе за барский двор из дворового холопства. Таким образом задворная запись создавала особый вид холопства, служивший переходом от дворовой службы на крестьянскую пашню.

Крепостная крестьянская запись.

В одной грамоте 1628 г. помещик пишет, что въ заселенную им пустошь он „своих дворовых кабальных и старинных людей во крестьяне посадил и ссуду им давал“. Это не значит, что он сделал своих холопов настоящими крестьянами: такая перемена положения выводила холопа на волю и превращала его из нетяглого человека в податного хлебопашца; ни то, ни другое не было выгодно владельцу. И прежде холопов сажали на пашню: это был привычный прием частного землевладельческого хозяйства. Но прежде не говорили при этом, что сажали холопов „во крестьяне“. *Посадить* холопа *во крестьяне*—выражение, взятое не из права, а из новой практики поземельных отношений, и показывает, насколько тогда ссуд-

ный крестьянин приблизился к холопу. Около того именно времени и в крестьянских договорах с землевладельцами появляется чисто крепостное условие. Сохранилась ссудная запись того же 1628 года, где вольный человек обязуется „за государем своим жить в крестьянех по свой живот безвыходно“. Это условие безвыходности принимало довольно разнообразной формы выражения. Прежде крестьянин, рядившийся на землю со ссудой, писал в ссудной записи, что если он уйдет, не исполнив принятых на себя обязательств, то на нем взять землевладельцу свою ссуду и пеню или неустойку „за убытки и за волокиту“, за хозяйственные потери и за издержки судебного взыскания—и только. Теперь к обязательству крестьянина уплатить неустойку за уход прибавлялось условіе: землевладельцу *государю*, „вольно меня отовсюду к себѣ взяти“, „а и впредь, таки я на том участке крестьянин и жилец и тяглец“; „а крестьянство и впредь в крестьянство“, за ту ссуду за государем мне „жить во крестьянстве вѣчно и никуды не сбежать“ и т. п. Все эти формы значили одно: крестьянин сам навсегда отказывался от права выхода, и неустойку, погашавшую обязательства договора, превращал в пеню за побег, не возвращавшую ему этого права и не уничтожавшую договора. Скоро эта безвыходность стала общим заключительным условием ссудных записей: она и составила *крестьянскую крепость* или *вечность крестьянскую*, как говорили в XVII в. Это условие впервые и сообщило крестьянской ссудной записи значение крепостного акта, утверждавшего личную зависимость без права зависимого лица прекратить ее.

Ее происхождение.

Хронологическое совпадение крестьянской крепости с посадкой холопов „во крестьяне“ в третьем десятилетии XVII в. не было случайностью: то и другое имело тесную

связь с большим тогдашним переломом в государственном и землевладельческом хозяйстве. Смута сдвинула с насиженных мест массы старожилого тяглого люда, городского и сельского, и расстроила старые земские миры, круговою порукой обеспечивавшие казне податную исправность своих членов. Одною из первых забот правительства новой династии было восстановить эти миры. На земском соборе 1619 г. было постановлено переписать и разобрать тяглых обывателей и при этом беглецов возвратить на старые места жительства, а закладчиков повернуть в тягло. Долго это дело не удавалось по негодности исполнителей, писцов и дозорщиков. Эта неудача вместе с большим московским пожаром 1626 г., истребившим поземельные описи в столичных приказах, понудила правительство предпринять в 1627—1628 гг. новую общую перепись по более широкому и обдуманному плану. Книги этой переписи имели полицейско-финансовое назначение привести в известность и укрепить на местах податные силы, какими могла располагать казна; с этой целью пользовались ими по отношению к крестьянам и впоследствии, со времени Уложения. Переписью проверялись действовавшие поземельные отношения между крестьянами и владельцами, разрешались столкновения, спорные случаи; но она не вносила в эти отношения новых норм, не устанавливала этих отношений, где их не было, предоставляя это добровольному частному соглашению сторон. Однако „писцовая записка“ по месту жительства давала общую основу для таких соглашений, регулировала их и косвенно их вызывала. Бродячий вольный хлебопашец, застигнутый писцом на земле владельца, куда он забрел для временной „крестьянской пристани“ и за ним записанный, волей-неволей рядился к нему в крестьяне на условиях добровольного соглашения и вдвойне ук-

реплялся за ним, как этой писцовой, так и порядной записью, какую дагал на себя. Здесь обращают на себя внимание договоры прямо с кабальными условиями. Одни, прежде чем порядиться в крестьяне, по несколько лет жили у землевладельцев „добровольно", без записи, как это делали кабальные. Другие, рядясь без ссуды, писали в записях, что они впредь обязуются жить со своими господами во крестьянстве по их господскую смерть, а как их, господ, судом Божиим в животе не станет, вольно им, крестьянам, прочь отойти, куда похотят: это—основное условие служилой кабалы. Иной, как в приведенной порядной 1628 г., обязывался „за государем своим жить во крестьянех по *свой* живот безвыходно": так иногда рядились и кабальные. Но обыкновенно крестьяне рядились „с воли" по-прежнему со ссудой, которую иногда обязывали возвратить „всю сполна" в срок, иногда с рассрочкой, „исподволу"; чаще же всего договоры умалчивали об этом предмете и обусловливали возврат ссуды только неисполнением хозяйственных обязательств крестьянина или его побегом. Как ни были разнообразны, запутаны и сбивчивы условия крестьянских записей того времени, в них все же можно разглядеть основные нити, из которых сплеталась крестьянская крепость: то была *полицейская приписка* по месту жительства, *ссудная задолженность, действие кабального холопства и добровольное соглашение*. Первые два элемента были основными источниками крепостного права, создававшими землевладельцу возможность приобрести крепостную власть над крестьянином; вторые два имели служебное значение, как средства действительного приобретения такой власти. В крестьянских договорах можно, кажется, уловить самый момент перехода от воли к крепости, и этот момент указывает на связь этого перехода с

Ее условия.

общей переписью 1627 г. Самая ранняя из известных порядных с крепостным обязательством относится к тому самому 1627 году, когда предпринята была эта перепись. Здесь „старые“ крестьяне помещика заключают с ним новый договор с условием от него «не сойти и не сбежать, оставаться крепкими ему во крестьянстве». Как у старых крестьян, у них были определенные, установившиеся отношения к помещику; может быть, по старожильству они и без того уже были безвыходными сидельцами на своих участках, не могли рассчитаться по полученным когда-то ссудам; в других порядных крестьяне прямо обязываются своему старому помещику быть крепкими „попрежнему“. Значит, новое крепостное условие было только юридическим закреплением фактически сложившегося положения. Полицейское прикрепление к тяглу или к состоянию по месту жительства поднимало вопрос об укреплении крестьянина за владельцем, на земле которого он записан. Готовых юридических норм для этого не было и их по сходству хозяйственных отношений стали заимствовать из сторонних образцов, из служилой кабалы или задворной ссудной записи, комбинируя в разных местах различно по добровольному соглашению условия крестьянского тягла и дворовой службы. К такому смешению разнородных юридических отношений вел самый перелом, совершавшийся после смуты в землевладельческом хозяйстве. Прежде предметом сделки между крестьянином-съемщиком и землевладельцем служила земля под условием выдела доли произведений земли или равноценного ей денежного оброка в пользу землевладельца. Ссуда вовлекала в расчет еще и личный крестьянский труд на землевладельца, барщину, как дополнительную повинность за долг, и даже крестьянское имущество: инвентарь, создавшийся с

помощью ссуды. После смуты условия поземельного учета еще изменились: опустелая земля упала в цене, а крестьянский труд и барская ссуда вздорожали; крестьянин нуждался больше в ссуде, чем в земле, землевладелец искал больше работника, чем арендатора. Этой обоюдной нуждой можно объяснить одну запись 1647 г., когда крестьянская крепость уже упрочилась и из личной превращалась в потомственную: здесь не крестьянин дает обязательство не уходить от помещика, а помещик обязуется не сгонять крестьянина с его старого обстроенного жеребья—иначе вольно ему, крестьянину, от помещика „прочь отойти на все четыре стороны". Та же обоюдная нужда со временем под давлением общей переписи 1627 г. превратила крестьянские порядныя из договоров о пользовании господской землей в сделки на обязательный крестьянский труд, а право на труд стало основой власти над личностью, над ее волей; да и самая эта перепись, как увидим, была вызвана потребностью казны перенести податное поземельное обложение с пашни на самого хлебопашца. В новом складе хозяйственных отношений стали мешаться прежние юридические состояния: холопы переходили в крестьянство и наоборот, дворовые принимались за крестьянскую пашню, а пашенные крестьяне делали дворовое дело, и из этого смешения вышла крестьянская крепость.

Государство и землевладельцы.

Закон и помещик, повидимому, поддерживали друг друга в погоне за крестьянином. Но согласие было только наружное: обе стороны тянули в разных направлениях. Государству нужен был усидчивый тяглец, которого всегда можно было бы найти по писцовой книге на определенном участке и который частными обязательствами не ослаблял бы своей податной способности, а помещик искал пахотного холопа, который делал бы исправно „дело его помещицкое,

пашенное и гуменное и дворовое“ и оброк платил бы, которого сверх того можно было бы при случае продать, заложить и в приданое отдать без земли. Правительству первого царя новой династии, избранного при поддержке высшей церковной иерархии и дворянства, но связанного обязательствами перед боярством, в крестьянском деле пришлось сводить счеты и с крупным землевладением, боярским и церковным, и с мелким дворянством. Пользуясь тяжелым положением податного населения после смуты, крупные землевладельцы, бояре, архиереи, монастыри оттянули у казны к себе в льготные закладчики, под свою сильную „заступу“, множество тяглого люда, в том числе и крестьян. Земский собор еще 3 Июля 1619 г. постановил: «тем закладчикам быть попрежнему, где кто был наперед сего», поворотить их в тягло на прежние места. Но целых 30 лет властная знать обоего чина, белого и черного, отбивалась от этого соборного приговора всей земли, и только в Уложении 1649 г. дворянские и посадские выборные люди провели решительные статьи о конфискации боярских и церковных слобод, населенных закладчиками. В отношении к крестьянам законодательству предстояло рѣшить много вопросов; но оно не спешило с этим делом. Около Михаила, царя совсем несериозного, не стояло ни одного сериозного государственного человека, и правительство шло за текущими делами, не обгоняя их и предоставляя самой жизни завязывать узлы, с которыми не знали что̀ делать дальнейшие поколения. С появлением крепостного обязательства в крестьянских договорах законодательству необходимо было разграничить точною межой интересы государственный и частный. Писцовая книга крепила крестьянина к состоянию, к тяглу по месту жительства, ссудная запись к лицу по личному договору. Эта двойственность отразилась

в крестьянских записях шаткостью крепостной формулы. Чаще всего крестьянин неопределенно говорит, что он „по сей записи и впредь за государем своим во крестьянех крепок“. Нередко крестьянин прикрепляется к лицу по земле без обозначения определенного участка: крестьяне обязывались жить за государем своим в таком-то селе или „где он нам укажет“, крестьянин рядился на крестьянский участок, на который „он, государь, меня пожалует по моей силе, на которой я измогу“. Реже крестьянин укреплялся своему государю „по своему тяглому участку и по сей записи“, соединяя личное укрепление с поземельным, с сиденьем на известном тяглом участке, сбязуясь жить на том участке безвыходно и „с того участка никуда не сойти“. Наконец, еще реже, и то уже к концу XVII в., встречаем прикрепление к месту, к поселку, независимо от лица владельца; в ссудной записи 1688 г. к обычному крепостному обязательству крестьянина жить за владельцем в такой-то деревне прибавлено условие—жить тому крестьянину в той деревне «и впредь за кем та деревня будет». Точно так же закон не устанавливал ни срока крестьянской крепости, ни размеров повинностей, из нее вытекавших, предоставляя все это добровольному соглашению, а ссудные записи здесь, как мы видели, придерживались неопределенных условий служилой кабалы. В некоторых местах, судя по сохранявшимся порядным записям Залесской половины Шелонской пятины 1646—1652 гг., точно определялась барщина: бобыль обязывался работать на боярина, „делать боярское дело по одному дню пешему“ в неделю, крестьянин по одному или по два дня с „лошадью“ либо одну неделю по одному дню, а другую по два. Но это были местные обычаи, сложившиеся независимо от законодательной нормировки поземельных отношений. Стереотипной общей нормой было

глухое обязательство крестьянина „помещицкое всякое дело делать и оброк платить, чем он меня пожалует, по моему участку изоброчить с соседы вместе“, или „помещика во всем слушати, пашню на него пахати и дворовое дело делати“ и т. п. Так беспорядочной борьбе частных интересов предоставлено было решение одного из важнейших вопросов государственного порядка—о пределах права землевладельца на труд его крепостного крестьянина. Это была либо недоглядка, либо малодушная уступка небрежного законодательства интересам дворянства, которое, как сильнейшая сторона, не преминуло воспользоваться своим преимуществом.

Отмена урочных лет.

Другой правительственной уступкой дворянству в крестьянском деле была отмена *урочных лет*, давности для исков о беглых крестьянах. С начала XVI в. действовал пятилетний срок, сменившийся по закону 1607 г. пятнадцатилетним. Но после смуты воротились к прежнему пятилетнему. При таком коротком сроке беглый легко пропадал для владельца, который не успевал проведать беглеца, чтобы вчинить иск о нем. В 1641 г. дворяне просили царя „отставить урочные лета“; но вместо того была только удлинена исковая давность для беглых крестьян до десяти лет, для вывозных до пятнадцати. В 1645 г. в ответ на повторенное челобитье дворян правительство подтвердило указ 1641 г. Наконец, в 1646 г., предпринимая новую общую перепись, оно вняло настойчивым ходатайством дворянства и в писцовом наказе этого года обещало, что „как крестьян и бобылей, и дворы их перепишут, и по тем переписным книгам крестьяне и бобыли и их дети и братья и племянники будут крепки и без урочных лет“. Это обещание и было исполнено правительством в Уложении 1649 г., которое узаконило возвращать беглых

крестьян по писцовым книгам 1620-х годов и по переписным 1646—1647 г. „без урочных лет“. Отмена исковой давности сама по себе не изменила юридическаго характера крестьянской крепости, как гражданского обязательства, нарушение которого преследовалось по частному почину потерпевшего; она только клала на крестьянство еще одну общую черту с холопством, иски о котором не подлежали давности. Но писцовый наказ, отменяя исковую давность, при этом крепил не отдельные лица, а целые дворы, сложные семейные составы: писцовая приписка к состоянию по месту жительства, захватывавшая крестьян-домохозяев с их неотделенными нисходящими и боковыми, вместе с тем укрепляла их и за владельцем, получавшим теперь право искать их в случае побега бессрочно, как холопов, и личную крестьянскую крепость превращала в потомственную. Можно думать, впрочем, что такое расширение крестьянской крепости было только закреплением давно сложившегося фактического положения: в массе крестьянства сын при нормальном наследовании отцовского двора и инвентаря не заключал нового договора с владельцем; только когда наследницей оставалась незамужняя дочь, владелец заключал особый договор с ее женихом, входившим в ее дом, „к отца ее ко всему животу“. Наказ 1646 г. отразился и на крестьянских договорах; с того времени учащаются записи, распространяющие обязательства договаривающихся крестьян и на их семейства, и один вольноотпущенный холостой крестьянин, рядясь на землю Кириллова монастыря со ссудой, простирает принимаемые обязательства и на свою будущую жену с детьми, которых „даст ему Бог по женитьбе“. Потомственность крестьянской крепости поднимала вопрос об отношении государства к владельцу крепостных крестьян. Обеспечивая

интересы казны, законодательство еще в XVI в. прикрепило казенных крестьян к тяглу по участку или по месту жительства и стеснило передвижение крестьян владельческих. С начала XVII в. подобное же сословное укрепление постигло и другие классы. То была генеральная переборка общества по родам государственных тягостей. В отношении к владельческим крестьянам эта переборка осложнялась тем, что между казной, в интересе которой она производилась, и крестьянином стоял землевладелец, у которого были свои интересы. Закон не вмешивался в частные сделки одного с другим, пока они не нарушали казенного интереса: так допущено было в ссудные записи крепостное обязательство. Но то были частные сделки с отдельными крестьянами—дворохозяевами. Теперь бессрочно укреплялось за землевладельцами все крестьянское население их земель и с неотделенными членами крестьянских семейств. Личная крестьянская крепость *по договору*, по ссудной записи, превращалась в потомственное укрепление *по закону*, по писцовой или переписной книге; из частного гражданского обязательства рождалась для крестьян новая государственная повинность. Доселе законодательство строило свои нормы, собирая и обобщая отношения, возникавшие из сделок крестьян с землевладельцами. Писцовым наказом 1646 г. оно само давало норму, из которой должны были возникнуть новые отношения хозяйственные и юридические. Уложению 1649 г. предстояло их предусмотреть и направить.

Крепостные по Уложению.

Это Уложение по своему обычаю отнеслось к крепостным крестьянам поверхностно, даже прямо фальшиво: статья 3 главы XI утверждает, будто „по нынешний государев указ государевы заповеди не было, что никому за себя крестьян (речь идет о беглых) не приимати“, тогда

как указ 1641 г. ясно говорит: „не примай чужих крестьян и бобылей“. Почти вся XI глава Уложения трактует только о крестьянских побегах, не выясняя ни сущности крестьянской крепости, ни пределов господской власти, и набрана кой с какими прибавками из прежних узаконений, не исчерпывая, впрочем, своих источников. При составлении схемы крестьянской крепости по казуальным статьям Уложения эти узаконения помогают пополнить недомолвки неисправного кодекса. Закон 1641 г. различает в составе крестьянской крепости три основные части: *крестьянство*, *крестьянские животы и крестьянское владение*. Так как крестьянское владение значит право владельца на труд крепостного крестьянина, а крестьянские животы—это его земледельческий инвентарь со всею движимостью, „пашенной и дворовой посудой“, то под *крестьянством* остается разуметь самую принадлежность крестьянина владельцу, т. е. право последнего на личность первого независимо от хозяйственного положения и от употребления, какое делал владелец из крестьянского труда. Это право укреплялось прежде всего писцовыми и переписными книгами, а также и „иными крепостями“, где крестьянин или его отец написан за владельцем. Безвредное пользование этими тремя составными частями крестьянской крепости зависело от степени точности и предусмотрительности, с какою закон определял условия крестьянского укрепления. По Уложению крепостной крестьянин наследственно и потомственно был крепок *лицу*, физическому или юридическому, за которым его записала писцовая или однородная с ней книга; он был этому лицу крепок *по земле*, по участку в том имении, в поместье или вотчине, где его заставала перепись; наконец, он был крепок состоянию, крестьянскому тяглу, которое он нес по своему земельному участку. Ни одно из этих

условий не проведено в Уложении последовательно. Оно запрещало переводить поместных крестьян на вотчинные земли, потому что это разоряло государственные имущества, какими были поместья, запрещало владельцам брать служилые кабалы на своих крестьян и их детей и отпускать поместных крестьян на волю, потому что тот и другой акт выводил крестьян из тяглого состояния, лишая казну податных плательщиков; но рядом с этим оно разрешало увольнение вотчинных крестьян (XI, 30; XX, 113; XV, 3). Кроме того, Уложение молчаливо допускало или прямо утверждало совершавшиеся в то время между землевладельцами сделки, которые отрывали крестьян от их участков, допускало отчуждения без земли и притом с отнятием животов, даже предписывало переводы крестьян от одного владельца к другому без всякого повода с крестьянской стороны, по вине самих господ. Дворянин, продавший после переписи свою вотчину с беглыми крестьянами, подлежавшими возврату, обязан был вместо них отдать покупщику из другой своей вотчины „таких же крестьян", неповинных в плутне своего господина, или у помещика, убившего без умысла чужого крестьянина, брали по суду его „лучшего крестьянина с семьей" и передавали владельцу убитого (XI, 7; XXI, 71). Закон оберегал только интересы казны или землевладельца; власть помещика встречала законную преграду только при столкновении с казенным интересом. Личные права крестьянина не принимались в рассчет; его личность исчезла в мелочной казуистике господских отношений; его, как хозяйственную подробность, суд бросал на свои весы для возстановления нарушенного равновесия дворянских интересов. Для этого даже разрывали крестьянские семьи: крепостная беглянка, вышедшая замуж за вдовца, кре-

стьянина или холопа чужого господина, выдавалась своему владельцу с мужем, но дети его от первой жены оставались у прежнего владельца. Такое противоцерковное дробление семьи закон допускал совершать безразлично над крестьянином так же, как и над холопом (XI, 13). Один из наиболее тяжелых по своим следствиям недосмотров Уложения состоял в том, что оно не определяло точно юридического существа крестьянского инвентаря: ни составители кодекса, ни пополнявшие его соборные выборные, среди которых не было владельческих крестьян, не сочли нужным ясно установить, насколько „животы" крестьянина принадлежат ему и насколько его владельцу. Неумышленный убийца чужого крестьянина, свободный человек, платил „кабальные долги" убитого, подтверждаемые заемными письмами (XXI, 71). Значит, крестьянин, как будто считался правоспособным входить в обязательства по своему имуществу. Но крестьянин, женившийся на беглой крестьянке, выдавался вместе с женой ее прежнему владельцу без животов, которые удерживал за собой владелец ее мужа (XI, 12). Выходит, что инвентарь крестьянина был только его хозяйственной принадлежностью, как крестьянина, а не его правовою собственностью, как правоспособного лица, и крестьянин терял его даже в том случае, когда женился на беглянке с ведома и даже по воле своего владельца.

Крестьянские животы.

Практика, вскрывающаяся в частных актах, выясняет эту двусмысленность закона. Здесь видим состав и с некоторых сторон самое юридическое значение крестьянских животов. Это—земледельческий инвентарь, деньги, скот, хлеб сеяный и молоченый, „платье всякое и всякий домовый запас". Из порядных записей видим, что крестьянские животы переходили от крестьянина к его сыновьям,

жене, дочери в виде наследства, к зятю как бы в приданое, но во всех случаях с согласия или по воле владельца. Нередко вольный холостой человек шел с пустыми руками, только „душою да телом", в дом к помещикову крестьянину „в годы и в животы", женясь на его дочери и обязуясь у тестя жить в одном дворе известное число лет, например, 8 или 10, с правом, отжив урочные лета, отделиться и взять у тестя или после него у его сына половину или треть во всем, не только в животе, но и „в хоромах и в земле, в полевой пашне и в огородах". Точно так же женились на крестьянских дочерях и вдовах, идя в их домы к животам их умерших отцов или мужей. Этими животами „владели" крестьяне, на дочерях или вдовах которых женились пришельцы; но женихи брали эти животы вместе с невестами у их господ, к которым они при этом рядились „во крестьяне", становясь их крепостными. Такое совмещение в одном имуществе двух различных обладателей объясняется двойственным происхождением крестьянских животов: они обычно создавались трудом крестьянина с помощью барской ссуды. По Уложению, видели мы, муж беглой крестьянки терял свои животы при выдаче его владельцу своей жены. В порядных записях 1630-х годов встречаем еще более выразительные случаи, не предвиденные Уложением: беглые выдавались по суду их владельцам вместе с женами-крестьянками, на которых они женились в бегах; но имущество, унаследованное этими крестьянками от отцов или первых мужей, удерживали за собой их владельцы, разрешавшие им эти браки. Господа считали себя даже в праве отчуждать животы своих крестьян по договору с третьими лицами: в 1640 г. вольный человек, женясь на вскормленнице крестьянина, порядился в крестьяне к его владельцу по ка-

бальному праву до смерти господина, с условием, отжив урочные годы во дворе „тестя своего“, взять у него или у его сына половину живота и с женой „отойти прочь на волю“ к прямому ущербу и крестьянского двора и крестьянского общества. Очевидно, крестьянские животы — имущество, в котором различались фактическое владение и право собственности: первое принадлежало крепостному крестьянину, второе—землевладельцу. Это—нечто похожее на рабский пекулий римского права или на *отарицу* древнейшего права русского; владельческий крестьянин эпохи Уложения по имущественному своему состоянию возвращался в положение своего социального предка, ролейного закупа Русской Правды. Такие животы или *собины*, как они еще назывались в XVII в., бывали и у холопов, которые по ним могли вступать в имущественные сделки даже со своими господами: в одной служилой кабале 1596 г. холоп, обязуясь служить господину „по его живот“, обязывает и господина после своего живота отпустить его на волю с тем, что он, холоп, „у него живота наживет“. Холоп по закону не имел права собственности и мог возложить на своего господина такое обязательство только в расчете на его нравственную порядочность. Очевидно, и Уложение смотрело на животы крепостных крестьян так, как на холопьи: только при таком взгляде оно могло постановить долги дворян и детей боярских в случае их несостоятельности править в их поместьях и вотчинах на их людях, т.-е. холопах и на крестьянах (X, 262). Этим объясняется возможность упоминаемых в Уложении „кабальных долгов“ у крепостных крестьян: такой крестьянин мог по своим животам входить в обязательства и на них могли быть обращаемы иски как и на животы задворных холопов. Заслуживает внимания, что крестьян-

ский инвентарь является с характером холопьего живота в то самое время, когда в ссудную запись только что стало входить крепостное обязательство: уже в 1627—1628 гг. встречаем явки помещиков, что у них побежали их крестьяне и „снесли живота *своего*“, лошадей и пр., на такую-то сумму. Крепостное право еще не успело установиться, как государственный институт, а владельцы, называя инвентарь крестьян их животами, искали их, как *сноса*, т.-е. как своей собственности, покраденной у них беглецами. *Снос*—термин холопьего языка: это—господское имущество, которое уносил с собой или на себѣ (платье) беглый холоп. С первых же минут крепостной неволи крестьяне увидели себя прямо тяглыми холопами. Значит, признание крестьянского живота господской собственностью без точно определенного законом юридического участия в ней самого крестьянина было не следствием, а одной из основ крепостной неволи владельческих крестьян: это—норма, в какую отлилась давняя ссудная их задолженность.

Податная ответственность за крепостных.

Писцовая приписка со ссудной записью, как юридические средства потомственного укрепления крестьянина, ссуда, как экономическая основа господского права на крестьянские животы, на инвентарь крестьянина, и барское тягло за земельный надел, как источник права дискреционного распоряжения трудом крепостного—вот три узла, которые затянулись в мертвую петлю, называвшуюся *крестьянской крепостью*. Затягивая ее, законодательство руководилось не чувством справедливости, даже не расчетом общей пользы, а соображением возможности, создавало не право, а только временное положение. Такой взгляд держался еще при Петре Великом и решительно выражен крестьянином Посошковым в его книге *О скудости и богатстве*, где он пишет, что помещики владеют крестьянами временно,

„а царю они вековые“. Стало-быть, на крепостное крестьянство смотрели, как на поместные земли: это—государственное достояние, уступленное на время частным лицам и учреждениям. Но как могло правительство даже временно так доверчиво подчинить частному интересу труд огромной массы населения, которым питалось государство? Здесь недальнозоркое правительство опиралось на наличное положение дел, созданное частью законодательством, частью фактическими отношениями прежнего времени. Издавна многие землевладельцы получали право судить своих крестьян во всех делах кроме важнейших уголовных, душегубства, разбоя и татьбы с поличным. Мы видели также, что уже в XVI в. землевладелец становился посредником между своими крестьянами и казной в делах о казенных платежах и иногда платил подати за них (см. *о ссудахъ* в лекции XXXVII). В XVII в. отдельные местные явления стали обычными общими отношениями. С переписи 1620-х гг. к судебной власти владельца присоединился еще полицейский надзор за крестьянами, которые за ним были записаны. С другой стороны, хозяйственный быт владельческих крестьян посредством ссуд, льгот, изделий и оброков так перепутался с барским хозяйством, что здесь обеим сторонам стало трудно разграничиться. В столкновениях владельческих крестьян со сторонними людьми, особенно в поземельных спорах, землевладелец, естественно, становился впереди своих крестьян, как собственник спорного предмета. Уложение (XIII, 7) только отмечает, как общий, давний и привычный факт своего времени, что „за крестьян своих ищут и отвечают они же, дворяне и дети боярские, во всяких делех, кроме татьбы и разбоя и поличного и смертных убийств“; значит, землевладельцы представляли своих крестьян в тех судных делах с посторонними, в ко-

торых сами судили своих крестьян. Вотчинный суд, полицейский надзор и ходатайство по делам своих крестьян были судебно-административные отправления, в которых землевладелец заменял правительственного чиновника, и имели значение скорее обязанностей, чем прав. К этим трем функциям, восполнявшим недостаток правительственных орудий, прибавилась четвертая, направленная к обезпечению казенного интереса. Крестьянская крепость была допущена под условием, чтобы тяглый крестьянин, став крепостным, не переставал быть тяглым и способным к государственному тяглу. Крестьянин тянул это тягло со своего тяглого участка за право земледельческого труда. Как скоро крестьянский труд был отдан в распоряжение владельца, на последнего переходила обязанность поддерживать его тяглоспособность и отвечать за его податную исправность. Это делало землевладельца даровым инспектором крепостного труда и ответственным сборщиком казенных податей со своих крестьян, а эти подати превращало для крестьян в одну из статей барского тягла, как крестьянское хозяйство, с которого шли эти подати, входило в состав барского имущества. За беглых крестьян владелец платил подати до новой переписи. Уложение признает уже установившимся порядком правило „имати за крестьян государевы всякие поборы с вотчинников и помещиков", а за держание беглых назначает одно общее взыскание с приемщика, как за государевы подати, так и за вотчинниковы помещичьи доходы „по десяти рублев на год" (XI, 6 и 21).

Отличия крестьянства от холопства.

Законодательное признание податной ответственности землевладельцев за своих крестьян было завершительным делом в юридической постройке крепостной неволи крестьян. На этой норме помирились интересы казны и землевладельцев,

существенно расходившиеся. Частное землевладение стало рассеянной по всему государству полицейско-финансовой агентурой государственного казначейства. из его соперника превратилось в его сотрудника. Примирение могло состояться только в ущерб интересам крестьянства. В той первой формации крестьянской крепости, какую закрепило Уложение 1649 г., она еще не сравнялась с холопьей, по нормам которой строилась. Закон и практика проводили еще хотя и бледные черты, их разделявшие: 1) крепостной крестьянин оставался казенным тяглецом, сохраняя некоторый облик гражданской личности; 2) как такового, владелец обязан был обзавести его земельным наделом и земледельческим инвентарем; 3) он не мог быть обезземелен взятием во двор, а поместный и отпуском на волю; 4) его животы, хотя и находившиеся только в его подневольном обладании, не могли быть у него отняты „насильством", по выражению Котошихина; 5) он мог жаловаться на господские поборы „через силу и грабежом" и по суду возвратить себе насильственный перебор. Плохо выработанный закон помог стереть эти раздельные черты и погнал крепостное крестьянство в сторону холопства. Мы это увидим, когда будем изучать крепостное хозяйство, экономические следствия крепостного права; доселе мы изучали его происхождение и состав. Теперь заметим только, что с установлением этого права русское государство вступило на путь, который под покровом наружного порядка и даже преуспеяния вел его к расстройству народных сил, сопровождавшемуся общим понижением народной жизни. а от времени до времени и глубокими потрясениями.

Лекция L.

Господа и крепостные.—Крепостное право и земский соборъ.—Общественный состав земского собора въ XVII в.—Численный состав его.—Выборы.—Ход дел на соборах.—Политический характер соборов.—Условия их непрочности.—Мысль о земском соборе в торговых классах.—Распадение соборного представительства.—Что сделал земский собор XVII в.—Обзор сказанного.

Одним из следствий обособления сословий была новая политическая жертва, новая потеря для русского государственного порядка—прекращение *созывов земского собора*.

Господа и крепостные.

Самым едким элементом сословного взаимоотчуждения было крепостное право, составившееся из холопьей и крестьянской неволи. Нравственное действие этого права было шире юридического. Оно глубоко понизило уровень нашей гражданственности и без того очень невысокий. Все классы общества в большей или меньшей степени, прямо или косвенно, участвовали в крепостном грехе по тем или другим крепостям, привилегированные „белые" чины, светские и духовные, по ссудным записям на крестьян, по служилым кабалам и другим актам на холопов, рядовые люди и даже боярские холопы по *жилым* записям на урочные лета. Но особенно зловредно сказывалось это право на общественном положении и политическом воспитании землевладельческих классов. Допущенное законом и поддержи-

ваемое полицейской силой, крепостное право делало самих душевладельцев холопами наличной власти, расположенной к такой поддержке, и врагами всякой власти иного направления. Вместе с тем наиболее энергичным, жизненным интересом землевладельческой среды становилась мелочная сутяжная борьба господ с крепостными и друг с другом из-за крепостных; постепенно перерождаясь в глубокую социальную разладицу, эта борьба надолго задержала правильный рост народных сил, и по ее вине землевладельческое дворянство, как руководящий класс, дало извращенное уродливое направление всей русской культуре. Такое действие крепостного права уже в XVII в. обнаруживалось яркими чертами. Холопий приказ заваливался господскими явками о людских и крестьянских побегах и сносах, об их подговорах и похвальбах подметом, поклепом, поджогом, смертным убойством и всякими недобрыми делами. Явка была необходима, чтобы не отвечать за беглеца, если он в бегах начнет красть и разбивать. Бегали все, и рядовые крепостные, и приказчики над людьми и животами, служившие лет по 25, и сидевшие у господ своих „вверху у письма“, их домашние секретари. Беглые уносили и свои животы, платье, скот, и прямое господское добро, иногда на большие суммы, тысячи на две, на три (на наши деньги). Особенно старательно выкрадывали господские коробейки с людскими крепостями, чтобы скрыть исковые улики, переменив себе в бегах имена. Но изощрялись и господа: с погоней за беглецами они посылали дворовых охотничьих собак, которые при виде своих настигнутых знакомцев ласками своими выдавали их личность: „знаеде их“. Побеги совершались в одиночку и скопом семей в пять-шесть. У подьячего побежал из Суздаля крепостной с семьей, захватив господское имущество, при чем по-

кушался поджечь и госпожу свою с детьми в хоромах. Подьячий, находившийся тогда по делам службы в Москве, „побежал оттуда погоней“ за беглецами, а тотчас по его отъезде побежал с Москвы оставшийся там другой его крепостной, „поимав достальные его животы“: все это совершилось в Суздале и Москве в 8 дней. Общественные положения и отношения, сами по себе не имевшие ничего общего с крепостным правом, втягивались в него и искажались. В 1628 г. от дьяка бежал кабальный его человек Васька с женой и через 8 лет воротился к нему попом Василием, поставленным в этот сан рукою митрополита казанского и свияжского. После Уложение постановило таких священнослужителей из холопов по искам их господ отсылать к церковным властям на предмет поступления с ними „по правилам св. апостол и св. отец“ (XX, 67). Попа Василия дьяк принял, неизвестно с каким назначением, и в том же году „тот его человек поп Василий с женою сбежал от него и снес с собою его денег 28 руб.“ Условиям крепостного права было порабощено даже дело народного образования в самых элементарных его видах. Мальчика для обучения мастерству грамоты отдавали мастеру в крепостные пожилой записи на урочные годы с правом смирять ученика за ослушание „всяким смирением“. В 1624 г. московская богаделенка отдала священнику московского женского монастыря своего сына для обучения грамоте и вместе с бабушкой ученика, старицей того же монастыря, ручалась с неустойкой за его благоповедение и за то, что ученик, живя у своего учителя, будет у него „всякое дворовое дело делать“. О. Харитон обучил ученика грамоте и письму в 4 года, а крепостная запись на него взята была на 20 лет. Мать и бабушка, увидя, что о. Харитон „того малого сделал человеком, грамоте выучил, а еще 16 лет

будет томить его в крепостной неволе, решили, столкнувшись с подходящими людьми, того малого у попа скрасть и потом на нем же попе „его искать“. Исход дела неизвестен. Быт беглых, как он рисуется в актах, заставляет забывать, что имеем дело с христианским обществом, оборудованным всякими властями, церковными и полицейскими. Дворовый человек убегал, бросая жену и детей, бродил по барским усадьбам, сказываясь вольным и холостым, под чужим именем. В одной усадьбе его женили на дворовой и брали на него в Холопьем приказе служилую кабалу. Новая жена становилась ему не „в любовь“; он бросал ее и „попамятовав свой грех“, шел к прежнему барину „старой своей жены и дочери выкрадывать“, но здесь и попадался. Такую повесть читаем в одном акте 1627 г. Подобные похождения крепостных были столь обычны, что их отметило и Уложение (XX, 84).

Крепостное право и земский собор.

Закрепощение крестьян нанесло земскому представительству двойной вред, политический и нравственный. Едва земский собор стал складываться в выборное всенародное представительное собрание, как из состава его выпало почти все сельское земледельческое население. Земский собор потерял под собою земскую почву, стал представлять собою только службу и посадское тягло с их узкими сословными интересами. Принося к престолу мысль лишь немногих классов, он не мог привлечь к себе ни должного внимания сверху, ни широкого доверия снизу. Мелкие черты крепостного быта, только что приведенные мною из частных актов, самой своей мелочностью наглядно очерчивают уровень и объем тех житейских интересов и отношений, с какими приходил носитель крепостного права в среду народных представителей. В господствующем землевладельческом классе, отчужденном от остального общества своими

привилегиями, поглощенном дрязгами крепостного владения, расслабляемом даровым трудом, тупело чувство земского интереса, и дряхлела энергия общественной деятельности. Барская усадьба, угнетая деревню и чуждаясь посада, не могла сладить со столичной канцелярией, чтобы дать земскому собору значение самодеятельного проводника земской мысли и воли.

Общественный состав соборов XVII в.

„Земский собор“, „земский совет“, „вселенский собор“ Московского государства в XVII в. составлялся из „всяких чинов людей“ или „из всяких людей всех городов Российского царствия“, по выражению соборных актов. И теперь, как в XVI в., в составе земского собора различались два неравные отделения, выборное и невыборное, должностное. Это последнее состояло из двух высших правительственных учреждений, являвшихся на собор в полном и даже расширенном составе, с привлечением лиц, не входивших в их обычный состав; то были: 1) Боярская дума с дьяками из приказов и 2) Освященный собор патриарха, митрополитов и епископов, с приглашенными архимандритами, игуменами и протоиереями. Выборный состав земского собора был довольно сложен. Это происходило от дробности и разнообразия избирательных единиц или „статей“. Такими единицами были, во-первых, высшие служилые столичные чины, стольники, стряпчие, дворяне московские и жильцы, также высшие столичные торговые чины, гости и сотни гостинная и суконная (гильдии): каждый из этих чинов посылал на собор особых представителей. За столичными чинами следовало городовое, провинциальное дворянство. Здесь избирательной единицей служил не чин, а уездная сословная корпорация, состоявшая из трех чинов, выбора, дворян и детей боярских; только в двух областях, Новгородской и Рязанской, изби-

рательными округами являются не целые уезды, а их части, в первой пятины, во второй восемь станов. Люди служилые *приборные*, не принадлежавшие к потомственному дворянству, в том числе и служилые иноземцы, посылали на собор выборных—столичные от своих строевых частей, например, стрельцы от стрелецких приказов, поляков, уездные от подгородных слобод, какими они были там расселены, стрелецких, казачьих, пушкарских. Проще было представительство тяглого населения: здесь господствовала территориальная избирательная единица, местное общество или скученный земский мир, а не чиновная курия или разбросанная сословная корпорация. Посад г. Москвы, точнее, посады делились на „черные сотни и слободы"; последних считалось в первой половине XVIII в. 33. На соборах встречаем выборных от черных сотен Дмитровской, Покровской, Сретенской, от полусотен Кожевницкой, Мясницкой, от слобод Огородной, Садовой, Ордынской, Кузнецкой. Названия этих обществ, доселе сохраняющиеся за московскими улицами, указывают как на территориальное, так и на промысловое, цеховое их значение. Провинциальные, „городовые" посады представляли цельные избирательные округа. Итак соборные представители выбирались от высшего столичного дворянства и купечества по *чинам*, от дворян городовых по сословным *корпорациям*, от приборных служилых людей в столице по *строевым частям*, от приборных городовых, как и от всех тяглых людей, столичных и городовых по *мирам*. На соборе 1613 г. сверх перечисленных классов видим еще выборных от городового духовенства и от „уездных людей", т.-е. сельского населения. Трудно угадать порядок их выборов. Под грамотой об избрании царя Михаила протопоп г. Зарайска руку приложил за себя «и в выборных по-

садских попов и уездных место». Но как получили свои полномочия эти выборные городские и сельские священники с соборным протоиереем во главе, на общем ли съезде всего зарайского духовенства, образовавшего уездную духовную курию, или как иначе,—этого из документа не видно. Еще труднее уяснить себе представительство уездных людей. В уезде, особенно на пристепном юге и юго-востоке, жили иногда крупными поселениями приборные служилые люди, именно казаки. Но они причислялись к городовым, а не к уездным людям и в подписях под грамотой 1613 г. подобно другим приборным так прямо и прописываются своим специальным казачьим званием. Значит, под уездными людьми остается предполагать крестьян; потому, вероятно, они, как неслужилые тяглые люди, в этих подписях и стоят всегда рядом с посадскими. Но их здесь встречаем в таких уездах, как Коломенский, Тульский, где уже в конце XVI в. по писцовым книгам незаметно казенных крестьян. Значит, в уездных людях избирательного собора можно предполагать и крестьян владельческих: следовательно в 1613 г. они еще признавались вольными, государевыми. В северных „поморских“ городах, где было слабо или совсем отсутствовало служилое землевладение, уездные крестьяне в делах по земскому хозяйству и по отбыванию казенных повинностей смыкались в одно общество с посадскими людьми своего города, составляли с ними один земский уездный мир, посылая в городскую земскую избу, управу, „к совету“, для совместных совещаний, своих выборных поверенных. Так поступали они и при выборе соборных представителей, среди которых потому могли являться и уездные крестьяне. Так ли было и в южных городах в 1613 г., или уездные крестьяне образовали там особую от посада избирательную

курию, сказать не умею. Но на дальнейших земских соборах выборные представители духовенства и уездных людей исчезают, и соборы теряют всесословный состав.

Численный состав.

Число выборных от каждой избирательной статьи изменялось и не имело значения. На соборе 1619 г. было приговорено созвать в Москву новый собор, выбрав из всякого города от духовных людей по человеку, от дворян и детей боярских по два человека, да по стольку же от посадских людей, а на собор 1642 г. призывали „из больших статей", людных курий, от 5 до 20 выборных, а „не изо многих людей" от 2 до 5 человек. На собор 1648 г. указ призывал от московских служилых чинов и от провинциальных дворянских корпораций „больших городов" по два представителя, „из меньших" по одному, от городовых посадов и от столичных черных сотен и слобод тоже по одному, от высших сотен по два и от гостей троих. Полноты и однообразия представительства не добивались или не умели добиться. На соборе 1642 г. встречаем среди 192 выборных его членов 44 депутата от столичных служилых чинов, именно 10 стольников, 22 столичных дворянина, 12 жильцов, а на собор 1648 г., один из самых людных и полных, на котором было не менее 290 выборных членов, от столичных служилых чинов призвано было только 8 представителей. На соборах, состав которых известен, отсутствует целый ряд дворянских корпораций и посадов, потому что на местные дворянские съезды являлись немногие люди и выбрать было „не от чего" или из посадских людей выбрать было „не из кого", посадских людей в городе мало или совсем нет, „а которые, писал воевода, посадские людишки есть, и они в твоем, государь, деле на кабаке и в таможенном сборе в целовальниках". Вообще состав собора был очень изменчив, лишен твердой, устой-

чивой организации. В этом отношении трудно подобрать два собора, похожие друг на друга, и едва ли хоть на одном соборе встретились выборные от всех чинов и уездов, из всех избирательных статей. На соборе 1648 г. присутствовали выборные от дворян и посадских людей из 117 уездных городов, а на соборе 1642 г. только выборные от дворян и только из 42 городов. При спешном созыве считали даже достаточным присутствие на соборе выборных от областных дворян, в данную минуту отбывавших в Москве очередную службу, а иногда собор составлялся только из столичных чинов. В 1634 г. царь по делу о новом налоге на военные надобности 28-го января указал быть собору, а на другой день собрался и самый собор; на нем среди других столичных чинов присутствовали „дворяне, которые на Москве".

Выборы.

Выборные члены собора избирались на местных сходах и съездах, в уездных городах по призыву и под надзором городовых воевод. Указы предписывали выбирать „лучших людей, добрых, умных и постоятельных". Это значило, что требовались люди состоятельные, исправные и смышленые; потому старались выбирать из лучших статей: например, провинциальные дворяне выбирали советных людей на собор из высшего городового чина, называвшегося *выбором*. Грамотность не была непременным условием избираемости. Из 292 выборных на соборѣ 1648 г. об 18 членах неизвестно, были ли они грамотны; из остальных 274 человек 141, т.-е. больше половины было неграмотных. Избирательный протокол, подписанный избирателями, „выборный список за руками", передавался воеводе, как ручательство за годность избранников „к государеву и земскому делу". Воевода отсылал выборных вместе со своей отпиской в Москву в Разрядный приказ, где проверяли правильность

выборов. Один воевода отписал в Москву, что он исполнил царский указ, послал на собор 1651 г. двоих лучших дворян своего уезда, а касательно двух лучших посадских людей, сообразив, что в его городе и всего-то налицо только три посадских человека, да и те худы, бродят меж двор и к такому делу непригодны, сам назначил представлять посад на соборе сына боярского да пушкаря. За это дьяк Разрядного приказа, оберегая свободу земских выборов, положил на отписке строгую помету: послать воеводе грамоту „с осудом", с выговором—„велено дворянам промеж себя выбрать дворян добрых, а не ему воеводе выбрать, и за то его осудить гораздо; да он же воевода сглупил, мимо посадских людей прислал в их место сына боярского да пушкаря". Не видно, чтобы выборные приносили на собор письменные инструкции, наказы от своих избирателей. Только в 1613 г. временное московское правительство в грамотах по городам о присылке выборных для избрания царя писало, чтобы эти выборные договорились со своими избирателями накрепко и взяли у них о царском избрании „полные договоры". Это был случай исключительной важности, требовавший всенародного единодушия и непосредственного народного голоса. Потому и кн. Пожарский с Мининым в 1612 г., идя выручать Москву и созывая земский собор, писал, чтобы города прислали с выборными „совет свой за своими руками", письменные подписанные избирателями указания, как им, вождям земского ополчения, против общих врагов стоять и выбрать государя. Акты обыкновенных соборов не упоминают о письменных наказах, и выборные на них не ссылаются. Депутату предоставлялся известный простор, а курский дворянский представитель на соборе 1648 г. даже выступил обличителем своих земляков, в докладной записке государю „курчан

весь город всяким дурном огласил“, обвинив их в зазорном провождении церковных праздников. Такая ревность о благоповедении была превышением депутатских полномочий, вызвавшим горячий протест курчан, которые грозились „всякое дурно учинить“ над обличителем. Самый источник полномочий обязывал соборного представителя и без формального наказа действовать в согласии с избирателями, быть ходатаем „о нужах своей братии“, какие были ему заявлены при избрании, и из дела того же курского депутата видим, что избиратели считали себя в праве требовать отчета от своего выборного, почему на соборе не о всех нуждах земских людей по их челобитью государев указ учинен. Так понимало соборного представителя и само правительство. В 1619 г. оно призывало выборных от духовенства, дворянства и посадского населения, „которые бы умели рассказать обиды, насильства и разорения“, чтобы царю „всякие их нужи и тесноты и всякие недостатки были ведомы“, и царь, выслушав от них челобитья, учал бы „промышлять об них ко всему добру“. Выборный народный челобитчик на земском соборе XVII в. сменил собою правительственного агента XVI в.; соборное челобитье стало нормой народного представительства, высшим порядком законодательного взаимодействия верховной власти и народа, и мы уже знаем, как много пополнен и исправлен был этим порядком плохой канцелярский проект Уложения 1649 г.

Ход дел на соборах.

В таком отношении к власти со стороны народного представительства не могло быть ничего требовательного, обязующего власть, ничего юридического: соборные вопросы могли решаться обеими сторонами только путем обоюдного обмена психологических настроений. Это сказывалось и в порядке обсуждения соборных вопросов. Избирательный собор 1613 г., как исключительный, имевший учредитель-

ное значение, конечно, не может быть вводим в общую норму. Собор созывался всякий раз особым царским указом. Только однажды Освященный собор взял на себя официальный почин в деле. Когда воротившийся из плена отец царя Михаила в 1619 г. был посвящен в патриархи, он с духовными властями приходил к царю и советовался с ним о разных нестроениях в Московском государстве. Царь с отцом своим и со всем Освященным собором, с боярами и со всеми людьми Московского государства, „учиня собор", говорили, как бы то все исправить и землю устроить. Этот случай объясняется тем, что патриарх был не только председателем Освященного собора, но и государем-соправителем. Обыкновенно царь указывал по возникшему делу „учинити собор" и открывал его (в Столовой избе или в Грановитой палате) тем, что сам „говорил на соборе" или по его приказу и в его присутствии думный дьяк „читал всем людям вслух письмо" или „речь" с изложением предмета, который подлежал соборному обсуждению. Так на соборе 1634 г. было объявлено, что для продолжения войны с Польшей нужен новый чрезвычайный налог, без которого государевой денежной казне „быть не уметь". Царское предложение оканчивалось заявлением собору, что государь „то ваше вспоможение учинит памятно и николи незабытно и вперед учнет жаловать своим государским жалованьем во всяких мерах". Все соборные чины, среди которых незаметно городовых, в ответ на прочитанную речь „говорили на соборе, что они денег дадут, смотря по своим пожиткам, что кому мочно дать". Вот и все: выходит, как-будто вопрос порешен был одним днем, на одном общем заседании, в один присест, и через 6 дней для сбора нового налога „со всяких людей" царь учредил комиссию из боярина, окольничего, чудовского ар-

химандрита и двух дьяконов. Но по соборному акту 1642 г. подобный же вопрос прошел через сложную процедуру, которая, может-быть, применялась и на других соборах, но стерта в суммарном протокольном изложении сохранившихся актов. В 1637 г. донские казаки взяли Азов, отбили турецкие приступы и предложили царю взятую крепость. На соборе в присутствии царя, духовных властей и Боярской думы думный дьяк сказал царский указ о созыве собора и затем только в присутствии думы прочитал выборным письмо, в котором царь ставил им двойной вопрос: с турками и крымцами за Азов воевать ли и если воевать, где взять деньги, которых понадобится много? Письмо указывало выборным „помыслить о том накрепко и государю мысль свою объявить на письме, чтоб ему государю про то про всё было известно". Царское письмо по прочтении было „всяких чинов выборным людям для подлинного ведома роздано порознь при боярех", а церковным властям послано особо, чтоб они, поговорив о том отдельно, письменно объявили свою мысль государю. Думному дьяку велено было сказать чинам и допросить их о соборном деле. И на других соборах чины были допрашиваны „порознь". и отвечали письменными „сказками" или „памятями". Эти „допросы порознь по чинам" были одной из форм соборного голосования. Другую форму встречаем на соборе 1621 г., когда на предложение царя и патриарха воевать с Польшей чины отвечали челобитьем—воевать. Разница между обоими формами, сказкой по допросу и челобитьем на предложение, сколько можно судить по соборным актам, заключалась в том, что допросная память только излагала соображение чинов по данному вопросу, предоставляя решение государю, а челобитье давало более решительный ответ на предложение верховной власти и при этом могло

осложнять дело каким-либо связанным с ним предложением и со стороны чинов, хотя это допускалось и в допросных памятях. Выборные служилые люди на соборе 1642 г. были разделены на три группы, из коих одну образовали стольники, другую московские дворяне, головы стрелецкие и жильцы, третью все городовые дворяне, и к каждой группе приставлен был особый дьяк, вероятно, для руководства и особенно для редакции письменного мнения группы; только торговым людям столицы не дали дьяка, а посадских людей из уездов совсем не видно на соборе. Но мнения подавались не по этой группировке. Всего предоставлено было 11 письменных „речей" или „сказок": от духовных властей, от стольников, от дворян московских, от двух дворян же, выделившихся из своей группы с особым мнением, от московских стрельцов (сказки жильцов нет в акте), от городовых дворян владимирцев, от дворян трех других „замосковных" же, т.-е. центральных городов, еще от 16 центральных и западных городов, от 23 городов, преимущественно южных, от гостей и сотен гостинной и суконной, наконец от московских черных сотен и слободъ. В таком порядке записки и помещены в акте собора вслед за поименным перечнем 192 соборных выборных. По сказкам оказались выборные дворяне от 43 уездных городов, вместо 42, обозначенных в перечне; разница произошла от того, что в подаче записок не участвовали выборные дворяне от 8 городов, поименованные в перечне, зато участвовали выборные от 9 городов, там не упомянутых. Трудно объяснить, как это случилось. Можно заметить, что в составлении записок участвовали не одни выборные городовые дворяне, но и их земляки, случившиеся тогда в Москве по делам службы: так в записке трех городов значатся „лушане, которые здесь в Москве", тогда

как в перечне от гор. Луха поименован всего 1 выборный. Да и городовые дворянские депутаты, поименованные в соборном перечне, кажется, не были вызваны на собор из своих городов, а выбраны на Москве из дворян, отбывавших здесь очередную службу. Указ о созыве собора состоялся 3-го января, а с 8-го января началась уже подача сказок. Этой спешностью объясняется и отсутствие на соборе выборных от городовых посадов. Записки выборных имеют внутреннюю связь между собою: одни заимствуют из других мысли, отдельные выражения, целые места. Этим вскрывается ход соборных совещаний. Выборные собирались где-то и как-то по группам, совещались, обменивались мыслями с другими, по их сказкам пополняли и изменяли свои записки: так сказка 23 городов во многом сходна с запиской 16-ти, а мнение черных сотен и слобод составлено по сказке гостей и обоих высших сотен с надлежащим применением к классу. Между тем общих соборных совещаний незаметно и общий соборный приговор не состоялся. Вопрос решен был царем с боярами и решен отрицательно, вероятно, под влиянием угнетенного тона поданных записок: Азова от казаков не принимать, с турками и крымцами не воевать, потому что денег нет и взять их не с кого.

Их политический характер.

Не все соборы шли, как в 1642 г. Но подробный соборный протокол этого года помогает уяснить политическое значение соборов XVII в. И тогда, как в XVI в., они созывались в чрезвычайных случаях для обсуждения важнейших дел внутреннего государственного строения и внешней политики, преимущественно вопросов о войне и сопряженных с нею тягостях. Перемена произошла не в компетенции собора, а в составе и характере соборного представительства: теперь правительству приходилось иметь дело не с должностными своими агентами, а с выборными

ходатаями о нуждах и недостатках их избирателей. Политическое значение соборных совещаний зависело от участия в них Боярской думы с государем во главе. Здесь можно заметить двоякий порядок: дума действовала или совместно с выборными, или отдельно от них. В последнем случае бояре с государем присутствовали только при чтении собору правительственного предложения, но потом отделялись от собора, не участвовали в дальнейшей работе выборных. Впрочем эта работа ограничивалась совещаниями по группам и подачей отдельных мнений, но не составлялось ни общаго заключительного заседания, ни соборного приговора. При таком порядке собор получал только совещательное или осведомительное значение: заявленныя выборными мнения государь и бояре принимали к сведению, но законодательный момент, решение вопроса удерживали за собой. Так шло дело на соборе 1642 г.; то же видели мы и на уложенном соборе 1648 г. Проект Уложения одновременно читали выборным и докладывали государю с думой, заседавшей в другой палате, отдельно от выборных, с которыми при этом „сидел“ особо для того назначенный боярин с двумя товарищами, как бы образуя их президиум. Но при такой раздельности занятий дума и собор совсем не походили на верхнюю и нижнюю палаты, как их иногда называют. Дума с государем во главе не являлась только одним из органов законодательства: это было само верховное правительство, вмещавшее в себе всю полноту законодательной власти. Слушая статьи Уложения, она исправляла и утверждала их, создавала законы. Собор выборных не стоял рядом с думой, а был пристроен к ее кодификационной комиссии. При слушании статей Уложения выборные били челом государю об их отмене или пополнении, и эти ходатайства через комиссию

восходили к государю и боярам, которые, приняв в уважение челобитие всяких чинов людей, приговаривали по ним новые законы. В других случаях соборные выборные получали более прямое участие в законодательстве. Это бывало, когда дума с государем во главе прямо входила в состав собора, как бы сливалась с ним в один законодательный корпус. Тогда бояре подавали мнение наравне с выборными, и составлялся общий соборный приговор, получавший силу закона, а дума становилась распорядительной властью, принимавшей меры для исполнения соборного приговора. Такой порядок наблюдаем на целом ряде соборов царя Михаила, следовавших за избирательным собором 1613 г., именно на соборах 1618, 1619, 1621, 1632 и 1634 гг. Особенно выразительно проявился такой порядок на соборе 1621 г. Турция с крымом и Швеция звали Москву в коалицию против Польши. Представлялся заманчивый случай расквитаться с поляками за Смутное время. На соборе по этому делу духовные власти обязались молиться „о победе и одолении на вся враги“, бояре и всякие служилые люди биться против короля, не щадя голов своих, торговые люди давать деньги, как кому мочно, смотря по прожиткам. Составился общий соборный приговор всех чинов стать на польского короля в союзе с турским салтаном и с крымским царем и со свейским королем. При этом дворяне и дети боярские били челом государю разобрать их по городам, кто как может государеву службу служить, чтоб „никаков человек в избылых не был“. Но указ о разборке дворян и о рассылке грамот по городам с извещением о соборном приговоре и с приказом служилым людям готовиться к походу, „лошадей кормить и запас пасти“, государи, отец и сын издали, „говоря с бояры“, по приговору только думы без участия собора.

Условия их непрочности.

Такое законодательное значение земский собор удерживает за собой до последних лет царствования Михаила, до 1642 г. Оно проявляется и позднее на соборе 1653 г. по малороссийскому делу, когда бояре голосовали на соборе наравне с выборными, которые были „допрашиваны по чинам порознь", как в 1642 г., но решение принять Богдана Хмельницкого в московское подданство было принято государем по совету со всем собором, а не по приговору только бояр. Даже совещательная деятельность собора 1648 г. прерывалась подчас законодательным моментом. Так „собором уложили" запретить церковным учреждениям приобретать и принимать в заклад служилые вотчины (Уложение, XVII, 42). Но самая двойственность соборного голоса, то совещательного, то законодательного, обнаруживала политическую непрочность соборного представительства. Законодательный авторитет падал на собор заимствованным светом, не был ничем обеспечен, служил непризнанием народной воли, как политической силы, а только милостивым и временным расширением власти на подданных, не умалявшим ее полноты, да кстати и ослаблявшим ее ответственность в случае неудачи. Это была подачка, а не уступка. Отсюда видимые несообразности собора. Есть выборы, избиратели и выборные, вопросы правительства и ответы представителей, совещания, подача мнений и приговоры,—словом, есть представительная процедура, но нет политических определений, не устанавливается даже порядок деятельности, не определяются ни сроки созыва соборов, ни их однообразный состав и компетенция, ни отношение к высшим правительственным учреждениям; формы являются без норм, полномочия без прав и обеспечений, а между тем налицо есть поводы и побуждения, которыми обыкновенно вызываются и нормы, и обес-

печения; только поводы остаются без последствий, побуждения без действия. Известно, каким деятельным источником прав народного представительства на Западе служила правительственная нужда в деньгах: она заставляла созывать государственные чины и просить у них вспоможения. Но чины вспомогали казне не даром, вымогали уступки, покупали субсидиями права, обеспечения. И у нас в XVII в. не было недостатка в таких поводах и побуждениях. Из всех соборов того века, не говоря об избирательных, только три не имели видимой связи с финансами: это — соборы: 1618 г. по поводу движения королевича Владислава на Москву, 1648 г. по делу об Уложении и 1650 г. по поводу псковского мятежа, когда правительство хотело воспользоваться нравственным влиянием собора на мятежников. Всего чаще и внушительнее напоминала правительству о земском соборе пустота казны: пока не восстановилось после разорения равновесие обыкновенных доходов и расходов, то и дело приходилось прибегать к чрезвычайным налогам и заимообразным или безвозвратным запросам у капиталистов „на вспоможение“, без чего государевой казне „быть не уметь“. Оправдать такие поборы можно было лишь волей всей земли. В 1616 г. с богачей Строгоновых потребовали сверх 16 тыс. окладного налога еще 40 тыс. руб. авансом, в зачет их будущих казенных платежей, и такое крупное требование, свыше 600 тыс. руб. на наши деньги, подкрепили „всемирным приговором“ собора: так „приговорили власти и всех городов выборные люди“, которых трудно было ослушаться. Для нетяглых людей такой соборный запрос получал характер добровольной подписки на экстренные нужды государства: в 1632 г., в начале польской войны, собор приговорил с нетяглых людей собрать на жалованье войску, „что кто даст“ и ду-

ховные власти тут же на соборе объявили, сколько дают своих домовых и келейных денег, а бояре и все служилые люди обещали принести роспись тому, что кто даст. Соборный приговор сообщал доброхотному даянию вид обязательного самообложения. Собор открывал казне источники дохода, без которых она не могла обойтись и которых помимо собора никак не могла добыть. Здесь казна вполне зависела от собора. Выборные, жалуясь на управление, давали деньги, но не требовали, даже не просили прав, довольствуясь благодушным, ни к чему не обязывавшим обещанием „то вспоможенье учинить памятно и николи незабытно и вперед жаловать своим государским жалованьем во всяких мерах“. Очевидно, мысль о правомерном представительстве, о политических обеспечениях, правомерности еще не зародилась ни в правительстве, ни в обществе. На собор смотрели, как на орудие правительства. Дать совет, когда его спрашивали у земли, это — не политическое право земского собора, а такая же обязанность земских советников, как и платеж, какого требовала казна от земских плательщиков. Отсюда — равнодушие к земскому представительству. Выборные из городов ехали на собор, как на службу, отбывали соборную повинность, а избиратели неохотно, часто только по вторичной повестке воеводы являлись в свой город на избирательные съезды. Не имея опоры в политических понятиях, собор не находил ее ни в строе складывавшегося тогда управления, ни в своем собственном составе. Когда перед русским обществом после смуты стали тяжелые вопросы, решать их пришлось не единичному лицу, не какой-либо политической партии или замкнутому кругу правительственных лиц: над решением их призывался поработать коллективный разум всей земли; до чего додумались отдельные умы правительственные и

рядовые, все это собиралось в одну земскую соборную думу и выражалось в соборном приговоре или в земском челобитье. Можно было ожидать, что при таком значении собора в центральном управлении соборное, земское начало будет поддержано или даже усилено и в управлении местном. Народное представительство немыслимо без местного самоуправления. Свободный выборный и подневольный избиратель — внутреннее противоречие. Между тем эпоха усиленной деятельности земских соборов совпала со временем упадка земских учреждений, подчинения их приказной власти. Законодательная деятельность при новой династии потекла двумя встречными струями; правительство одной рукой разрушало то, что создавало другой. В то время, когда земских выборных призывали из уездов решать вопросы высшего управления рядом с боярами и столичными дворянами, их уездных избирателей отдавали во власть этих бояр и дворян. Приказный центр становился убежищем земского начала, когда в земском уезде хозяйничал приказный. Такое же противоречие обнаружилось и с другой стороны: вскоре после того как начал действовать совет всяких чинов людей, создавший новую династию, почти все сельское население (85%, а с дворцовыми крестьянами 95%) выведено было из состава свободного общества, и его выборные перестали являться на земские соборы, которые через это потеряли всякое подобие земского представительства. Наконец, с обособлением сословий и настроение отдельных классов пошло врозь, их взаимные отношения разлаживались. На соборе 1642 г. послышалась полная разноголосица мнений и интересов. Освященный собор на вопрос о войне дал стереотипный ответ, что на то дело ратное—„рассмотрение его царского величества и государевых бояр, а им государевым бого-

мольцам то все не заобычай", впрочем, в случае войны обещал дать на ратных людей по силе. Стольники и дворяне московские, верхи дворянства, будущая гвардия, кратко отписались, предоставив государю решить вопрос о войне, об изыскании ратных людей и средств на войну, а казакам велеть удерживать Азов, послав им в помощь охотников. Дворяне Беклемишев и Желябужский посовестились присоединиться к отписке своей братии и подали рассудительно составленную записку, решительно высказавшись за принятие Азова и за уравнительную разверстку тягостей предстоящей войны между всеми классами, не изъемля и монастырей. Наиболее сильные голоса послышались с низов общества, представленного на соборе. Две записки городовых дворян, 39 центральных и южных уездов— настоящие политические доклады с резкой критикой действующих порядков и с целой преобразовательной программой. Они полны горьких жалоб на разорение, на неравномерное распределение служебных тягостей, на льготное положение столичных дворян, особенно служащих по дворцовому ведомству. Бельмом на глазу сидело у городового дворянства московское дьячество, разбогатевшее „неправедным мздоимством" и настроившее себе таких палат каменных, в каких прежде и великородные люди не живали. Городовое дворянство просило распределять служебные повинности землевладельцев не по пространству земли, а по числу крестьянских дворов, точно счесть, сколько за кем крестьян в поместьях и вотчинах, пересмотреть земельныя богатства духовенства, пустить в оборот на нужды государства „лежачую домовую казну" патриарха, архиереев и монастырей. Дворянство готово работать против врагов „головами своими и всею душой", но просит собирать ратных людей со всяких чинов, только

не трогая его „крепостных людишек и крестьянишек“. Свои жалобы и проекты дворянство завершает резким порицанием всего управления: „а разорены мы пуще турских и крымских басурманов московскою волокитою и от неправд и от неправедных судов“. Высшее московское купечество и торговые люди московских черных сотен и слобод подобно городовому дворянству—за принятіе Азова, не боятся войны, готовы на денежные жертвы, но говорят скромнее, минорнее, меньше проектируют, хотя так же горько плачутся на свое обнищание от налогов, казенных служб, от воевод, просят государя „воззрить на их бедность“, с грустью вспоминают о разрушенном земском самоуправлении. Общий тон соборных сказок 1642 г. довольно выразителен. На вопрос царя, как быть, одни чины сухо отвечают: как хочешь; другие с верноподданным добродушием говорят: где взять людей и деньги, в том ты, государь, волен и ведают то твои бояре, „вечные наши господа промышленники“, попечители, но при этом дают понять земскому царю, что правление его из рук вон плохо, порядки, им заведенные, никуда не годятся, службы и налоги, им требуемые, людям не в мочь, правители, им поставленные, все эти воеводы, судьи и особенно дьяки своим мздоимством и насильством довели народ до конечнаго обнищания, разорили страну пуще татар, а богомольцы государевы, духовные власти, только копят свою лежачую казну— „то наша холопей мысль и сказка“. Недовольство управлением обострялось сословным разладом: общественные классы не единодушны, недовольны своим положением, сетуют на неравенство в тягостях, новую тягость верхние стараются свалить на нижние, торговые люди колют глаза служилым их многими поместьями и вотчинами, а служилые торговым людям их большими торгами, столичное дво-

рянство корит городовое легкою службою, а городовые дворяне попрекают столичных доходными их должностями и наживаемыми великими пожитками, не забывая при этом напомнить о пропадающих для государства богатствах Церкви и о неприкосновенности своих собственных крепостных людей и крестьян. Читая записки, поданные сословными представителями на этом соборе, чувствуешь, что этим представителям нечего делать вместе, у них общаго дела нет, а осталась только вражда интересов. Каждый класс думает про себя, особо от других, знает только свои ближайшие нужды и несправедливые преимущества других. Очевидно, политическое обособление сословий повело ко взаимному нравственному их отчуждению, при котором не могла не расторгнуться их совместная соборная деятельность.

Земская мысль в торговых классах.

Но, погасая в правящих и привилегированных слоях, идея земского собора некоторое время еще держалась в небольших кучках тяглого земства, оставшихся с закрепощением владельческих крестьян под защитой закона. В заявлениях высшего московского купечества и московских черных сотен и слобод, на которые падала черная работа управления, проскользнула едва заметная черта, возвышающая их над властными „белыми чинами". Выражая готовность служить государю своими головами, торговые и черносотенные люди заявляютъ, что принятіе Азова—дело не сословное, „дошло до всей государевой земли, православных христіан голов, „и вся земля без всяких изъятий должна понести тяжести этого дела, чтоб никто в избылых не был. Ничего подобного не слышно со служилой дворянской стороны: те чины только перекоряются друг с другом, смотрят на чужие рты, негодуя, что туда перепадают лишние куски, и ста-

раясь свалить новые служебные тягости со своих плеч на чужие. Торгово-промышленные люди знают, зачем они пришли на собор, понимают общеземский интерес, душу земского представительства. В этих черносотенцах XVII в., представлявших собою низ общества, еще теплилось чувство гражданского долга, уже гаснувшее в верхних слоях, которые громоздились на их плечах. Еще прямее и настойчивее выразили идею земского собора те же классы несколько позднее, когда он уже замирал. От неудачной кредитной операции с медными деньгами, выпущенными в 1656 г., произошла дороговизна, вызвавшая сильный ропот. Кризис касался всех и мог быть устранен дружными совместно с правительством усилиями всех классов общества; но правительство думало выйти из затруднения посредством совещания только со столичными торговыми людьми. Допросить их о том, как помочь горю, в 1662 г. указано было вместе с другими Илье Милославскому, тестю царя, совсем бессовестному боярину, который своими злоупотреблениями и обострил беду. В письменных сказках теперь, как и на соборе 1642 г., гости и торговые люди гостиной и суконной сотни, также черных сотен и слобод московских сказали много дельного, обстоятельно вскрыли наличные экономические отношения в стране, их нескладицу, сословный антагонизм села и посада, землевладельческого и торгового капитала, сказали много горькой правды и самому правительству, указав на его непонимание того, что творится в стране, на его неуменье поддержать законный порядок, на его равнодушие к общественному голосу. По закону право городского торга и промысла соединено было с торговым тяглом, с платежом торговых податей и пошлин, которыми государева казна полнилась, а ныне, жаловались торговые люди, всякими большими и лучшими

промыслами и торгами, презрев „*всякое государственное правление*“, завладел *духовный и воинский и судебный чин*, архиереи, монастыри, попы, всякие служилые и приказные люди торгуют „в тарханах беспошлинно“, отчего чинится государству немалая тщета, а казне в пошлинах и во всяких податях великая убыль. Притом, вынужденные продавать товары дорого на упавшие в цене медные деньги, торговые люди навлекли на себя ненависть всех чинов по их недомыслию, „от неразсуждения“. Высказав свои соображения, московские торговцы прибавляли в один голос, что о том, как делу помочь, они больше ничего сказать не умеют, потому что „*то дело великое всего государства, всей земли, всех городов и всех чинов*, и они у государя милости просят, указал бы он для того дела взять *из всех чинов на Москвѣ и из городов лучших людей*, а без городовых людей им одним того дела решить не уметь“. Эта просьба торговых сведущих людей о созыве собора— прикрытый протест против наклонности правительства заменять совет всей земли совещаниями с сословными сведущими людьми, в чем они видели дело правительственного недомыслия. Теперь московские торговые выборные указывали на ту же административную и общественную неурядицу, о которой так горячо заявляли 20 лет назад на соборе 1642 г. Но тогда они пользовались собором для протеста против этой неурядицы, а теперь смотрят на собор, как на средство ее устранения. Но ведь собор и составлялся из виновников этой неурядицы, из представителей классов, ее создавших своим взаимным антагонизмом. Значит, московские торговцы признавали собор единственным средством соглашения разъединившихся общественных сил и интересов. Этим указывалась земскому представительству новая, дальнейшая задача. Оно возникло

из смуты, чтобы восстановить власть и порядок; теперь ему предстояло установить порядок, которого не умела создать восстановленная власть, устроить общество, как прежде оно устроило правительство. Но была ли под силу собору такая устроительная задача, когда само правительство было деятельным фактором общественного расстройства? Возможно ли было такое соглашение, когда правящие круги и привилегированные служилые классы в нем не нуждались, как виновники неурядицы, им выгодной, и были равнодушны к общественному раздору, лишь бы не трогали их „крепостных людишек и крестьянишек", а московские „гостишки и торговые людишки", как они сами себя величали на соборе, были слишком легковесной величиной, чтобы уравновесить общественные отношения? С установлением крепостного права, при ничтожном политическом значении и гражданском малодушии духовенства, нужды и пользы тяглого земского мира имели слабых проводников на соборе только в торговых столичных и городовых посадских людях. Гнетомые своими сословными тягостями, эти люди становились на соборе перед подавляющим большинством служилого люда и перед служилым же боярско-приказным правительством. Собор, на котором настаивали торговые люди в 1662 г., не был созван, и правительству пришлось выдержать новый московский бунт, поднятый и подавленный с обычным московским безмыслием.

Распадение соборного представительства.

Двойственность политического характера и политическая неустроенность собора, централизация и крепостное право, сословная разрозненность, наконец неспособность к выполнению дальнейшей задачи, ставшей на очередь,—таковы наиболее заметные условия непрочности земского собора; ими объясняется и прекращение его деятельности, посте-

пенное замирание соборного представительства. Я уже не говорю о низком уровне политических понятий, привычек и потребностей, как бы сказать, политической температуры— уровне, при котором мерзнет всякое государственное учреждение, назначенное своей природой возбуждать дух свободы: это условие лежит в основе всех остальных, как оно же допустило все неудачные или вредные нововведения, которыми новая династия начала свою деятельность. Действие перечисленных условий обнаруживается в постепенном распадении состава земского собора, которое началось очень рано. Уже на соборах, следовавших за избирательным 1613 г., оно обозначилось исчезновением выборных от духовенства и сельского населения. Тогда собор утратил значение земского, всесословного, стал представлять службу и посадское тягло, а не землю. Но и это упрощенное, оторванное от всенародной почвы представительство иногда еще обрубалось: по нужде или по усмотрению правительство, не тревожа городовых посадских, призывало на совет только выборных от столичных чинов да от тех городовых дворян, которые в ту минуту по делам службы находились в Москве, а на соборе 1634 г., установившем чрезвычайный всеземский сбор „со всяких людей“ и между прочим пятую деньгу, падавшую преимущественно на посадское население выборных от городовых посадов, не видим. Так земский собор разрушался снизу: от него отваливались нижние, коренные земские его элементы, выборные от местных областных обществ, духовных, тяглых городских и сельских, даже служилых, и земский собор, теряя представительное значение, поворачивал назад к старому типу XVI в., к должностному собранию столичных чинов, служилых и торговых, так как и торговые столичные чины соединяли в себе тягло с казенной службой. На соборе

1650 г. также не было городовых посадских гласных, а столичных торговых тяглых людей представляли должностные лица, старосты и соцкие, как это бывало на соборах XVI в. Рядом с территориальным сокращением соборного состава шло и социальное его разложение: правительство взамен земского собора обращалось к такой форме совещаний, которая отрицала самую его идею. Известному государственному вопросу оно придавало социальное ведомственное или классовое значение и для обсуждения его призывало по выбору или по должности представителей только одного класса, которого по его воззрению вопрос ближе касался. Так в 1617 г. английское правительство обратилось к московскому с предложениями о позволении английским купцам ездить Волгой в Персию и о торговых льготах и концессиях. Боярская дума отвечала на эти предложения, что „теперь такого дела решить без совета всего государства нельзя ни по одной статье“, но совет всего государства ограничился опросом одних гостей и торговых людей гор. Москвы. Даже на общем земском соборе иные вопросы разрешались не всем его составом: так упомянутое соборное постановление о служилых вотчинах было принято государем и думой по совещанию с духовенством и служилыми людьми, без участия представителей других классов. С 1654 г. земский собор не созывался до смерти царя Федора (апрель 1682 г.). Государственные дела чрезвычайной важности решались государем с думой и Освященным собором без земского. Так в 1672 г., когда грозило страшное нашествие султана, чрезвычайные сборы назначены были по приговору государя только с думой и высшим духовенством. В 1642 г. подобный случай, даже менее важный, заставил созвать земский собор. Зато теперь правительство все чаще обращется к сословным совеща-

ниям, и они остаются единственной формой участия общества в правительственных делах. За 1660—1682 гг. известно не менее 7 таких обращений правительства к сословным выборным. В 1681 г. по вопросу о военной реформе призваны были на совещание под председательством боярина кн. В. В. Голицына выборные от служилых чинов: на все остальные сословные совещания по финансовым вопросам призывались выборные лишь от тяглых людей. Так, само правительство разрушало земский собор, заменяя или, точнее, подменяя земское представительство ни к чему не обязывавшими особыми совещаниями со сведущими людьми, превращая общее государственное дело в специальный классовый вопрос.

Что сделал собор.

Так история земского собора в XVII в. есть история его разрушения. Это потому, что он возник из временной потребности безгосударной земли выйти из безнарядья и безгосударья, а потому держался на временной потребности нового правительства укрепиться в земле. Новой династиии и классам, на которые она опиралась, духовенству и дворянству, земский собор был нужен, пока земля не оправилась от самозванческой встряски: по мере успокоения слабела и правительственная нужда в соборе. Однако следы его деятельности были долговечнее его самого. Явившись в 1613 г. учредительным и всесословным собранием, он создал новую династию, восстановил разрушенный порядок, два года слишком заменял правительство, готов был превратиться в постоянное учреждение, потом по временам получал законодательное значеніе, впрочем ничем не укрепляемое, собирался при царе Михаиле не менее 10 раз, иногда из года в год, при царе Алексее только 5 раз и то лишь в первые 8 лет царствования, при этом постепенно уродовался, теряя один свой орган за другим, из всесословного превращаясь в двухсословный и

даже односословный, дворянский, наконец, распался на сословные совещания сведущих людей, ни разу не был созван при царе Федоре, дважды собирался наспех в кой-каком случайном составе в 1682 г., чтобы посадить на единодержавный престол рядом обоих его младших братьев, и в последний раз созван был Петром в 1698 г., чтобы судить царевну-заговорщицу Софью. Будучи не политической силой, а правительственным пособием, собор не раз выручал правительство из затруднений, оставил по себе слабый законодательный след в нескольких статьях Уложения, подержался некоторое время в политическом сознании московских торговых людей, а потом скоро был забыт, и только крепкая историческая память поморского Севера сохранила о нем смутное воспоминание, рассказывая в былине, как царь Алексей Михайлович, тот самый, который в шутку писал, что „всегда мирских речей слушают“, но который собственно и заморил земский собор,—как этот царь с Лобного места в Москве обращался к своим подданным:

Пособите государю думу думати,
Надо думать крепка дума, не продумати.

Обзор сказанного.

Земский выборный собор входит в жизнь Московского государства случайно, по механическому толчку, какой дало пресечение старой династии, и потом появляется эпизодически, от времени до времени. На нем впервые земля, народ выступает на правительственную сцену, когда на ней не стало правительства, появляется и после, когда восстановленное правительство чувствовало нужду въ помощи земли, народа. Бедствия Смутного времени соединили последние силы русского общества для восстановления разрушенного государственного порядка. Представительный собор был создан этим вынужденным общественным единодушием и поддерживал его. Народное представительство

возникло у нас не для ограничения власти, а чтобы найти и укрепить власть: в этом его отличие от западно-европейского представительства. Но создав и поддерживая власть, собор, естественно, становился до времени ее участником и со временем мог стать в силу привычки постоянным сотрудником. Помешало то, что нужды восстановленного государства при правительственном способе их удовлетворения расстроили вымученное бедой общественное единодушие, заставили разбить общество на обособленные сословия и при этом отдать большинство крестьянства в крепостную неволю землевладельцам. Это лишило земский собор земского характера, сделало его представительством только верхних классов, а в то же время разъединило и эти классы политически и нравственно, политически—неравенством сословных прав и обязанностей, нравственно вытекавшим отсюда антагонизмом сословных интересов. С другой стороны, испытания Смутного времени и усиленная деятельность земского собора при царе Михаиле не расширили политического сознания в обществе настолько, чтобы сделать земское представительство его насущной политической потребностью и превратить собор из временного вспомогательного средства правительства в постоянный орган народных нужд и интересов. В обществе не образовалось влиятельного класса, для которого соборное представительство стало бы такой потребностью. С установлением крепостной неволи крестьянъ, дворянство, поглощая в себе боярство, стало на деле господствующим классом; но оно помимо собора нашло более удобный путь для проведения своих интересов—непосредственное обращение к верховной власти с коллективными челобитьями, а боярско-дворянские кружки, преемственно обседавшие престол слабых царей, облегчали этот путь. Столичное купечество, усвоившее идею зем-

ского представительства, одно не было в силах отстоять ее, и их выборные в 1662 г. жаловались, что по их представлениям мало что исполнялось. Так выясняются два ряда условий, помешавших соборному представительству упрочиться в XVII в.: 1) служа сначала опорой новой династии и вспомогательным органам управления, земский собор становился все менее нужен правительству по мере упрочения династии и роста правительственных средств, особенно приказного чиновничества; 2) общество, разъединяемое сословными повинностями и классовой рознью при общей придавленности чувства права, не было в состоянии дружной деятельностью превратить собор в постоянное законодательное учреждение, огражденное политическими обеспечениями и органически связанное с государственным порядком. Значит, земское представительство пало вследствие усиления централизации в управлении и государственного закрепощения сословий.

Лекция LI.

Связь явлений.—Войско и финансы.—Окладные налоги: косвенные; прямые—деньги данные и оброчные, ямские, полоняничные, стрелецкие.—Писцовые книги.—Неокладные сборы.—Опыты и реформы.—Соляная пошлина и табачная монополия.—Медные кредитные знаки и московский бунт 1662 г.—Живущая четверть.—Подворное тягло и переписные книги.—Сословная разверстка прямых налогов.—Финансы и земство.—Распространение тягла на задворных людей.—Распределение народного труда между государственными силами.—Чрезвычайные налоги.—Роспись доходов и расходов 1680 г.

Связь явлений.

Земское соборное представительство замерло позднее местного земского самоуправления. Исчезновение одного и падение другого—параллельные, хотя и не совпадающие по времени следствия двух основных перемен в государственном порядке, упомянутых мною в конце прошедшего чтения. Усиление централизации придавило местные земские учреждения, а их упадком и разобщением закрепощенных сословий разбит был земский собор, служивший высшим органом участия местных сословных миров в законодательстве. Обе эти сословные перемены вытекали из одного источника, из финансовых нужд государства; эти нужды были скрытой пружиной, направлявшей и административные, и социальные меры правительства, возбуждавшей его деятельность в устроении управления, как и общества, и

заставившей принести столько жертв насчет общественного благоустройства и народного благосостояния.

Войско и финансы.

Финансы были едва ли не самым больным местом московского государственного порядка при новой династии. Потребности, вызванные учащенными, дорогими и редко удачными войнами, решительно перевешивали наличные средства правительства, и оно терялось в догадках, как восстановить равновесие. Рать в конец заедала казну. В 1634 г., испрашивая у собора вспоможение на продолжение войны с Польшей, царь объявлял, что казна, скопленная им в мирные годы „не с земли“, не из прямых налогов, вся пошла на приготовления к войне и теперь для содержания вспомогательной рати „без прибыльной казны“, без чрезвычайных налогов обойтись не суметь. Военные неудачи при встрече с польскими и шведскими войсками заставили тревожно заняться улучшением вооруженных сил по иноземным образцам. Два документа дают понять, как преобразовывалась дворянская милиция и как вместе с тем дорожало ее содержание в продолжение 50 лет. В *сметном списке* 1631 г. перечислены вооруженные силы, которые содержались непосредственно на казенный счет, поместным, денежным или хлебным жалованьем. По сметному списку их насчитывается до 70 тыс. Это столичные и городовые дворяне, пушкари, стрельцы, казаки и служилые иноземцы. В областях бывшего царства Казанского и Сибири числилось еще около 15 тыс. различных восточных инородцев, служилых мурз и татар, ясачных чуваш, черемис, мордвы и башкир; но они не имели служилых денежных окладов, посылались на службу лишь в чрезвычайных случаях, когда, по выражению сметного списка, „бывает всей земле повальная служба“, общая мобилизация. Еще в 1670 г. Рейтенфельс любовался парадным царским смотром 60-ты-

сячного дворянского ополчения. Это были, очевидно, не только столичные чины, но и верхние слои провинциального дворянства, годные к дальним походам, со своими походными дворовыми людьми. Нарядные всадники ослепили иноземца блеском оружия и костюма. Но под Москвой они производили, особенно на эстетически восприимчивого царя, более сильное впечатление, чем на боевых полях Литвы и Малороссии, хотя им в жертву отдано было громадное количество народного труда. Боевая годность всей этой пестрой массы, оборонявшей государство, дворянской, казачьей, татарской, чувашской, распускавшейся после похода, может быть определена словами Котошихина, что „учения у них к бою не бывает и строю никакого не знают“. Только стрельцы, соединенные в постоянные полки, *приказы*, имели несколько устроенный вид. Реорганизация этого боевого материала заключалась в том, что под командой иноземных, преимущественно немецких полковников и капитанов, которых выписывали сотнями, из городовых дворян и детей боярских, преимущественно малопоместных, пусто поместных и беспоместных, также из охотников и рекрутов других классов, даже крестьян и холопов, составлялись роты и полки конные, *рейтарские*, пешие *солдатские*, и смешанные коннопешего строя, *драгунские*. Целые села по южной окраине превращались в военные поселения. В 1647 г. монастырское село почти в 400 крестьянских дворов в Лебедянском уезде поверстано было в драгунскую службу. По инструкции 1678 г. всех „скудных“ дворян, годных к службе, велено писать в солдаты на ежемесячное жалованье, а указ 1680 г. всех способных к полковой службе дворян Северского, Белгородского и Тамбовского разрядов записал в солдатскую службу. Это были чрезвычайные меры. Для нормального пополнения этих полков

иноземного строя приведен был в действие новый и притом двоякий способ комплектования, сбор даточных по числу крестьянских дворов, например со 100 дворов по рейтару и солдату, либо по семейному составу дворов, из двух или трех неотделенных сыновей у отца или братьев одного, из четырех сыновей или братьев двоих брали в солдаты. Это были уже настоящие рекрутские *наборы*, призванные на помощь прежнему способу комплектования, *прибору*. Эти наборы по вычислению исследователей в 25 лет (1654—1679) вырвали из состава рабочего населения по меньшей мере 70 тыс. человек. Полки нового строя получали огнестрельное вооружение и строевое обучение. *Роспись ратным людям* 1681 г. представляет результаты этой медленной перестройки вооруженных сил. Все ратные люди здесь расписаны на 9 *разрядов*, окружных корпусов, о которых мы уже говорили (л. XLVIII). Только московский столичный корпус, состоявший из 2624 чел. столичных чинов с их походными холопами и даточными людьми в числе 21830 чел. и 5 тыс. стрельцов, остался при старом доморощенном строе. В 8 других корпусах рядом с 16 стрелецкими приказами значилось полков иноземного строя 25 рейтарских и 38 солдатских под начальством иноземных полковников; только тремя полками командовали русские в звании генералов. Из всей дворянской милиции, которой по списку 1631 г. числилось около 40 тыс., теперь в 8 разрядах осталось старого строя лишь 13 тыс.; остальные вошли в состав 63 реформированных полков численностью до 90 тыс. Это не была еще вполне регулярная армия, потому что не была постоянной; по окончании похода и новые полки распускались по домам, оставляя после себя только офицерские кадры. Всего с казаками, не считая 50 тыс. малорусских, по росписи 1681 г. числилось 164

тыс. чел. Сопоставляя по возможности однородные части войск по списку и росписи и опуская восточных инородцев, которых в росписи нет, находим, что в 1631 г. вооруженные силы, лежавшие на плечах казны, возросли почти в $2^1/_2$ раза. Наемная плата, „месячный корм“ многочисленным иноземным полковникам и капитанам была очень высока, и когда они оставались на московской службе, превращалась в пожизненное жалованье, половина которого становилась после них пенсией их женам и детям. Рейтары, солдаты и драгуны, вербуемые больше из недостаточных классов, получали возвышенные денежные оклады, казенное вооружение и боевые припасы, а в походе казенное продовольствие. Стоимость армии на наши деньги с 3 милл. руб. в 1631 г. возросла к 1680 г. до 10 милл. Значит, при численном увеличении армии почти в $2^1/_2$ раза стоимость ее возросла больше, чем втрое. Соразмерно с этим вздорожали и войны: неудачный полуторагодовой поход под Смоленск при царе Михаиле обошелся по наименьшему расчету в 7—8 милл., а две первые кампании против Польши при царе Алексее (1654—1655), сопровождавшиеся завоеванием не только Смоленской земли, но и Белоруссии с Литвой, стоили до 18—20 милл., что почти равнялось годовой сумме доходов, какую получали в 1680 г. центральные финансовые учреждения.

Окладные доходы.

Бюджет доходов рос вместе со вздорожанием армии. Чтобы объяснить себе, как правительство пыталось привести свои финансовые силы в уровень со все возраставшими расходами государства, надобно представить себе, хотя в общих чертах, раньше сложившийся финансовый порядокъ. Обыкновенные средства казны составлялись из доходов *окладных и неокладных.* Окладными доходами назывались податные сборы, которым наперед назначался

в смете определенный обязательный для плательщиков размер, *оклад*. Окладные доходы составлялись из прямых и косвенных налогов. Подати или прямые налоги в Московском государстве падали либо на целые общества, либо на отдельные лица. Совокупность податей, платимых целыми обществами, по общей раскладке, составляла *тягло*, и люди, подлежащие таким платежам, назывались *тяглыми*. Главными предметами тяглового обложения были земли и дворы, которые также назывались *тяглыми*. Основанием податного обложения служило *сошное письмо*, т.-е. расписание тяглых земель и дворов на *сохи*. Соха—податная единица, заключавшая в себе известное число тяглых посадских дворов или известное пространство тяглой крестьянской пашни: именно доброй земли поместной и вотчинной считалось в сохе 800 четвертей в одном поле, т.е. 1200 дес. в трех полях (четверть — половина десятины), монастырской 600 четвертей, черной, казенной, 500. Количество четвертей средней и худой земли в каждой из этих сох пропорционально увеличивалось, при чем качество земли определялось ее доходностью, а не свойством самой почвы. Состав посадской сохи чрезвычайно разнообразился: в Зарайске, например, в конце XVI в. в соху было положено лучших, зажиточнейших людей по 80 дворов, середних по 100 дворов, а молодчих и убогих по 120 дворов, в Вязьме же в первой половине XVII в. считалось в сохе 40 дворов лучших людей, 80 середних и 100 меньших. Перечислим главные окладные доходы и начнем с косвенных налогов, из коих главные были *таможенные* и *кабацкие* сборы: это был в XVII в. самый обильный источник, которым питалась московская казна. Таможенные налоги бы и очень разнообразны и взимались как при провозе, так и при продаже товаров; кабацкие

сборы получались от продажи питей, составлявшей казенную монополию. И для этих доходов правительство обыкновенно назначало известные оклады и отдавало их либо на откуп, либо на веру, поручая таможенные сборы и продажу вина *верным* (присяжным) головам и целовальникам, которых обязаны были выбирать для того из своей среды местные тяглые обыватели, а недоборы взыскивались с выборных или с самих избирателей, если последние не доглядели и во-время не донесли о воровстве или нерадении первых. Головам и целовальникам, уличенным посторонними в воровстве и корысти, закон 1637 г. грозил „смертной казнью без всякой пощады", т.-е. наказывал исполнителей за нерадение или неспособность правительства, которое возлагало на обывателей не только повинность, но и надзор за ее отбыванием, что составляло его прямую обязанность. В половине XVII в. косвенные налоги были объединены: в 1653 г. вместо многочисленных таможенных сборов введена так названная *рублевая* пошлина (по 10 денег с рубля, т.-е. 5% продажной цены товаров с продавца, и 5 денег с рубля суммы, привезенной покупщиком на покуп у товаров).

Деньги данные и оброчные.

Основные прямые налоги были *деньги данные* и *оброчные*. Данными деньгами или *данью* назывались разные прямые налоги, которые падали на тяглое население, торгово-промышленное посадское и земледельческое сельское, и взимались по числу сох, значившихся по писцовым книгам за известным городским или сельским обществом. *Оброк* имел двоякое значение. Иногда так называлась плата правительству за предоставление частному лицу права пользоваться казенной землей, угодьем, или заниматься какимлибо промыслом. В этом смысле оброком назывался казенный доход с принадлежавших казне рыбных ловель, сен-

ных покосов, звериных гонов, также с городских торговых лавок, харчевень, бань и других промышленных заведений. В других случаях оброк означал общую подать, которою окладывались все жители известного округа взамен разных других податей и повинностей. Так оброком назывался налог, заменивший кормы и пошлины наместников и властителей при отмене этих должностей в царствование Грозного. Только оброки этого последнего рода входили в состав тягла и взимались по сошному письму. Дань и оброк в смысле общей подати уплачивались всегда в *постоянном* количестве по неизменному окладу, тогда как размеры других государственных податей были изменчивы, определялись особыми царскими предписаниями.

Специальные налоги.

К окладным доходам причислялись еще специальные налоги, назначавшиеся на особые потребности государства; таковы были деньги ямские, полоняничные и стрелецкие: *Ямские* деньги собирались на содержание ямской гоньбы для провоза послов, гонцов, должностных и ратных людей, для чего по большим дорогам ставились *ямы* (ям—почтовая станция). Эта подать собиралась с посадских людей и с крестьян также по сошному письму и поступала в особое центральное учреждение, в *Ямской* приказ, который заведывал ямщиками, получавшими жалованье и прогоны за езду, для чего они обязаны были содержать лошадей на ямах. *Полоняничные* деньги—подворная, а не посошная подать, назначенная на выкуп пленных у татар и турок. Еще в царствование Михаила она собиралась временно по особому распоряжению правительства. Потом она стала постоянной и по Уложению 1649 г. собиралась ежегодно „со всяких людей", как тяглых, так и нетяглых, но не в одинаковом размере с людей разных состояний: посадские обыватели и церковные крестьяне платили со двора по

8 денег (на наши деньги около 60 коп.), крестьяне дворцовые, черные и помещичьи вдвое меньше, а стрельцы, казаки и прочие служилые люди низших чинов только по 2 деньги. По словам Котошихина, полоняничных денег в его время собиралось ежегодно тысяч по 150 (около 2 милл. руб. на наши деньги). Эту подать собирал заведывавший выкупом полоняников Посольский приказ. *Стрелецкая* подать назначена была на содержание стрельцов, постоянной пехоты, заведенной в XVI в. при великом князе Василии. Сначала это был незначительный налог хлебом; в XVII в. стрелецкая подать собиралась и хлебом, и деньгами и по мере увеличения численности стрелецкаго войска сильно возрастала, так что сделалась, наконец, важнейшим прямым налогом. По свидетельству Котошихина, в царствование Алексея стрельцов было в Москве даже в мирное время больше 20 *приказов* (полков), по 800—1000 чел. в каждом (22452 в 1681 г.), да городовых, т.-е. провинциальных, приблизительно столько же.

Писцовые книги.

Все перечисленные подати, кроме полоняничной, взимались по сошному письму: правительство клало на каждую соху известную сумму податей, оклад, предоставляя плательщикам, тяглым людям сохи, раскладывать его между собой по платежным средствам каждого, „верстаться меж себя самим по своим животам, по промыслам, по пашням и по всяким угодьям“. Основанием сошного обложения служили *писцовые книги*. От времени до времени правительство производило описи тяглых недвижимых имуществ, рассылая для того по уездам писцов, которые описывали предметы обложения по показаниям и документам обывателей, проверяя те и другие прежними описями и личным осмотром. Писцовая книга описывает город и его уезд, их население, земли, угодья, торговые и промышленные заве-

дения и лежащие на них повинности. Описывая городские и уездные поселения, посады, слободы, села, деревни, починки, писцовая книга подробно пересчитывает в каждом поселении тяглые дворы и „людей“ в них, домохозяев с живущими при них детьми и родственниками, обозначает пространство принадлежащей селению земли пахотной, пустопорожней, сенокосной и лесной, кладет тяглые посадские дворы и сельские пахотные земли в сохи и по ним высчитывает размер тягла, падающего на селение по земле и промыслам его тяглых обывателей. В московском архиве министерства юстиции хранятся многие сотни писцовых книг XVI и XVII вв., служащих основным источником истории финансового устройства и экономического быта Московского государства. Такие описи составлялись издавна, но лишь немногие книги дошли до нас от конца XV в. по Новгороду Великому. При своем кадастровом и финансовом значении писцовые книги помогали совершению разных гражданских и других актов; по ним разрешались поземельные споры, укреплялись права на владение недвижимостями, производился сбор даточных людей. Когда отец царя Михаила Филарет возвратился из Польши, оба государя в 1619 г. созвали собор и на нем приговорили послать писцов и дозорщиков, которые бы описали все города, разобрали обывателей и разместили их по местам, где они прежде жили и тянули тягло. В силу этого постановления в 1620-хъ гг. предпринята была общая перепись тяглого населения в государстве с целью привести в известность и устроить его податные силы. Эти именно книги конца 1620-х гг. Уложение кладет документальной основой крепостной принадлежности крестьянина владельцу, основой, покрывающей всякие другие крепости; по ним решались иски о беглых крестьянах; эта перепись, видели мы, и

втолкнула крепостное условие в крестьянские ссудные записи.

Второй разряд государственных доходов, *неокладные* сборы состояли главным образом из платежей за удовлетворение разных нужд, с которыми частные лица обращались к правительственным учреждениям: таковы были пошлины с разных частных сделок, с просьб, какие подавались частными лицами в административные и судебные места, с грамот, какие оттуда им выдавались, судебных решений и т. п.

Неокладные сборы

На основе этого финансового порядка в XVII в. возводились казной предприятия двух родов: это были либо опыты, затеи, расстраивавшие установившийся порядок, либо нововведения, его перестраивавшие. Прежде всего казна принялась собирать своих растерянных плательщиков. Смута выбила из тягла множество тяглых людей. По восстановлении порядка они продолжали свои тяглые занятия, оставаясь вне тягла. Против этих „избылых" и поведена была продолжительная законодательная и полицейская борьба. С земского собора 1619 г. правительство преследовало закладчиков и едва сладило с ними при содействии собора 1648—49 гг. Тогда же Уложением было установлено, что непосадские люди, промышляющие на посаде, обязаны или бросить свои промыслы, или участвовать в посадском тягле. С целью обеспечить казне постоянный состав прямых или косвенных работников, законодательство, как мы видели, сбило общество в замкнутые сословия, прикрепив каждое к его повинностям, запретило самовольный выход из посадов и превратило договорную пожизненную неволю владельческих крестьян в потомственную крепостную зависимость. Но как ни тщательно переписывали и прикрепляли обывателей, способных к тяглу, оставалось много избылых, ускользавших от казенных повинностей. Хотели одной общей

Соль и табак

мерой, как рыбу большим неводом, захватить в работу на казну все население, рядовое и привилегированное, взрослое и малолетнее обоего пола. В то самое время, когда на Западе политико-экономическая теория меркантилистов настаивала на замене прямых налогов косвенными, на обложении потребления вместо капитала и труда, в Москве попытались вступить на тот же самый путь вполне самобытно, по указанию не какой-либо заносной теории, а дурной доморощенной практики. В московской финансовой политике косвенные налоги вообще преобладали над прямыми. В XVII в. правительство особенно усердно истощало этот источник в расчете, что плательщик охотнее заплатит лишнее за товар, чем внесет прямой налог: там он за переплату получает хоть что-нибудь годное к употреблению, а здесь не получает ничего, кроме *платежной отписки*, квитанции. Отсюда, можно думать, и родилась мысль, внушенная, как говорили, бывшим гостем, а теперь дьяком Назарьем Чистаго, заменить важнейшие прямые налоги повышенной пошлиной на соль: соль нужна всем, следовательно, все в меру ее потребления будут платить казне, и избылых не будет. До 1646 г. казна взимала пошлины с пуда соли 5 коп., приблизительно 60 коп. на наши деньги. По закону этого года соляная пошлина была увеличена вчетверо, до 20 коп. с пуда, до полукопейки с фунта. Равняя по хлебным ценам тогдашнюю полукопейку 6 копейкам нынешним, видим, что только казенная пошлина вшестеро превышала нынешнюю рыночную цену фунта соли. Целым рядом простодушно-грубых соображений указ оправдывал эту меру: будут отменены стрелецкие и ямские деньги, наиболее тяжелые и неравномерно распределяемые прямые налоги; пошлина будет всем равна; в избылых никого не будет; все будут платить сами собою, без правежа, без жестоких взы-

сканий; будут платить и проживающие в Московском государстве иноземцы, ничего в казну не платящие. Но тонкие расчеты не оправдались: тысячи пудов дешевой рыбы, которою питалось простонародье в постное время, сгнили на берегах Волги, потому что рыбо-промышленники не были в состоянии просолить ее; дорогой соли продано было значительно меньше прежнего, и казна понесла большие убытки. Потому в начале 1648 г. решено было отменить новую пошлину. Она много усилила народное раздражение против администрации, вызвавшее летний мятеж того года. Убивая дьяка Н. Чистаго, мятежники приговаривали: „вот тебе, изменник, за соль“. Та же финансовая нужда заставила набожное правительство поступиться церковно-народным предубеждением: объявлена была казенной монополией продажа табаку, „богоненавистного и богомерзкого зелья“, за употребление и торговлю которым указ 1634 г. грозил смертной казнью. Казна продавала табак чуть не на вес золота, по 50—60 коп. золотник на наши деньги. После мятежа 1648 г. отменили и табачную монополию, восстановив закон 1634 г. Не зная, что делать, правительство прямо дурило в своих распоряжениях.

Медные кредитные деньги.

Еще плачевнее кончилось другое финансовое предприятие. Нужда в деньгах сделала московских финансистов XVII в. необычайно изобретательными. Додумавшись до мысли о замене прямых налогов косвенными, они столь-же самобытно пришли к идее государственного кредита. В 1656 г., когда оканчивалась первая победоносная война с Польшей и готовился разрыв со Швецией, в московской казне не хватило серебряной наличности на жалованье войску, и кто-то, говорили—близкий к царю Ф. М. Ртищев, подал мысль выпустить медные деньги с принудительным курсом серебряных. Московский рынок был уже приучен

к денежным знакам с номинальной стоимостью; порча монеты была вспомогательной доходной статьею, которой пользовалась казна в случае нужды. В денежном обороте не было ни туземной золотой, ни крупной серебряной монеты: рубль и полтина были счетные единицы. Ходячей монетой служили маленькие *копейки*, *деньги*, полукопейки, и *полушки*, полуденьги, весом от 6 до 4 долей и менее. На рынке покупатели, остерегаясь карманников, обыкновенно, держали эти мелкие неуклюжей чеканки и овальной, впрочем неправильной формы монетки во рту за щеками. Не добывая своего серебра, московская казна выделывала эту монету из привозных немецких иохимсталеров, получивших у нас название *ефимков*. И при этой операции не забывали казенного интереса: ефимок на московском рынке ходил по 40—42 коп., а переливался в 64 коп., так что казна наживала от переливки 52—60%. Иногда переделка ограничивалась наложением штемпеля, „царской печати“ на ефимок, и он из 40-копеечника становился 64-копеечником. Только с начала первой польской войны стали чеканить серебряные рублевки и четвертаки по расчету нарицательной цены штемпельного ефимка. Теперь и наделали мелкой медной монеты формы и веса серебряной. Сначала эти металические кредитки пользовались полным доверием, ходили al pari, „с серебряными заровно“. Но соблазнительная операция попала в падкие на соблазн руки. Денежные мастера, люди небогатые, вдруг разбогатели и на глазах у всех начали сорить деньгами, пышно обстроились, разодели жен по-боярски, в рядах покупали товары не торгуясь. Богатые купцы, даже московские гости, приставленные присяжными надзирателями меднаго дела, покупали сами медь, привозили ее вместе с казенной на Денежный двор, переделывали в кредитную монету и отво-

зили на свои дворы. Рынок был наводнен „воровскими", крадеными у государственного кредита медными деньгами. В курсе медной монеты образовался лаж, быстро возраставший: начавшись с 4 коп., разница между серебряными и медными деньгами дошла до того, что в конце 1660 г. за серебряный рубль давали 2 медных, в 1663 г. сперва 12, а потом даже 15 руб. медных. Соответственно тому дорожали товары. Особенно затруднительное положение создавалось для ратных людей, получавших жалованье медными деньгами по полному курсу. Следствіе вскрыло, что плутни денежных мастеров и гостей за большие взятки покрывала московская приказная администрация, проявившая здесь всю свою обычную приказную недобросовестность, а во главе ее коноводили тесть царя боярин Илья Милославский да муж тетки царевой по матери думный дворянин Матюшкин, которым поручено было медное дело; Милославскому приписывали и прямое участие в этом воровстве. Приказным, гостям и денежным мастерам отсекали руки и ноги и ссылали, на тестя царь посердился, а дядю отставил от должности. Соучастники воровства, видя такую безнаказанность знатных и пользуясь общим ропотом на дороговизну, задумали произвести смуту, тряхнуть боярством, как было в 1648 г. Расклеенные в Москве воззвания обвиняли в измене Илью Милославского и других. В июле 1662 г., когда царь жил в подмосковном селе Коломенском, мятежная толпа тысяч в пять подступила ко встретившему ее царю с требованием поставить на суд изменников. При этом царя держали за пуговицы кафтана и заставили обещаться Богом и с одним из мятежников ударить по рукам на обещании, что он сам расследует дело. Но когда другая толпа из Москвы, соединившаяся с первой, стала невежливо требовать у царя изменников, грозя,

что если он не выдаст их добром, их возьмут у него силой, Алексей крикнул стрельцам и придворным, и началось повальное избиение безоруженных, сопровождавшееся пытками и казнями; массами топили в р. Москве или ссылали семействами в Сибирь на вечное житье. Царица с іюльского испуга хворала больше года. В подделке медных денег, как и в мятеже участвовали люди различных состояний, попы и причетники, монахи, гости, посадские, крестьяне, холопы; к бунту пристали даже солдаты и некоторые офицеры. Современники насчитывали больше 7 тыс. чел., казненных смертью по этому делу, и больше 15 тыс., наказанных отсечением рук и ног, ссылкой, конфискацией имущества. Но „прямых воров", настоящих мятежников, считали не больше 200 чел.; остальная толпа, ходившая к царю, состояла из любопытных зевак. Операция с медными деньгами сильно расстроила торгово-промышленный оборот, и казна, выпутываясь из затруднения, только содействовала этому расстройству. Московские торговые люди на известных уже нам совещаниях 1662 г. со Стрешневым и все тем же Ильей Милославским о причинах дороговизны довольно выразительно изображали свое положение. С целью восполнить истощенный запас привозного монетного серебра казна принудительно скупала у русских купцов на медные деньги вывозные русские товары, меха, пеньку, поташ, говяжье сало, и перепродавала их иноземцам на их ефимки. В то же время русские купцы покупали привозные товары у иноземцев на серебро, потому что те медных денег не принимали, а своим покупателям продавали эти товары на медь. Таким образом пущенное ими в оборот серебро к ним не возвращалось, дальнейшие закупки иноземного товара становились для них невозможны, и они оставались и без серебра, и без товара, оказывались „бес-

промышленны". Полная неудача предприятия заставила ликвидировать его. Выпуск медных кредитных знаков, как беспроцентный государственный долг, предполагал возможность обмена на настоящие деньги. Указ 1663 г. восстановлял серебряное обращение и запрещал держать и пускать в оборот медные деньги, которые велено было или переливать в вещи, или приносить в казну, где за медный рубль платили по 10 денег серебром, по словам Котошихина, а по указу 26 июня 1663 г. даже только по 2 деньги. Казна поступила как настоящий банкрот, заплатила кредиторам по 5 коп. или даже по 1 коп. за рубль. На только-что упомянутую скупку казной вывозных товаров у русских купцов незадолго до июльского бунта и вскоре после по всем приказам собрано было без малого полтора милл. рублей медных денег (милл. 19 на наши деньги) по номинальному их курсу. Это была, без сомнения, только часть медной суммы, выпущенной с Денежного двора; молва доводила сумму выпущенных в 5 л. медных денег до неимоверно крупной цифри 20 милл. (около 280 милл. на наши деньги).

Живущая четверть.

Гораздо серьезнее были нововведения, какие удалось правительству провести в устройстве финансов. Их было три: изменение окладной единицы прямого обложения с новым типом земельной описи, сословная разверстка прямых налогов и привлечение земских обществ к финансовому управлению. В порядке прямого обложения перешли от сошного письма к *дворовому числу*, к подворному обложению. Но этот переход совершился не прямо от сохи к двору, как окладной единице, а через промежуточную ступень, *живущую четверть*. Первый заметил и обследовал эту посредствующую ступень г. Лаппо-Данилевский в своем исследовании о прямом обложении в Московском го-

сударстве XVII в. Писцовые книги помогают уяснить происхождение этой окладной единицы. Сельская соха не была устойчивой платежной величиной. Переложное хозяйство постоянно выводило из тягла усталую пашню и вводило отдохнувшую. Во второй половине XVI в. тягловая цельность сохи разрушалась в центральных областях переселенческим движением к окраинам и сокращением крестьянской запашки: брошенные надолго участки, „пометные жеребьи впусте“, все расширялись на счет „живущей“, т.-е. платящей пашни. Сошного письма, выражаясь языком писцовых книг, не прибывало „из пуста в живущ е“, а наоборот. Смута почти совсем прервала сельскохозяйственную работу в стране: по свидетельству современника, едва не всюду перестали пахать, кое-как пробавляясь старозапасным хлебом. Когда в стране поутихло, крестьяне, уцелевшие на местах или воротившиеся из бегов, увидели вокруг себя множество пустых дворов и дворовых мест с пахотными участками, еще не успевшими пороcти лесом. Обзаводясь после погрома, они из своей прежней тяглой пашни распахивали крохотные клинья, а излишек труда обращали на „наезжую пашню“, на брошенные и выбывшие из тягла поля своих бывших соседей, перебитых, полоненных или без вести пропавших. По писцовым книгам видим, что где в конце XVI в. крестьяне пахали 4350 дес., там в 1616 г. оставалось живущей тяглой пашни 130 дес., тогда как наезжей нетяглой было 650 дес. Встречаем имение в Рязанском уезде, где в 1595 г. значилось крестьянской пашни 1275 дес., а в 1616 г. 9 крестьянских дворов сидели на 3 тяглых десятинах, припахивал наездом 45 дес. у соседних „пустых дворов“. В других местах встречаем такие участки, что приходилось по 6—7 крестьянских дворов на одну живущую четверть, т.-е. на полторы

дес. в 3 полях, при 40—60 дес. наезжей пашни. Такое хозяйство наездом, соединенное по местам с крайним умалением тяглой пашни, было убыточно казне, и она хотела поставить это дело в известные границы. Предпринимая в 1620-х гг. общую поземельную перепись, правительство рядом указов пыталось установить по уездам наибольшее количество дворов, обязанных тянуть тягло с живущей четверти. При этом оно колебалось и поправлялось, меняло свои росписи: так для столичных чинов сперва было положено на живущую четверть очень льготное число, 12 дворов крестьянских и 8 бобыльских или 16 крестьянских дворов, ровняя полный крестьянский двор двум бобыльским; потом повысили оклад слишком впятеро, назначив по три крестьянских двора на четверть, а затем несколько польготили, определив 5 дворов на четверть. Подворные доли тягла, падавшего на живущую четверть, высчитывались по числу дворов, на нее положенных: если положено было 8 крестьянских дворов, а крестьянин пахал 8-ю долю живущей четверти, он платил с четверика пашни. С расширением тяглой пашни живущая четверть постепенно теряла значение мелкой доли сохи и становилась условной расчетной единицей обложения. На двор, зачисленный на 8-дворной живущей четверти, насчитывался платеж с четверика пашни, хотя бы он пахал 4—5 тяглых четвертей. Разумеется, соразмерно с расширением тяглой пашни возвышался по сошной развертке и оклад, падавший на живущую четверть, т.-е. на группу дворов, на ней числившихся; но этот оклад распределялся по счетным долям живущей четверти. На двор, плативший по книгам с четверика пашни, при окладе в два рубля на четверть насчитывался платеж в 25 коп., сколько бы ни пахал он. Но это был только расчетный, а не действительный пла-

теж: при разверстке тягла двор, плативший по книге с четверика пашни, т.-е. с $^3/_{16}$ дес. в трех полях, но пахавший 4 тяглых десятины, платил на деле не наравне со двором, числившимся тоже на четверике, но пахавшим 8 дес. Пропорциональная пашне разверстка платежа была уже делом самого крестьянского общества или помещика, а не писца-раскладчика.

Финансовая нужда привела к мысли брать в расчет при определении земельного тягла не просто наличную тяглую пашню, а и наличные рабочие силы и местные сельскохозяйственные условия: хотели обложить не только пашню, но и самого пахаря с целью заставить его пахать больше. Это соображение и руководило установкой разнообразного и изменчивого дворового состава, какой полагался на живущую четверть в разных уездах. Не трудно однако предположить, что сложение, построенное на двух различных основах, поземельной и подворной, путало и плательщика, и раскладчика. Эта двойственность увеличивала технические неудобства сошного письма: трудность измерения пахотных площадей и сложения их в сохи с исключением перелогов, наезжей и лесом поросшей пашни, запутанные вычисления долей сохи по своеобразной древнерусской ариѳметике дробей, признававшей числителем только единицу, а знаменателями только числа, делимые на 2 да на 3, расчисление земли доброй, середней и худой, трудность проверки обывательских показаний и ошибок самого писца, не говоря уже об уловках с целью уклониться от тягла или уменьшить его,—все это открывало широкий простор произволу, подвохам и недоразумениям. Подворное обложение было проще и могло быть равномернее. На соборе 1642 г. городовые дворяне заявили правительству настойчивую просьбу собирать деньги и

всякие запасы ратным людям по числу крестьянских дворов, а не по писцовым книгам. Мелким помещикам было виднее, чем кому-либо, что с закрепощением крестьян сельскохозяйственной силой, подлежащей эксплоатации, стали вместо земли рабочие руки с их инвентарем. В 1646 г. и предпринята была общая подворная перепись, которая, поголовно укрепляя крестьян за владельцами без урочных лет, вместе с тем переводила прямое обложение с сошного письма на дворовое число. Подворная перепись была повторена в 1678—79 гг. Так составились окладные описи особого типа, *переписные книги*, которые тем отличались от прежних писцовых, что в последних описывались преимущественно земли, угодья, промыслы—хозяйственные *средства*, по которым население облагалось податью, а в переписных—рабочіе *силы*, которые платили подать, тяглые дворы и их обыватели. Эти переписные книги и служили основаніем подворного податного обложенія. Но и при новой окладной единице порядок расчета и раскладки прямых налогов остался прежний: правительство назначало для каждого податного округа средний подворный оклад подати и по числу тяглых дворов высчитывало общую сумму податных платежей для каждого округа, а эту сумму плательщики сами распределяли между отдельными дворами тяглого общества так же, как прежде между дворами сохи, по платежным средствамъ, по „тяглу и промыслам" каждого двора.

Сословная разверстка прямых налогов.

Переход к подворному обложению вызвал потребность в объединении накопившихся со временем прямых налогов: затруднительно было разверстывать их по столь мелкой окладной единице, как двор. Притом объединением косвенных налогов в 1653 г. дан был образец и для прямых. Но была существенная разница: косвенный налог знает

потребителя, игнорируя его экономическое положение, с которым необходимо считаться налогу прямому. Крепостное право разбило все тяглое население на два разряда: вольные городские и сельские обыватели платили со своего капитала и труда целиком государству, а крепостные делили свой труд между государевой казной и землевладельческой конторой. Объединенную прямую подать приходилось распределять между обоими разрядами плательщиков пропорционально их неодинаковой казенной налогоспособности. Предпочли другой исход, указанный нуждами самой казны. Из прямых налогов, ставших постоянными в XVII в., особенно быстро росла подать на содержание все возраставшего стрелецкого корпуса, стрелецкие деньги: с 1630 по 1663 г. она увеличилась почти в 9 раз. Следствием непосильного для плательщиков взгона подати явились недоимки. После подворной переписи 1678 г., присоединив к стрелецкой подати некоторые другие прямые налоги, указом 5 сентября 1679 г. ее перевели на дворовое число по неодинаковым окладам, „розными статьями". Недоимки увеличивались. Сложив их, правительство в 1681 г. вызвало выборных людей по два человека из города и запросило их: нынешний оклад стрелецких денег платить им в мочь или не в мочь и для чего не в мочь? На этот простодушно-невежественный запрос выборные отвечали, что платить им не в мочь от разорения разными поборами и повинностями. После того комиссии московских гостей поручено было установить более легкий оклад подати, и гости понизили ее на 31%. Московское правительство не совестилось своей неспособности, незнания положения дел и даже охотно выставляло эти качества, как свои естественные законные прерогативы, исправлять которые обязаны управляемые, как обязаны они восполнять его

финансовые недочеты; то и другое было их земской повинностью. По тому же указу 1679 г. полоняничные и ямские деньги также слиты были в одну подать. Эти два объединенные налога и были распределены между двумя разрядами тяглых людей: на тяглое посадское население всех городов и на черных крестьян северных и северо-восточных уездов взамен всех прежних прямых налогов положена была одна стрелецкая подать, разбитая на 10 подворных окладов от 2 руб. до 80 коп. по платежной способности податных округов или разрядов, а владельческие крестьяне остальных уездов, где они были, в виду обременения их господскими повинностями, обложены были ямскими и полоняничными деньгами, соединенными в одну подать, по 10 коп. с двора церковных крестьян, а с крестьян дворцовых и светских землевладельцев по 5 коп., в 8 или 16 раз меньше наименьшего оклада стрелецкой подати. Из этого видно, какой громадный источник дохода уступила казна в безотчетное пользование владельцев крепостных крестьян. Так и финансовая политика следовала общему плану сословной розни, по какому складывался весь социальный московский порядок в XVII в.

Финансы и земство.

Неудачная изобретательность в изыскании новых финансовых средств внушила бережливость в распоряжении наличными. Стремление стянуть все доходы в центральную казну выражалось в сокращении местных расходов, в упразднении местных должностей, требовавших себе корма и теперь признанных излишними, разных горододельцев, сыщиков, ямских приказчиков, житничных голов, даже губных старост. Все дела по этим должностям возложены были на воевод, чтобы тяглым людям в кормах лишней тягости не было и легче было им платить казенные налоги. Но были отменены и поборы на самих воевод с их дьяками и подья-

чими. С тою же целью удешевить взимание налогов на местах воеводы устранены были и от сбора новой стрелецкой подати, и от вмешательства в таможенные и кабацкие сборы: ведение этих дел возложено на самих плательщиков, посадских и уездных людей, через их выборных старост и верных голов с целовальниками под ответственностью избирателей. Так возвращались к земским учреждениям XVI в. Это было не восстановление земского самоуправления, а только переложение казенных дел с корыстных коронных чиновников на местных даровых и ответственных исполнителей.

Тягло задворных.

Переход к подворному обложенню еще в двух отношениях важен для изучения социального склада Московского государства в XVII в.: он расширил пределы податного обложения или, точнее, осложнил состав тяглого населения и притом оставил данныя для суждения о распределении народных рабочих рук между правящими силами государства. Подворное обложение помогло казне найти значительный разряд новых плательщиков. Мы уже видели (л. XLIX), как задворные люди, холопы по юридическому своему значению, были похожи на крестьян по хозяйственному положению и даже по своим договорным отношениям к господам, живя особыми дворами, пользуясь земельными наделами и отбывая крестьянские повинности в пользу владельцев. При переводе тягла с пашни на дворы задворных людей по их дворам стали зачислять в тягло наравне с крестьянами и бобылями: по указанию, встреченному г. Милюковым в платежных отписках, такое зачисление началось с подворной переписи 1678 г. Это—один из первых моментов юридического слияния холопов и владельческих крестьян в один класс крепостных людей, завершившегося при Петре Великом первою ревизией.

Распределение народного труда.

Переписные книги 1678 г. оставили после себя общий по государству итог тяглых дворов, которым потом, даже при Петре В., правительство пользовалось при расчете податного обложения. Этот итог дает возможность представить с некоторой ясностью социальный строй Московского государства, как он сложился к последней четверти XVII в., к кануну реформы Петра. Документы сохранили этот итог в разных цифрах; наиболее надежная из них—самая крупная: другие могли составиться по неполным данным; были побуждения убавлять число тяглых дворов, но не для чего было его преувеличивать. По этому итогу перепись 1678 г. насчитала 888 тыс. тяглых дворов, городских и сельских. Котошихин и указы 1686 и 1687 гг. приводят цифры дворов посадских и черных, т. е. вольных крестьянских, церковных, дворцовых и боярских, принадлежавших боярам, думным и ближним людям, высшему правительственному классу. Исключив сумму дворов всех этих разрядов из общего итога по переписи 1678 г., получим число крестьянских дворов, принадлежавших служилым людям столичным и городовым, дворянству в собственном смысле слова. Распределение всей тяглой массы по разрядам владельцев представляется в таком виде (в круглых цифрах):

Посадских и черных крестьянских дворов . . .	92 тыс.	10,4%
Церковных, архіерейских и монастырских . . .	118 „	13,3%
Дворцовых	83 „	9,3%
Боярских*)	88 „	10%
Дворянских	507 „	57%
	888 тыс.	100%**)

*) В 1686 г. за думами и ближними людьми числилось 87 тыс. крестьянских и бобыльских дворов, за вдовами и недорослями 8500, за стольниками и другими московскими чинами—не показано точно, но более 12 тыс.

**) См. Прил. III.

Этот раздел народного труда дает несколько любопытных указаний. Во-первых, только десятая часть с небольшим всей тяглой массы, городской и сельской, удержала за собой тогдашнюю свободу, непосредственное отношение к государству. Значительно больше половины всего тяглого населения отдано было служилым людям за их обязанность оборонять страну от внешних врагов, десятая часть—правящему классу за труд управления страной, менее одной десятой принадлежало государеву дворцу и значительно более одной десятой—Церкви, именно одна шестая всего церковного крестьянства, почти 20 тыс., обязательно работала на высшую иерархию, т.-е. на монашество, отрекшееся от мира, чтобы духовно править им, и почти пять шестых (исключая крестьян соборных и приходских церквей)—на монастыри, т.-е. на монашество, отрекшееся от мира, чтобы на его счет молиться о его грехах. Наконец, почти девять десятых всего тяглого люда находилось в крепостной зависимости от Церкви, дворца и военно-служилых людей. От государственного организма, так сложившегося, несправедливо было бы ждать желательного роста политического, экономического, гражданского и нравственного.

Чрезвычайные налоги.

Как ни напрягало правительство податное обложение, оно обыкновенно не было в состоянии точно сметить предстоящие ему расходы, чтобы уравновесить их с текущими доходами, и уже среди самого дела, на ходу замечало ошибочность своих предварительных расчетов. Тогда оно прибегало к чрезвычайным средствам. В самое трудное время, в первые годы царствования Михаила, оно вместе с земским собором делало принудительные займы у крупных капиталистов в роде Строгановых или Троицкого Сергиева монастыря. Это были, впрочем, редкие случаи. Обыкновенными, так сказать, источниками чрезвычайных доходов

были „запросы волею" и процентные налоги. Из первого источника почерпались „запросные деньги", из второго *деньги пятая*, *десятая*, *пятнадцатая* и *двадцатая*. Тот и другой источник имел сословное значение. Запрос волею— это добровольная подписка, к какой правительство по соборному договору призывало привилегированные классы, землевладельцев, духовных и служилых, для покрытия чрезвычайных военных расходов. Мы уже видели, как в 1632 г., в начале войны с Польшей, по приговору обоих государей с собором духовные и служилые чины собора одни тут же на заседании заявили, что они готовы дать, а другие обещали принести росписи тому, что кто даст. Подобным порядком испрошено было добровольное вспоможение и у собора 1634 г. Запросные деньги взимались и с некрепостных крестьян, но не в виде добровольной подписки, а как определенный окладной налог в размере от 1 руб. до 25 коп. с двора (14—3 руб. на наши деньги). Процентный налог—финансовое изобретение собора, избравшего новую династию, и падал на торговых людей в размере пятой деньги. В 1614 г., на другой год по избрании Михаила, этот собор приговорил собрать на ратных людей „от избытков по окладу, кто может от живота своего и промыслу на 100 рублев, с того взяти пятую долю—двадцать рублев, а кто может больше или меньше, и с того взять по тому же расчету". Таким образом в приговоре даны зараз по крайней мере три несовместимые основания обложения: *животы*—имущество, *промыслы*—оборотный капитал в соединении с трудом, *избыток по окладу*—чистый доход по оценке окладной комиссии и наконец *возможность* дать больше или меньше—заявление по совести о своем достатке. Соборный приговор в разосланном циркуляре изложен был московскими дьяками по однообразной

дьячей методе всех веков—так, чтобы его можно было понять не менее, как в трех смыслах. Мысль собора 1614 г. была довольно проста. Почему он назначил пятую деньгу, а не четвертую или шестую? Тогда в торговом дисконте при помещении денег в рост обычный и высший законный процент был „на пять шестой“, т.-е. 20%. Заемщик мог брать деньги под такой процент только при возможности выручить занятым капиталом гораздо больше 20%. Значит, этот процент представлял тогда наименьший чистый доход с капитала и при нормальном обороте удвоял его в пять лет. Соборный приговор о пятой деньге с торговых людей требовал, чтоб оборотный капитал уступил нуждавшейся казне один год своего прироста, отсрочив свое пятилетнее удвоение на шестой год. Такова схема налога: он не требовал пятой доли ни всякого имущества, ни всего дохода с него, а брал наименьший чистый годовой доход только с торгового оборотного капитала или доходной недвижимости, лавки, завода и т. п. Но по вине плохого приказного изложения соборный приговор вызвал много недоразумений и даже беспорядки. В одних местах пятую деньгу поняли, как имущественный налог, и окладчики начали описывать всякое имущество, чем вызвали сопротивление плательщиков; в других его взимали по окладу какого-либо обыкновенного налога, например, стрелецкой подати. Ближе подошли к смыслу налога там, где его поняли, как налог на торговый оборот, и высчитав по таможенным книгам, „на сколько рублев чьих товаров в привозе и в отпуске объявилось“, взимали пятую часть их цены. Недоразумения и столкновения повторялись и при последующих процентных сборах, по неясности стереотипного выражения „с животов и промыслов“. На деле однако это были налоги на доход, что̀ прямо отмечает иноземец

Рейтенфельс, бывший в Москве в 1670 г. Сборы эти падали на торговопромышленных людей всякого звания, тяглых и нетяглых, кроме духовенства и „белых“ служилых чинов, на стрельцов, пушкарей, всяких крестьян и бобылей, даже на торговых холопов, „чей кто нибудь торгует“. Пятинный сбор 1614 г. повторился и в 1615 г. Два раза собирали пятую деньгу во вторую польскую войну царя Михаила, в 1633 и 1634 гг. В 1637—38 гг. для обороны от крымцев, удвоив стрелецкую подать, правительство выпросило у земского собора набор даточных с дворцовых и владельческих крестьян и усиленный денежный сбор с торговых людей—с двора около 20 руб. на наши деньги, а с черных крестьян в половину; в 1639 г. чрезвычайный денежный сбор повторился. Сборы поступали с огромной недоимкой—знак, что плательщики изнемогали. Они и жаловались, что им „тяжко вельми“. Если прибавить к этому принудительную скупку казной наиболее прибыльных товаров, например, льна в Пскове по указной цене, мы поймем горечь жалобы местного летописца: „цена невольная, и купля нелюбовная, и во всем скорбь великая, и вражда несказанная, и всей земли ни купити ни продати не смет никому же помимо“. Особенно часты и тяжки были чрезвычайные поборы при царях Алексее и Федоре, когда продолжительные и разорительные войны с Польшей, Швецией, Крымом и Турцией требовали тяжелых жертв людьми и деньгами. В 27 лет (1654—1680) собирали по разу 20-ю и 15-ю деньгу (5% и 6,66%), пять раз 10-ю и дважды 5-ю деньгу (10% и 20%), не считая повторявшихся из года в год сборов в определенном однообразном окладе с двора. Так все эти сверхштатные налоги получали характер временно-постоянных. Чрезвычайные налоги входили особой неокладной статьей в состав обыкновенных доходов.

Роспись 1680 г.

Каких же финансовых успехов достигло правительство в XVII в. своим тяжелым, изменчивым и беспорядочным податным обложением? Котошихин, имея в виду 1660-е годы, пишет, что ежегодно в царскую казну во все московские приказы приходит со всего государства 1.311.000 руб., кроме сибирской пушной казны, которой точно оценить он не умеет, а лишь чаятельно назначает на нее больше 600 тыс. Через 20 слишком лет французский агент Невилль, приехавший в Москву в 1689 г., слышал здесь, что ежегодный доход московской казны не превышает 7—8 милл. французских ливров. Так как ливр в XVII в. ценился у нас в $^1/_6$ руб., то Невилль сообщает сумму, очень близкую к цифре денежного дохода у Котошихина (1.333 тыс. руб.), при чем так же затрудняется определить выручку от продажи казенных товаров. Сохранилась роспись доходов и расходов 1680 г.; ее нашел и разработал г. Милюков в своем исследовании о государственном хозяйстве России в связи с реформой Петра Великого. Сумма доходов здесь высчитана почти в $1^1/_2$ милл. руб. (около 20 милл. на наши деньги). Самую крупную статью денежного дохода, именно 49% составляли косвенные налоги, главным образом таможенные и кабацкие сборы. Прямые налоги давали 44%; наибольшей статьей их являются чрезвычайные налоги (16%). Почти половина денежного дохода шла на военные нужды (около 700.000 руб.). Государев дворец поглощал 15% бюджета доходов. На дела, относящиеся к благоустройству, на общественные постройки, на ямское дело, т.-е. на средства сообщения, отпускалось меньше 5%. Впрочем, роспись дает лишь приблизительное понятие о государственном хозяйстве того времени. Не все поступления доходили до центральных приказов: много денег получалось и расходовалось на

местах. Хотя роспись 1680 г. сведена со значительным остатком, но действительное значение этого бюджета выражалось в том, что ежегодные сметные оклады поступали далеко не сполна: недоимка, накопившаяся по 1676 г., превышала 1 милл., и в 1681 г. ее вынуждены были сложить. Платежные силы народа, очевидно, напряжены были до переистощения.

Лекция LII.

Недовольство положением дел в государстве.—Его причины.—Его проявления. Народные мятежи.—Отражения недовольства в памятниках письменности.—Кн. И. А. Хворостинин.—Патриарх Никон.—Григ. Котошихин.—Юрий Крижанич.

Причины недовольства.

Восстановляя порядок после смуты, московское правительство не задумывало радикальной его ломки, хотело сберечь его старые основы, предпринимало в нем только частичные технические перемены, которые казались ему поправками, улучшениями. Преобразовательные попытки, касавшиеся устройства государственного управления, обособления сословий, подъема государственного хозяйства, были робки и непоследовательны, не вытекали из какого-либо общего, широко задуманного и практически разработанного плана, внушались, повидимому, случайными указаниями текущей минуты. Но эти указания шли в одном направлении, потому что прямо или косвенно исходили из одного источника, из финансовых затруднений правительства, и все его преобразовательные опыты сами собой, с принудительностью физиологической потребности, направлялись к устранению этих затруднений и все имели одинаково печальный исход, все были неудачны. Туже стянутая, строго централизованная администрация не стала ни дешевле, ни исправнее, не сняла с тяглых обществ их

тяжелых казенных служеб; точнее разграниченный сословный строй только усилил рознь общественных интересов и настроений, а финансовые нововведения привели к истощению народных сил, к банкротству и хроническому накоплению недоимок. Всем этим создавалось общее чувство тяжести положения. Двор, личный состав династии и внешняя политика доводили это чувство до глубокого народного недовольства ходом дел в государстве. Московское правительство в первые три царствования новой династии производит впечатление людей, случайно попавших во власть и взявшихся не за свое дело. При трех-четырех исключениях все это были люди с очень возбужденным честолюбием, но без оправдывающих его талантов, даже без правительственных навыков, заменяющих таланты, и—что̀ еще хуже всего этого—совсем лишенных гражданского чувства. Такому подбору государственных дельцов помогало одно, повидимому, случайное обстоятельство. Что-то роковое тяготело над новой династией: судьба решительно не хотела, чтобы выходившие из нового царского рода носители верховной власти дозревали до престола. Из пяти первых царей трое, Михаил, Алексей и Иван, воцарялись, едва вышедши из недорослей, имея по 16 лет, а двое еще моложе. Федор 14 лет, Петр—10. И другая фамильная особенность отличала эту династию: царевны обыкновенно выходили крепкими, живучими, иногда энергичными, мужественными девицами, как Софья, а царевичи, повторяя своего родоначальника, оказывались хилыми, недолговечными, иногда прямо убогими людьми, как Федор и Иван. Даже под живым цветущим лицом царя Алексея скрывалось очень хрупкое здоровье, которого хватило только на 46 лет жизни. Неизвестно, что̀ вышло бы из младшего Алексеева брата Димитрия, уродившегося нравом в пра-

дедушку своего Ивана Грознаго. Но если верить Котошихину, приближенные царя-отца отравили злого мальчика так осторожно, что никто о том не догадался, как будто царевич умер своей смертью. Точно так же и Петра нельзя брать в расчет: он был исключением из всяких правил. У нового царя являлось правительственное окружение прежде, чем он приобрел уменье и охоту распознавать окружающих, а первые сотрудники давали окраску и направление всему царствованию. Это неудобство особенно выразительно сказывалось во внешних делах. Внешней политикой более всего создавались финансовые затруднения правительства, и она же была поприщем, на котором после территориальных потерь, понесенных вследствие смуты, новой династии предстояло прежде всего оправдать свое всеземское избрание. Дипломатия царя Михаила, особенно после плохо рассчитанной и неумело исполненной смоленской кампании, еще отличалась обычной осторожностью побитых. При царе Алексее толчки, полученные отцом, стали забываться. Против воли вовлеченные в борьбу за Малороссию после долгого раздумья, в Москве были окрылены блестящей кампанией 1654—55 гг., когда сразу завоеваны были не только Смоленщина, но и вся Белоруссия и Литва. Московское воображение побежало далеко впереди благоразумия: не подумали, что такими успехами обязаны были не самим себе, а шведам, которые в то же время напали на поляков с запада и отвлекли на себя лучшие польские силы. Московская политика взяла необычайно большой курс; не жалели ни людей, ни денег, чтобы и разгромить Польшу, и посадить московского царя на польский престол, и выбить шведов из Польши, и отбить крымцев и самих турок от Малороссии, и захватить не только обе стороны Поднепровья, но и самую Галицию,

куда в 1660 г. направлена была армия Шереметева,—и всеми этими переплетавшимися замыслами так себя запутали и обессилили, что после 21-летней изнурительной борьбы на три фронта и ряда небывалых поражений бросили и Литву, и Белоруссию, и правобережную Украйну, удовольствовавшись Смоленской и Северской землей да Малороссией левого берега с Киевом на правом, и даже у крымских татар в Бахчисарайском договоре 1681 г. не могли вытягать ни удобной степной границы, ни отмены постыдной ежегодной дани хану, ни признания московского подданства Запорожья.

Его проявления.

Вместе с чувством тяжести принесенных жертв и понесенных неудач росло и недовольство ходом дел. Оно попало на подготовленную смутой почву общей возбужденности и постепенно охватило все общество сверху донизу, только выражалось неодинаково в верхних и нижних слоях его. В народной массе оно сказалось целым рядом волнений, которые сообщили такой тревожный характер XVII веку: это — эпоха народных мятежей в нашей истории. Не говоря о прорывавшихся там и сям вспышках при царе Михаиле, достаточно перечислить мятежи Алексеева времени, чтобы видеть эту силу народного недовольства: в 1648 г. мятежи в Москве, Устюге, Козлове, Сольвычегодске, Томске и других городах; в 1649 г. приготовления к новому мятежу закладчиков в Москве, вовремя предупрежденному; в 1650 г. бунты в Пскове и Новгороде; в 1662 г. новый мятеж в Москве из-за медных денег; наконец, в 1670—71 гг. огромный мятеж Разина на поволжском юго-востоке, зародившийся среди донского казачества, но получивший чисто социальный характер, когда с ним слилось им же возбужденное движение простонародья против высших классов; в 1668—76 гг.

возмущение Соловецкого монастыря против новоисправленных церковных книг. В этих мятежах резко вскрылось отношение простого народа к власти, которое тщательно закрашивалось оффициальным церемониалом и церковным поучением: ни тени не то что благоговения, а и простой вежливости и не только к правительству, но и к самому носителю верховной власти. Несколько иначе обнаружилось недовольство в высших классах. Если в народной массе оно шевелило нервы, то наверху общества оно будило мысль и повело к усиленной критике домашних порядков, и как там толкает к движению злость на общественные верхи, так здесь господствующей нотой протестующих голосов звучит сознание народной отсталости и беспомощности. Теперь едва ли не впервые встречаем мы русскую мысль на трудном и скользком поприще публицистики, критического отношения к окружающей действительности. Заявления такого характера уже были сделаны на земском соборе 1642 г. и на совещании правительственной комиссии с московскими торговыми людьми о причинах дороговизны в 1662 г. Не изменяя своей политической дисциплине, сохраняя почтительный тон, не позволяя себе крикливых оппозиционных нот, земские люди, однако, высказались довольно возбужденно о расстройстве управления, о беспрепятственном нарушении законов привилегированными, о пренебрежении к общественному мнению со стороны правительства, которое по указу государя допросить торговых людей отберет сказки, а исполнит по тем сказкам какую-нибудь малость. Это были осторожные коллективные заявления классовых нужд и мнений. С большей энергией выражались личные суждения некоторых наблюдателей о положении вещей в государстве. Ограничусь немногими примерами, чтобы показать, как

отражалась русская действительность в этих первых опытах общественной критики.

Кн. И. А. Хворостинин.

Первый такой опыт становится известен еще в начале XVII в., во время смуты, и несомненно ею был навеян. Князь И. А. Хворостинин был видным молодым человеком при дворе первого самозванца, сблизился с поляками, выучился по-латыни, начал читать латинские книги и заразился католическими мнениями, латинские иконы чтил наравне с православными. За это при царе Василии Шуйском его сослали на исправление в Іосифов монастырь, откуда он воротился уже совсем озлобленным и погибшим, впал в вольнодумство, отвергал молитву и воскресение мертвых, „в вере пошатался и православную веру хулил, про святых угодников Божиих говорил хульные слова“. При этом он сохранил интерес к церковно-славянской литературе, был большой начетчик по церковной истории, обнаруживал неукротимый задор в частных книжных прениях, вообще отличался ученым самомнением, „в разуме себе в версту не поставил никого“. Он владел и пером, в царствование Михаила написал недурные записки о своем времени, в которых он больше размышляет, чем рассказывает о событиях и людях. Смесь столь разнородных мнений и увлечений, встретившихся в одном сознании и едва ли успевших слиться в цельное и твердое миросозерцание, но одинаково протививших православно-византийским преданиям и понятиям, ставила кн. Хворостинина во враждебное отношение ко всему отечественному. К обрядам русской Церкви он относился с вызывающим презрением, „постов и христианского обычая не хранил“, запрещал своим дворовым ходить в церковь, в 1622 г. пил всю Страстную „без просыпу“, утром в Светлое Воскресение до рассвета напился прежде, чем разговелся пасхой,

не поехал во дворец христосоваться с государем, у заутрени и обедни не был. Поставив себя таким поведением и образом мыслей в полное общественное одиночество, он хотел отпроситься или даже бежать в Литву либо в Рим и уже продавал свой московский двор и вотчины. Царский указ, в котором изложены все эти вины кн. Хворостинина, с особенной горечью осуждает его за грехи против своих соотечественников. При обыске у князя вынуты были собственноручные „книжки" с его произведениями в прозе и стихах, „в виршь", польским силлабическим размером. В этих книжках, как и в разговорах, он выражал скуку и тоску по чужбине, презрение к доморощенным порядкам, писал многие укоризны про всяких людей Московского государства, обличал их в неосмысленном поклонении иконам, жаловался, „будто в Москве людей нет, все люд глупый, жить не с кем, сеют землю рожью, а живут все ложью", и у него общения с ними быть не может никакого; этим де он всех московских людей и родителей своих, от кого родился, обесчестил, положил на них хулу и неразумие и даже титула государева не хотел писать, как следует, именовал его „деспотом русским", а не царем и самодержцем. Князя сослали вторично „под начал" в Кириллов монастырь, где он раскаялся, был возвращен в Москву, восстановлен в дворянстве и получил доступ ко двору. Он умер в 1625 г. Князь Хворостинин—раннее и любопытное явление в русской духовной жизни, ставшее много позднее довольно обычным. Это не был русский еретик типа XVI в. с протестантской окраской, питавший свою мысль догматическими и церковно-обрядовыми сомнениями и толкованиями—отдаленный отзвук реформационной бури на Западе: это был своеобразный русский вольнодумец на католической подкладке, проникшийся глубокой антипатией к византий-

ско-церковной черствой обрядности и ко всей русской жизни, ею пропитанной, — отдаленный духовный предок Чаадаева.

Патриарх Никон.

Довольно неожиданно появление в ряду обличителей доморощенных политических непорядков верховнаго блюстителя доморощенного порядка церковно-нравственного, самого всероссийского патриарха. Но это был не просто патриарх, а сам патриарх Никон. Припомните, как он из крестьян поднялся до патриаршего престола, какое огромное влияние имел на царя Алексея, который звал его своим „собинным другом“, как потом друзья рассорились, вследствие чего Никон в 1658 г. самовольно покинул патриарший престол, надеясь, что царь униженной мольбой воротит его, а царь этого не сделал. В припадке раздраженного чувства оскорбленного самолюбия Никон написал царю письмо о положении дел в государстве. Нельзя, конечно, ожидать от патриарха беспристрастного суждения; но любопытны краски, выбираемые патриархом, чтобы нарисовать мрачную картину современного положения: все они взяты из финансовых затруднений правительства и из хозяйственного расстройства народа. Никон более всего злился на учрежденный в 1649 г. Монастырский приказ, который судил духовенство по недуховным делам и заведывал обширными церковными вотчинами. В этом приказе сидели боярин да дьяки; не было ни одного заседателя из духовных лиц. В 1661 г. Никон и написал царю письмо, полное обличений. Намекая на ненавистный приказ, патриарх пишет, играя словами: „судят и насилуют мирские судьи, и сего ради собрал ты против себя в день судный великий собор, вопиющий о неправдах твоих. Ты всем проповедуешь поститься, а теперь и неведомо, кто не постится ради скудости хлебной; во многих местах и до смерти постятся,

потому что есть нечего. Нет никого, кто был бы помилован: нищие, слепые, вдовы, чернецы и черницы, все данями обложены тяжкими; везде плач и сокрушение; нет никого веселящегося в дни сии". Те же густо-темные краски кладет Никон на финансовое положение государства и в письме 1665 г. к восточным патриархам, перехваченном московскими агентами. Жалуясь на захват царем церковных имуществъ, он пишет: „берут людей на службу, хлеб, деньги, дерут немилостиво; весь род христианский отягчил царь данями сугубо, трегубо и больше,— и все бесполезно".

Григ. Котошихин.

При довольно исключительных обстоятельствах предпринят был при том же царе другой русский опыт изображения московских порядков в их недостатках. Григорий Котошихин служил подьячим Посольского приказа или младшим секретарем в министерстве иностранных дел, исполнял неважные дипломатические поручения, потерпел напраслины, в 1660 г. за ошибку в титуле государя был бит батогами. Во вторую польскую войну, прикомандированный к армии кн. Юрия Долгорукого, он не согласился исполнить незаконные требования главнокомандующего и, убегая от его мести, в 1664 г. бежал в Польшу, побывал в Германии и потом попал в Стокгольм. Несходство заграничных порядков с отечественными, поразившее его во время странствований, внушило ему мысль описать состояние Московского государства. Шведский канцлер гр. Магнус-де-ла-Гарди оценил ум и опытность Селицкаго, как назвал себя Котошихин за границей, и поощрял его в начатом труде, который и был так хорошо исполнен, что стал одним из важнейших русско-исторических памятников XVII в. Но Котошихин дурно кончил. В Стокгольме он прожилъ около полутора года, перешел в протестанство,

слишком подружился с женою хозяина, у которого жил на квартире, чем возбудил подозрение мужа, и в ссоре убил его, за что сложил голову на плахе. Шведский переводчик его сочинения называет автора человеком ума несравненного. Это сочинение в прошлом столетии было найдено в Упсале одним русским профессором и издано в 1841 г. В 13 главах, на которые оно разделено, описываются быт московского царского двора, состав придворного класса, порядок дипломатических сношений Московского государства с иноземными, устройство центрального управленія, войско, городское торговое и сельское население и, наконец, домашний быт высшего московского общества. Котошихин мало рассуждает, больше описывает отечественные порядки простым, ясным и точным приказным языком. Однако у него всюду сквозит пренебрежительный взгляд на покинутое отечество, и такое отношение к нему служит темным фоном, на котором Котошихин рисует, повидимому, беспристрастную картину русской жизни. Впрочем, у него иногда прорываются и прямые суждения, все неблагосклонные, обличающие много крупных недостатков в быту и нравах московских людей. Котошихин осуждает в них „небогобоязненную натуру", спесь, наклонность к обману, больше всего невежество. Русские люди, пишет он, „породою своею спесивы и необычайны (непривычны) ко всякому делу, понеже в государстве своем научения никакого доброго не имеют и не приемлют кроме спесивства и бесстыдства и ненависти и неправды; для науки и обычая (обхождения с людьми) в иные государства детей своих не посылают, страшась того: узнав тамошних государств веры и обычаи и *вольность* благую, начали б свою веру отменять (бросать) и приставать к иным и о возвращении к домам своим и к сродичам никакого бы попечения не имели и не мыслили". Котошихин

рисует карикатурную картинку заседаний Боярской думы, где бояре, „брады своя уставя“, на вопросы царя ничего не отвечают, ни в чем доброго совета дать ему не могут, „потому что царь жалует многих в бояре не по разуму их, но по великой породе, и многие из них грамоте не ученые и не студерованые“. Котошихин мрачно изображает и семейный быт русских. Кто держится мнения, будто древняя Русь при всех своих политических и гражданских недочетах сумела с помощью церковных правил и домостроев выработать крепкую юридически и нравственно семью, для того камнем преткновения ложится последняя глава сочинения Котошихина. „О житии бояр и думных и ближних и иных чинов людей“. Бесстрастно изображены здесь произвол родителей над детьми, цинизм брачного сватовства и сговора, непристойность свадебного обряда, грубые обманы со стороны родителей неудачной дочери с целью как-нибудь сбыть с рук плохой товар, тяжбы, возникавшие из этого, битье и насильственное пострижение нелюбимых жен, отравы жен мужьями и мужей женами, бездушное формальное вмешательство церковных властей в семейные дрязги. Мрачная картина семейного быта испугала самого автора, и он заканчивает свое простое и бесстрастное изображение возбужденным восклицанием: „благоразумный читатель! не удивляйся сему: истинная есть тому правда, что во всем свете нигде такого на девки обманства нет, яко в Московском государстве; а такого у них обычая не повелось, как в иных государствах, смотрити и уговариватися временем с невестою самому“.

Юрий Крижанич.

Суждение русского человека, покинувшего свое отечество, любопытно сопоставить со впечатлениями пришлого наблюдателя, приехавшего в Россию с надеждой найти в ней второе отечество. Хорват, католик и патер Юрий Крижа-

нич был человек с довольно разносторонним образованием, немного философ и богослов, немного политико-эконом, большой филолог и больше всего патриот, точнее, горячий панславист, потому что истинным отечеством для него было не какое-либо исторически известное государство, а объединенное славянство, т.-е. чистая политическая мечта, носившаяся где то вне истории. Родившись подданным турецкого султана, он бедным сиротой вывезен был в Италию, получил духовно-семинарское образование в Загребе, Вене и Болонье и, наконец, поступил в римскую коллегию св. Афанасия, в которой римская Конгрегация для распространения веры (de propaganda fide) вырабатывала специальных мастеров-миссионеров для схизматиков православного Востока. Крижанич предназначался, как славянин, для Московии. Его и самого тянуло в эту далекую страну; он собирает о ней сведения, представляет Конгрегации замысловатые планы ее обращения. Но у него была своя затаенная мысль: миссионерский энтузиазм служил бедному студенту-славянину лишь средством заручиться материальной поддержкой со стороны Конгрегации. Он и считал москвитян не еретиками или схизматиками от суемудрия, а просто христианами, заблуждающимися по невежеству, по простоте душевной. Рано стал он думать и глубоко скорбеть о бедственном положении разбитого и порабощенного славянства, и надобно отдать честь политической сообразительности Крижанича: он угадывал верный путь к объединению славян. Чтобы людям сойтись друг с другом, им надобно прежде всего понимать друг друга, а в этом мешает славянам их разноязычие. И вот Крижанич еще в латинской школе старается не забыть родного языка славянского, старательно изучает его, чтобы достигнуть в нем красноречия, суетится и хлопочет очистить его от примесей, от местной

порчи, так переработать его, чтобы он был понятен всем славянам, для того задумывает и пишет грамматики, словари, филологические трактаты. И другая, только более смелая догадка принадлежит ему: объединение всеразбитого славянства надобно было повести из какого-либо политического центра, а такого центра тогда еще не было налицо, он не успел еще обозначиться, стать историческим фактом, не был даже политическим чаянием для одних и пугалом для других, как стал позднее. И эту загадку чутко разгадал Крижанич. Он, хорват и католик, искал этого будущего славянского центра не в Вене, не в Праге, даже не в Варшаве, а в православной по вере и в татарской по мнению Европы Москве. Над этим можно было смеяться в XVII в., можно пожалуй улыбаться и теперь; но между тогдашним и нашим временем были моменты, когда этого трудно было не ценить. Как будущий центр славянства, Крижанич и называет Россию своим вторым отечеством, хотя у него не было и первого, а была только турецкая родина. Как он угадывал этот центр, чутьем ли возбужденного патриота-энтузиаста, или размышлением политика, сказать трудно. Как бы то ни было, он не усидел в Риме, где Конгрегация засадила его за полемику с греческой схизмой, и в 1559 г. самовольно уехал в Москву. Здесь римско-апостолическая затея, разумеется, была покинута; пришлось смолчать и о своем патерстве, с которым бы его и не пустили в Москву, и он был принят просто как „выходец-сербенин Юрий Иванович“ на ряду с другими иноземцами, приезжавшими на государеву службу. Чтобы создать себе прочное служебное положение в Москве, он предлагал царю разнообразные услуги, вызывался быть московским и всеславянским публицистом, царским библиотекарем, написать правдивую историю Московского царства и всего народа сла-

вянского в звании царского „историка-летописца“; но его оставили с жалованьем до $1^{1}/_{2}$, а потом до 3 руб. в день на наши деньги при его любимой работе над славянской грамматикой и лексиконом: он ведь и ехал в Москву с мыслью повести там дело лингвистического и литературного объединения славянства. Он сам признавался, что ему со своей мыслью о всеславянском языке кроме Москвы и некуда было деваться, потому что с детства он все свое сердце отдал на одно дело, на исправление „нашего искаженного, точнее, погибшего языка, на украшение своего и всенародного ума“. В одном сочинении он пишет: „меня называют скитальцем, бродягой; это неправда: я пришел к царю моего племени, пришел к своему народу, в свое отечество, в страну, где единственно мои труды могут иметь употребление и принести пользу, где могут иметь цену и сбыть мои товары—разумею словари, грамматики, переводы“. Но через год с небольшим неизвестно за что его сослали в Тобольск, где он пробыл 15 лет. Ссылка впрочем только помогла его учено-литературной производительности: вместе с достаточным содержанием ему предоставлен был в Тобольске полный досуг, которым он даже сам тяготился, жалуясь, что ему никакой работы не дают, а кормят хорошо, словно скотину на убой. В Сибири он много писал, там написал и свою славянскую грамматику, о которой так много хлопотал, над которой он, по его словам, думал и работал 22 года. Царь Өедор воротил Юрия в Москву, где он выпросился „в свою землю“, уже не скрывая своего вероисповедания и сана каноника, „попа стриженого“, как объяснили это слово в Москве, и в 1677 г. покинул свое названое отечество.

Крижанич о России.

Изложенные обстоятельства жизни Крижанича имеют некоторый интерес, выясняя угол зрения, под каким скла-

дывались его суждения о России, читаемые нами в самом обширном и тоже сибирском его труде, в *Политичных думах* или в *Разговорах о владательству*, т. е. о политике. Это сочинение состоит из трех частей: в первой автор рассуждает об экономических средствах государства, во второй о средствах военных, в третьей о мудрости, т. е. о средствах духовных, к которым он присоединяет предметы самого различного свойства, преимущественно политического. Таким образом обширное сочинение это имеет вид политического и экономического трактата, в котором автор обнаружил большую и разнообразную начитанность в древней и новой литературе, некоторое знакомство даже с руской письменностью. Для нас в нем всего важнее то, что автор всюду сравнивает состояние западно-европейских государств с порядками государства Московского. Здесь Россия впервые ставится лицом к лицу с западной Европой. Изложу главные суждения, высказанные здесь Крижаничем. Сочинение это имеет вид черновых набросков, то на латинском, то на каком-то особом самодельном славянском языке с поправками, вставками, отрывочными заметками. Крижанич крепко верит в будущее России и всего славянства: они стоят на ближайшей очереди в мировом преемственном возделывании мудрости сменяющимися народами, в переходе наук и искусств от одних народов к другим— мысль, близкая к тому, что высказывали потом о круговороте наук Лейбниц и Петр Великий. Никто да не скажет, пишет Крижанич, изобразив культурные успехи других народов, будто нам, славянам, каким-то небесным роком заказан путь к наукам. А я думаю, именно теперь настало время нашему племени учиться: теперь на Руси возвысил Бог славянское царство, какого по силе и славе никогда еще не бывало среди нашего племени; а такие царства—

обычные рассадники просвещения. „Адда и нам треба учиться, яко под честитым царя Алексея Михайловича владанием мочь хочем древния дивячины плесень отерть, уметелей ся научить, похвальней общения начин приять и блаженеего стана дочекать“. Вот образчик всеславянского языка, о котором так хлопотал Крижанич. Смысл его слов: значит, и нам надобно учиться, чтобы под властью московского царя стереть с себя плесень застарелой дикости, надобно обучиться наукам, чтобы начать жить более пристойным общежитием и добиться более благополучного состояния. Но этому мешают две беды или язвы, которыми страдает все славянство: чужебесие“, бешеное пристрастие ко всему чужеземному, как толкует это слово сам автор, и следствие этого порока, „чужевладство“, иноземное иго, тяготеющее над славянами. Злобная нота звучит у Крижанича всякий раз, как заводит он речь об этих язвах, и его воображение не скупится на самые отталкивающие образы и краски, чтобы достойно изобразить ненавистных поработителей, особенно немцев. „Ни один народ под солнцем, пишет он, искони веков не был так изобижен и посрамлен от иноземцев, как мы славяне от немцев; затопило нас множество инородников; они нас дурачат, за нос водят, больше того—сидят на хребтах наших и ездят на нас, как на скотине, свиньями и псами нас обзывают, себя считают словно богами, а нас дураками. Что ни выжмут страшными налогами и притеснениями из слез, потов, неволных постов русского народа, все это пожирают иноземцы, купцы греческие, купцы и полковники немецкие, крымские разбойники. Все это от чужебесия: всяким чужим вещам мы дивимся, хвалим их и превозносим, а свое домашнее житие презираем“. В целой главе Крижанич перечисляет „срамоты и обиды“ народные, ка-

кие славяне терпят от иноземцев. России суждено избавить славянство от язв, которыми сама она не меньше страдает. Крижанич обращается к царю Алексею с такими словами: „Тебе, пречестный царь, выпал жребий промышлять обо всем народе славянском; ты, царь, один дан нам от Бога, чтобы пособить задунайцам, чехам и *ляхам*, чтобы сознали они свое угнетение от чужих, свой позор и начали сбрасывать с шеи немецкое ярмо“. Но когда Крижанич присмотрелся в России к жизни всеславянских спасителей, его поразило множество неустройств и пороков, которыми они сами страдают. Сильнее всего восстает он против самомнения русских, их чрезмерного пристрастия к своим обычаям и особенно против их невежества; это главная причина экономической несостоятельности русского народа. Россия—бедная страна сравнительно с западными государствами, потому что несравненно менее их образована. Там на Западе, пишет Крижанич, разумы у народов хитры, сметливы, много книг о земледелии и других промыслах, есть гавани, цветут обширная морская торговля, земледелие, ремесла. Ничего этого нет в России. Для торговли она заперта со всех сторон либо неудобным морем, пустынями, либо дикими народами; в ней мало торговых городов, нет ценных и необходимых произведений. Здесь умы народа тупы и косны, нет уменья ни в торговле, ни в земледелии, ни в домашнем хозяйстве; здесь люди сами ничего не выдумают, если им не покажут, ленивы, непромышленны, сами себе добра не хотят сделать, если их не приневолят к тому силой; книг у них нет никаких ни о земледелии, ни о других промыслах; купцы не учатся даже ариѳметике и иноземцы во всякое время беспощадно их обманывают. Истории, старины мы не знаем и никаких политических разговоров вести не можем, за что нас иноземцы

презирают. Та же умственная лень сказывается в некрасивом покрое платья, в наружном виде и в домашнем обиходе, во всем нашем быту: нечесаные головы и бороды делают русского мерзким, смешным, каким-то лесовиком. Иноземцы осуждают нас за неопрятность: мы деньги прячем в рот, посуды не моем; мужик подает гостю полную братину и „оба-два пальца в ней окунул". В иноземных газетах писали: если русские купцы зайдут в лавку, после них целый час нельзя войти в нее от смрада. Жилища наши неудобны: окна низкие, в избах нет отдушин, люди слепнут от дыма. Множество и нравственных недостатков отмечает Крижанич в русском обществе: пьянство, отсутствие бодрости, благородной гордости, одушевления, чувства личного и народного достоинства. На войне турки и татары хоть и побегут, но не дадут себя даром убивать, обороняются до последнего издыхания, а наши „вояки" ежели побегут, так уж бегут без оглядки—бей их, как мертвых. Великое наше народное лихо — неумеренность во власти: не умем мы ни в чем меры держать, средним путем ходить, а все норовим по окраинам да пропастям блуждать. Правление у нас в иной стране в конец распущено, своевольно, безнарядно, а в другой черезчур твердо, строго и жестоко; во всем свете нет такого безнарядного и распущенного государства, как польское, и такого крутого правления, как в славном государстве русском. Огорченный всеми этими недостатками, Крижанич готов отдать преимущество перед русскими даже туркам и татарам, у которых он советует русским учиться трезвости, справедливости, храбрости и даже стыдливости. Очевидно Крижанич не закрывал глаз перед язвами русского общества, напротив, может-быть, даже преувеличивал наблюдаемые недостатки. Очевидно, и Крижанич—славянин, не умел ни в чем меры

держать, прямо и просто смотреть на вещи. Но Крижанич не только плачется, а и размышляет, предлагает средства для исцеления оплакиваемых недугов. Эти средства разработаны у него в целую преобразовательную программу, которая получает для нас значение более важное, чем какое могли бы иметь досужие размышления славянского пришельца, посетившего Москву в XVII в. Он предлагает 4 средства исправления. Это: 1) просвещение, наука, книги — мертвые, но мудрые и правдивые советники. 2) Правительственная регламентация, действие сверху. Крижанич верует в самодержавие: в России, говорит он, полное „самовладство“; царским повелением все можно исправить и завести все полезное, а в иных землях это было бы невозможно. „Ты, царь, обращается Крижанич к царю Алексею, держишь в руках чудотворный жезл Моисеев, которым можешь творить дивные чудеса в управлении: в твоих руках полное самодержавие“. На это средство Крижанич возлагает большие надежды, хотя предлагает довольно странные способы его применения: не знает, например, купец ариѳметики — запереть указом его лавочку, пока не выучится. 3) Политическая свобода. При самодержавии не должно быть жестокости в управлении, обременении народа непосильными поборами и взятками, того, что Крижанич называет „людодерством“. Для этого необходимы известные „слободины“, политические права, сословное самоуправление. Купцам надо предоставить право выбирать себе старост с сословным судом, ремесленников соединить в цеховые корпорации, всем промышленным людям дать право ходатайствовать перед правительством о своих нуждах и о защите от областных правителей, крестьянам обеспечить свободу труда. Умеренные слободины Крижанич считает уздой, воздерживающей правите-

лей от „худобных похотей“, единственным щитом, коим подданные могут оборониться от приказнических злостей и может быть ограждена правда в государстве; ни запреты, ни казни не удержат правителей, „думников“, от их людодерских дум, где нет слободин. 4) Распространение технического образования. Для этого государство должно властно вмешаться в народное хозяйство, учредить по всем городам технические школы, указом завести даже женские училища рукоделий и хозяйственных знаний с обязательством для жениха спрашивать у невесты свидетельства, чему она обучалась у мастериц-учительниц, давать волю холопам, обучившимся мастерству, требующему особых технических знаний, переводить на русский язык немецкие книги о торговле и ремеслах, призвать из-за границы иноземных немецких мастеров и капиталистов, которые обучали бы русских мастерству и торговле. Все эти меры должны быть направлены на усиленную принудительную разработку естественных богатств страны и широкое распространение новых производств, особенно металлических.

Значение его суждений.

Такова программа Юрия Крижанича. Она, как видим, очень сложна и несвободна от некоторой внутренней нескладицы. Крижанич допустил в свой план достаточно противоречий, по крайней мере неясностей. Трудно понять, как он мирил друг с другом средства, предлагаемые им для исправления недостатков русского общества, какие, например, полагал он границы между правительственной регламентацией, скрепляемой самовладством, и общественным самоуправлением, или как он надеялся избавить славянскую шею от сидящих на ней немцев, переводя немецкие книги о ремеслах и призывая немецких ремесленников, как у него „гостогонство“, гонение иноземцев, ужи-

валось с признаваемою им невозможностью обойтись без иноземного мастера. Но, читая преобразовательную программу Крижанича, невольно воскликнешь: да это программа Петра Великого, даже с ее недостатками и противоречиями, с ее идиллической верой в творческую силу указа, в возможность распространить образование и торговлю посредством переводной немецкой книжки о торговле или посредством временного закрытия лавочки у купца, не выучившегося ариѳметике. Однако именно эти противоречия и это сходство придают особый интерес суждениям Крижанича. Он единственный в своем роде пришлый наблюдатель русской жизни, непохожий на множество иноземцев, случайно попадавших в Москву и записавших свои тамошние впечатления. Последние смотрели на явления этой жизни, как на куриозные странности некультурного народа, занимательные для праздного любопытства—не более того. Крижанич был в России и чужой, и свой, чужой по происхождению и воспитанию, свой по племенным симпатиям и политическим упованиям. Он ехал в Москву не просто наблюдать, а проповедывать, пропагандировать всеславянскую идею и звать на борьбу за нее. Эта цель прямо и высказана в латинском эпиграфе *Разговоров*: „В защиту народа! хочу вытеснить всех иноземцев, поднимаю всех днепрян, ляхов, литовцев, сербов, всякого, кто есть среди славян воинственный муж и кто хочет ратовать заодно со мною“. Надобно было сосчитать силы сторон, имевших столкнуться в борьбе, и восполнить недочеты своей стороны по образцам противной, высматривая и заимствуя у нее то, в чем она сильнее. Отсюда любимые приемы изложения у Крижанича: он постоянно сравнивает и проектирует, сопоставляет однородные явления у славян и на враждебном

им Западе и предлагает одно из своего сохранить, как было, другое исправить по-западному. Отсюда же и видимые его несообразности: это—противоречия самой наблюдаемой жизни, а не ошибки наблюдателя: приходилось заимствовать чужое, учиться у врагов. Он ищет и охотно отмечает, что в русской жизни лучше, чем у иноземцев, защищает ее от инородческих клевет и напраслин. Но он не хочет обольщать ни себя, ни других: он ждет чудес от самодержавия; но разрушительное действие крутого московского управления на нравы, благосостояние и внешние отношения народа ни у одного предубежденного иностранца не изображено так ярко, как в главе *Разговоров* о московском людодерстве. Он не поклонник всякой власти и думает, что если бы опросить всех государей, то многие не сумели бы объяснить, зачем они существуют на свете. Он ценил власть в ее идее, как культурное средство, и мистически веровал в свой московский жезл Моисеев, хотя, вероятно, слышал и про страшный посох Грозного, и про костыль больного ногами царя Михаила. Общий сравнительный подсчет наблюдений вышел у Крижанича делеко не в пользу своих: он признал решительное превосходство ума, знаний, нравов, благоустройства, всего быта инородников. Он ставит вопрос: какое же место занимаем мы, русские и славяне, среди других народов, и какая историческая роль назначена нам на мировой сцене? Наш народ—средний между „людскими“, культурными народами и восточными дикарями и как таковой должен стать посредником между теми и другими. От мелочных наблюдений и детальных проектов мысль Крижанича поднимается до широких обобщений: славяно-русский Восток и инородческий Запад у него—два особые мира, два резко различные культурные типа. В одном из разговоров, какие он вводит в свой трак-

тат, довольно остроумно сопоставлены отличительные свойства славян, преимущественно русских, и западных народов. Те наружностью красивы и потому дерзки и горды, ибо красота рождает дерзость и гордость; мы ни то, ни се, люди средние обличием. Мы не красноречивы, не умеем изъясняться, а они речисты, смелы на язык, на речи бранные, „лаяльные", колкие. Мы косны разумом и просты сердцем: они исполнены всяких хитростей. Мы не бережливы и мотоваты, приходу и расходу сметы не держим, добро свое зря разбрасываем: они скупы, алчны, день и ночь только и думают, как бы потуже набить свои мешки. Мы ленивы к работе и наукам: они промышленны, не проспят ни одного прибыльного часа. Мы—обыватели убогой земли, они—уроженцы богатых, роскошных стран и на заманчивые произведения своих земель ловят нас, как охотники зверей. Мы просто говорим и мыслим, просто и поступаем, поссоримся и помиримся: они скрытны, притворны, злопамятны, обидного слова до смерти не забудут, раз поссорившись, вовеки искренно ни помирятся, а помирившись всегда будут искать случая к отместке.—Крижаничу можно отвести особое, но видное место среди наших исторических источников: более ста лет не находим в нашей литературе ничего подобного наблюдениям и суждениям, им высказанным. Наблюдения Крижанича дают изучающему новые краски для изображения русской жизни XVII в., а его суждения служат проверкой впечатлений, выносимых из ее изучения.

Ни письма Никона, ни сочинения Котошихина и Крижанича не получили в свое время общей известности. Сочинение Котошихина не было никем прочитано в России до четвертого десятилетия минувшего века, когда его нашел в библиотеке Упсальского университета один русский профес-

сор. Книга Крижанича была „на верху", во дворце у царей Алексея и Федора; списки ее находились у влиятельных приверженцев царевны Софьи Медведева и кн. В. Голицына; кажется при царе Федоре ее собирались даже напечатать. Мысли и наблюдения Крижанича могли пополнить запас преобразовательных идей, роившихся в московских правительственных умах того времени. Но всем этим людям XVII в., суждения которых я изложил, нельзя отказать в важном значении для изучающих тот век, как показателям тогдашнего настроения русского общества. Самой резкой нотой в этом настроении было недовольство своим положением. С этой стороны особенно важен Крижанич, как наблюдатель, с видимым огорчением описывавший неприятные явления, которых он не желал бы встретить в стране, представлявшейся ему издали могучей опорой всего славянства. Это недовольство—чрезвычайно важный поворотный момент в русской жизни XVII в., оно сопровождалось неисчислимыми последствиями, которые составляют существенное содержание нашей дальнейшей истории. Ближайшим из них было начало влияния западной Европы на Россию. На происхождении и первых проявлениях этого влияния я и хочу остановить ваше внимание.

Лекция LIII.

Западное влияние.—Его начало.—Почему оно началось в XVII в.— Встреча двух иноземных влияний и их различие.—Два направления в умственной жизни русского общества.—Постепенность западного влияния.—Полки иноземного строя.—Заводы.—Помыслы о флоте.—Мысль о народном хозяйстве.—Новая Немецкая слобода. Европейский комфорт. – Театр. – Мысль о научном знании.—Первые проводники его.—Научные труды Киевских ученых в Москве. Начатки школьного образования.—Домашнее обучение. С. Полоцкий.

Обращаясь к началу западного влияния в России, необходимо наперед точнее определить самое понятие *влияния*. И прежде, в XV—XVI вв., Россия была знакома с западной Европой, вела с ней кое-какие дела, дипломатические и торговые, заимствовала плоды ее просвещения, призывала ее художников, мастеров, врачей, военных людей. Это было *общение*, а не влияние. Влияние наступает, когда общество, его воспринимающее, начинает сознавать превосходство среды или культуры влияющей и необходимость у нее учиться, нравственно ей подчиняться, заимствуя у нее не одни только житейские удобства, но и самые основы житейского порядка, взгляды, понятия, обычаи, общественные отношения. Такие признаки появляются у нас в отношении к западной Европе только с XVII в. Вот в каком смысле говорю я *о начале* западного влияния с этого времени.

Начало западного влияния.

Здесь мы обращаемся к истокам течений в нашей истории, продолжающихся доселе. Почему же не в XVI в. началось это влияние, духовно-нравственное подчинение? Его источник—недовольство своей жизнью, своим положением, а это недовольство исходило из затруднения, в каком очутилось московское правительство новой династии и которое отозвалось с большей или меньшей тягостью во всем обществе, во всех его классах. Затруднение состояло в невозможности справиться с насущными потребностями государства при наличных домашних средствах, какие давал существующий порядок, т. е. в сознании необходимости новой перестройки этого порядка, которая дала бы недостававшие государству средства. Такое затруднение не было новостью, не испытанной в прежнее время; необходимость подобной перестройки теперь не впервые почувствовалась в московском обществе. Но прежде она не приводила к тому, что случилось теперь. С половины XV в. московское правительство, объединяя Великороссию, все живее чувствовало невозможность справиться с новыми задачами, поставленными этим объединением, при помощи старых удельных средств. Тогда оно и принялось строить новый государственный порядок, понемногу разваливая удельный. Оно строило этот новый порядок без чужой помощи, по своему разумению, из материалов, какие давала народная жизнь, руководясь опытами и указаниями своего прошлого. Оно еще верило попрежнему в неиспользованные заветы родной старины, способные стать прочными основами нового порядка. Потому эта перестройка только укрепляла авторитет родной старины, поддерживала в строителях сознание своих народных сил, питала национальную самоуверенность. В XVI в. в русском обществе сложился даже взгляд на объединительницу Русской земли Москву, как на центр

и оплот всего православного Востока. Теперь было совсем не то: прорывавшаяся во всем несостоятельность существующего порядка и неудача попыток его исправления привели к мысли о недоброкачественности самых оснований этого порядка, заставляли многих думать, что истощился запас творческих сил народа и доморощенного разумения, что старина не даст пригодных уроков для настоящего и потому у нее нечему больше учиться, за нее не для чего больше держаться. Тогда и начался глубокий перелом в умах: в московской правительственной среде и в обществе появляются люди, которых гнетет сомнение, завещала ли старина всю полноту средств, достаточных для дальнейшего благополучного существования; они теряют прежнее национальное самодовольство и начинают оглядываться по сторонам, искать указаний и уроков у чужих людей, на Западе, все более убеждаясь в его превосходстве и в своей собственной отсталости. Так на место падающей веры в родную старину и в силы народа является уныние, недоверие к своим силам, которое широко растворяет двери иноземному влиянию.

Почему оно началось в XVII в.

Трудно сказать, отчего произошла эта разница в ходе явлений между XVI и XVII вв., почему прежде у нас не замечали своей отсталости и не могли повторить созидательного опыта своих близких предков: русские люди XVII в. что-ли оказались слабее нервами и скуднее духовными силами сравнительно со своими дедами, людьми XVI в., или религиозно-нравственная самоуверенность отцов подорвала духовную энергию детей? Всего вероятнее, разница произошла от того, что изменилось наше отношение к западно-европейскому миру. Там в XVI и XVII вв. на развалинах феодального порядка создались большие централизованные государства; одновременно с этим и на-

родный труд вышел из тесной сферы феодального поземельного хозяйства, в которую он был насильственно заключен прежде. Благодаря географическим открытиям и техническим изобретениям ему открылся широкий простор для деятельности, и он начал усиленно работать на новых поприщах и новым капиталом, городским или торгово-промышленным, который вступил в успешное состязание с капиталом феодальным, землевладельческим. Оба эти факта, политическая централизация и городской, буржуазный индустриализм, вели за собою значительные успехи с одной стороны в развитии техники административной, финансовой и военной, в устройстве постоянных армий, в новой организации налогов, в развитии теорий народного и государственного хозяйства, а с другой — успехи в развитии техники экономической, в создании торговых флотов, в развитии фабричной промышленности, в устройстве торгового сбыта и кредита. Россия не участвовала во всех этих успехах, тратя свои силы и средства на внешнюю оборону и на кормление двора, правительства, привилегированных классов с духовенством включительно, ничего не делавших и неспособных что либо сделать для экономического и духовного развития народа. Потому в XVII в. она оказалась более отсталой от Запада, чем была в начале XVI в. Итак, западное влияние вышло из чувства национального бессилия, а источником этого чувства была все очевиднее вскрывавшаяся в войнах, в дипломатических сношениях, в торговом обмене скудость собственных материальных и духовных средств перед западно-европейскими, что вело к сознанию своей отсталости.

Его отношение к греческому.

Западное влияние, проникая в Россию, встретилось здесь с другим господствовавшим в ней дотоле влиянием восточным, греческим или византийским. Между обоими этими

влияниями можно заметить существенную разницу, и я теперь же сопоставлю их, чтобы видеть, что оставляло в России одно из них и что приносило с собою другое. Греческое влияние было принесено и проводилось Церковью и направлялось к религиозно-нравственным целям. Западное влияние проводилось государством и призвано было первоначально для удовлетворения его материальных потребностей, но не удержалось в этой своей сфере, как держалось греческое в своей. Византийское влияние далеко не захватывало всех сторон русской жизни: оно руководило лишь религиозно-нравственным бытом народа, снабжало украшениями и поддерживало туземную государственную власть, но давало мало указаний в деле государственного устроения, внесло несколько норм в гражданское право, именно в семейные отношения, слабо отражалось в ежедневном житейском обиходе и еще слабее в народном хозяйстве, регулировало праздничное настроение и времяпровождение и то лишь до конца обедни, но мало увеличило запас положительных знаний, не оставило заметных следов в будничных привычках и понятиях народа, предоставив во всем этом свободный простор самобытному национальному творчеству или первобытному невежеству. Но не захватывая всего человека, не лишая его туземных национальных особенностей, его самобытности, оно зато в своей сфере захватывало все общество сверху донизу, проникало с одинаковой силой во все его классы; оно и сообщало такую духовную цельность древнерусскому обществу. Напротив, западное влияние постепенно проникало во все сферы жизни, изменяя понятие и отношение, напирая одинаково сильно на государственный порядок, на общественный и будничный быт, внося новые политические идеи, гражданские требования, формы общежития, новые

области знания, переделывая костюм, нравы, привычки и верования, перелицовывая наружный вид и перестраивая духовный склад русского человека. Однако, захватывая всего человека, как личность и как гражданина, оно, по крайней мере, доселе не успело захватить всего общества: с такой поглощающей силой оно подействовало лишь на тонкий, вечно подвижной и тревожный слой, который лежит на поверхности нашего общества. Итак, греческое влияние было церковное, западное—государственное. Греческое влияние захватывало все общество, не захватывая всего человека; западное захватывало всего человека, не захватывая всего общества.

Два направления

Встречей и борьбой этих двух влияний порождены два направления в умственной жизни русского общества, два взгляда на культурное положение нашего народа. Развиваясь и осложняясь, меняя цвета, названия и приемы действия, оба направления проходят двумя параллельными струями в нашей истории. То скрываясь куда-то, то выступая наружу, как речки в песчаной пустыне, они всего более оживляют вялую общественную жизнь, направляемую темной, тяжелой и пустой государственной деятельностью, какая с некоторыми светлыми перерывами томительно длилась до половины XIX в. Впервые оба направления обозначились во второй половине XVII в. в вопросе о времени пресуществления св. даров и в тесно связанном с ним споре о сравнительной пользе изучения языков греческого и латинского, так что приверженцев обоих направлений можно было бы назвать эллинистами и латинистами. Во второй половине XVIII в. яблоко раздора бросила в русское общество французская просветительная литература в связи с вопросом о значении реформы Петра, о самобытном национальном развитии. Националисты-самобытники

называли себя люборуссами, а противников корили кличками русских полуфранцузов, галломаннов, вольнодумцев, чаще всего вольтерьянцев. Лет 70 тому назад приверженцы одного взгляда получили название западников; сторонников другого прозвали славянофилами. Можно так выразить сущность обоих взглядов на этой последней стадии их развития. Западники учили: по основам своей культуры мы—европейцы, только младшие по историческому своему возрасту, и потому должны итти путем, пройденным нашими старшими культурными братьями, западными европейцами, усвояя плоды их цивилизации. Да, возражали славянофилы, мы—европейцы, но восточные, имеем свои самородные начала жизни, которые и обязаны разрабатывать собственными усилиями, не идя на привязи у западной Европы. Россия не ученица и не спутница, даже не соперница Европы: она—ее преемница. Россия и Европа—это смежные всемирно-исторические моменты, две преемственные стадии культурного развития человечества. Усеянная монументами—позволяю себе слегка пародировать обычный, несколько приподнятый тон славянофилов, — усеянная монументами западная Европа—обширное кладбище, где под нарядными мраморными памятниками спят великие покойники минувшего; лесная и степная Россия — неопрятная деревенская люлька, в которой беспокойно возится и беспомощно кричит мировое будущее. Европа отживает, Россия только начинает жить, и так как ей придется жить после Европы, то ей надо уметь жить без нее, своим умом, своими началами, грядущими на смену отживающим началам европейской жизни, чтобы озарить мир новым светом. Значит, наша историческая молодость обязывает нас не к подражанию, не к заимствованию плодов чужих культурных усилий, а к самостоятельной работе над принципами

собственной исторической жизни, сокрытыми в глубине нашего народного духа и еще не изношенными человечеством. Итак оба взгляда не только различно смотрят на историческое положение России в Европе, но и указывают ей различные пути исторического движения. Теперь не время предпринимать оценку этих взглядов, разбирать, каково историческое назначение России, суждено ли ей стать светом Востока, или оставаться только тенью Запада. Мимоходом можно отметить привлекательные особенности обоих направлений. Западники отличались дисциплиной мысли, любовью к точному изучению, уважением к общему знанию; славянофилы подкупали широкой размашистостью идей, бодрой верой в народные силы и той струйкой лирической диалектики, которая так мило прикрывала в них промахи логики и прорехи эрудиции. Я изложил оба взгляда в их окончательном складе, осложненном разными туземными и сторонними примесями предпрошлаго и прошлаго века. Моя задача отметить минуту их зарождения и их первоначальный незатейливый вид. Напрасно ведут их с реформы Петра: они родились в головах людей XVII в. и именно людей, переживших смуту. Может-быть, зарождение этих направлений подметил дьяк Иван Тимоѳеев, написавший в начале царствования Михаила *Временник*, т.-е. записки о своем времени, начиная с царствования Ивана Грозного. Это очень умный наблюдатель: у него есть идеи и принципы. Он—политический консерватор: несчастия своего времени он объясняет изменой старине, разрушением древних законных установлений, отчего русские люди начали вертеться точно колесо; он горько жалуется на отсутствие в русском обществе мужественной крепости, на неспособность его дружным отпором помешать какому-нибудь произвольному или незакон-

ному нововведению. Русские не верят друг другу, поворачиваются каждый спиною к другому: одни смотрят на восток, другие—на запад. Да, так у него и сказано на его вычурном языке: „мы друг друзе любовным союзом растояхомся, к себе кождо нас хребты обращахомся—овии к востоку зрят, овии же к западу“. Что это, удачное ли выражение, или меткое наблюдение,—я сказать не умею; во всяком случае во второе десятилетие XVII в., когда писал Тимоѳеев, западничество у нас было больше выходкой отдельных чудаков, подобных кн. Хворостинину, чем обдуманным общественным движением. Во всяком обществе всегда найдутся чуткие люди, которые раньше других начинают думать и делать то, что потом будут думать и делать все, не сознавая, почему они начинают так думать и делать, как есть болезненно-чуткие люди, которые предчувствуют перемену погоды раньше, чем здоровые почувствуют ее наступление.

Постепенность влияния.

Теперь познакомимся с первыми проявлениями западного влияния. Это влияние, насколько оно воспринималось и проводилось правительством, развивалось довольно последовательно, постепенно расширяя поле своего действия. Эта последовательность исходила из желания, скорее из необходимости для правительства согласовать нужды государства, толкавшие в сторону влияния, с народной психологией и собственной косностью, от него отталкивавшими. Правительство стало обращаться к иноземцам за содействием прежде всего для удовлетворения наиболее насущных материальных своих потребностей, касавшихся обороны страны, военного дела, в чем особенно больно чувствовалась отсталость. Оно брало из-за границы военные, а потом и другие технические усовершенствования нехотя, не заглядывая далеко вперед, в возможные последствия

своих начинаний и не допытываясь, какими усилиями западно-европейский ум достиг таких технических успехов и какой взгляд на мироздание и на задачи бытия направлял эти усилия. Понадобились пушки, ружья, машины, корабли, мастерства. В Москве решили, что все эти предметы безопасны для душевного спасения, и даже обучение всем этим хитростям было признано делом безвредным и безразличным в нравственном отношении: ведь и церковный устав допускает в случае нужды отступление от канонических предписаний в подробностях ежедневного обихода. Зато в заветной области чувств, понятий, верований, где господствуют высшие, руководящие интересы жизни, решено было не уступать иноземному влиянию ни одной пяди.

Полки иноземного строя.

Этой осторожной уступке русская армия XVII в. обязана была важными нововведениями, русская обрабатывающая промышленность своими первыми успехами. Не раз горьким опытом изведана была несостоятельность нашей конной дворянской милиции при встрече с регулярной пехотой Запада, обученной строю и вооруженной огнестрельным боем. Уже с конца XVI в. Московское правительство начало восполнять свои рати иноземными боевыми силами. Сначала думали пользоваться боевой техникой Запада непосредственно, нанимая иноземных ратников и выписывая из-за границы боевые снаряды. С первых лет царствования Михаила правительство посылает в походы вместе с туземной ратью наемные отряды, одним из которых командовал выезжий английский князь Астон. Потом сообразили, что выгоднее перенять боевой строй у иноземцев, чем просто нанимать их, и начали отдавать русских ратных людей на выучку иноземным офицерам, образуя свои правильно устроенные и обученные полки. Этот трудный переход русской армии к регулярному строю предпринят

был около 1630 г., перед второй войной с Польшей. Долго и хлопотливо с осторожностью побитых готовились к этой войне. Охотников итти на московскую службу было на Западе вдоволь: в странах, прямо или косвенно захваченных Тридцатилетней войной, бродило много боевого люда, искавшего работы для своей шпаги. Там уже знали, что срок перемирия (Деулинскаго) у Москвы с Польшей на исходе и—быть войне. В 1631 г. наемный полковник Лесли подрядился набрать в Швеции пятитысячный отряд охочих пеших солдат, закупить для них оружие и подговорить немецких мастеров для нового пушечного завода, устроенного в Москве голландцем Коэтом. В то же время другой подрядчик, полковник Фандам взялся нанять в других землях *регимент* в 1760 человек добрых и ученых солдат, также привести немецких пушкарей и опытных инструкторов для обучения русских служилых людей ратному делу. Иноземная воинская техника обходилась Москве не дешево: на подъем, вооружение и годовое содержание Фандамова полка понадобилось до полутора милл. рублей на наши деньги; командиру пехотнаго полка, нанятого Лесли, по контракту назначено было в год жалованья не менее 22 тыс. руб. на наши деньги. Наконец, в 1632 г. двинули под Смоленск 32 тысячи войска с 158 орудиями. В состав этого корпуса входили 6 пехотных полков иноземного строя под начальством наемных полковников. В этих полках числилось более $1^1/_2$ тыс. наемных немцев и до 13 тыс. русских солдат иноземного строя. Современный русский хронограф с удивлением замечает, что никогда в русской рати не бывало столько пехоты с огнестрельным вооружением, с „огненным боем“, и именно русской пехоты, обученной солдатскому строю и бою. Неудача всех этих приготовлений под Смоленском не остановила реорганизации

войска, дальнейший ход которой нам уже известен. Для ее упрочения еще при царе Михаиле был составлен устав для обучения ратных людей иноземному строю, напечатанный при царе Алексее в 1647 г. под заглавием: *Учение и хитрость ратного строения пехотных людей.*

Заводы.

Заведение полурегулярного войска само собою возбуждало вопрос о средствах его вооружения. Оружие и артиллерийские снаряды выписывались из-за границы. Перед войной 1632 г. велено было полковнику Лесли закупить в Швеции 10 тыс. мушкетов для армии с зарядами и 5 тыс. шпаг, а во время войны выписывали из Голландии десятки тысяч пудов пороха и железных ядер, платя большую пошлину. Это было дорого и хлопотливо; стали думать о выделке собственного оружия. Нужда в оружейных заводах заставила обратить внимание на минеральные богатства страны. У нас вырабатывалось железо в окрестностях Тулы и Устюжны из местных руд; это железо переделывалось на домашних горнах в гвозди и другие предметы домашнего обихода; в Туле выделывали даже оружие, самопалы, т.-е. ружья. Но все это не удовлетворяло нужд военного ведомства, и железо тысячами пудов выписывалось из Швеции. Чтобы повести металлургическое дело в более широких размерах, нужно было призвать на помощь иноземные знания и капиталы. Тогда и начались усиленные поиски всякой руды и принялись вызывать из-за границы „рудознатцев“, горных инженеров и мастеров. Уже в 1626 г. разрешен был свободный приезд в Россию английскому инженеру Бульмерру, который „своим ремеслом и разумом знает и умеет находить руду золотую и серебряную и медную и дорогое каменье места такие знает достаточно“. С помощью выписных мастеров снаряжались разведочные экспедиции для разыска-

ния и разработки серебряной и всякой иной руды в Соликамск, на Северную Двину, Мезень, на Канин Нос, на Югорский Шар, на Печору, к реке Косве, даже в Енисейск. В 1634 г. посылали в Саксонию и Брауншвейг нанимать медиплавильных мастеров с обещанием, что „им меди будет делать в Московском государстве много“: значит, успели найти обильные залежи медной руды. Нашлись и заводчики, иноземные капиталисты. В 1632 г., перед самой войной с Польшей, голландский купец Андрей Виниус с товарищами получил концессию на устройство заводов близ Тулы для выделки чугуна и железа, обязавшись приготовлять для казны по удешевленным ценам пушки, ядра, ружейные стволы и всякое железо. Так возникли тульские оружейные заводы, после взятые в казну. Чтобы обеспечить их рабочими, к ним приписана была целая дворцовая волость: так положено было начало классу заводских крестьян. В 1644 г. другой компании иноземцев с гамбургским купцом Марселисом во главе дана была 20-летняя концессия на устройство железоделательных заводов по рекам Ваге, Костроме, Шексне и в других местах на таких же условиях. В самой Москве еще при царе Михаиле был на Поганом пруде при реке Неглинной завод, на котором иноземные мастера отливали большое количество пушек и колоколов; здесь и русские довольно хорошо выучивались литейному делу. Заводчикам вменялось в непременную обязанность русских людей, отданных им на выучку, учить всякому заводскому делу и никакого мастерства от них не скрывать. В одно время с железными строились заводы поташные, стеклянные и другие. Вслед за рудознатцами потянулись в Москву из-за границы по зову правительства мастера пушечные, бархатного, канительного, часового дела и „водяного взвода“, каменщики,

литейщики, живописцы: трудно сказать, каких только мастеров не выписывала тогда Москва и все с условием: „нашего-б государства люди то ремесло переняли“. Понадобился даже западно-европейский ученый: магистр лейпцигского университета Адам Олеарий, несколько раз бывавший в Москве в должности секретаря голштинского посольства и составивший замечательное описание Московского государства, в 1639 г. получил приглашение на царскую службу в таких выражениях: „ведомо нам, великому государю, учинилось, что ты гораздо научен и навычен астрологии и географус и небесного бегу и землемерию и иным многим надобным мастерствам и мудростям, а нам таков мастер годен“. По Москве пошли враждебные толки, что скоро приедет волшебник, который по звездам узнает будущее, и Олеарий отклонил предложение. На Западе люди и государства богатели широкой морской торговлей, которая велась многочисленными торговыми флотами. Мысли о флоте, о гаванях, о морской торговле начали сильно занимать и московское правительство уже с половины XVII в.: помышляли нанять в Голландии корабельных плотников и людей, которые могли бы управлять морскими кораблями; помянутый нами купец Виниус предлагал построить гребной флот для Каспийского моря. В 1669 г. на Оке, в Коломенском уезде, в селе Дединове построили для Каспийского моря корабль *Орел*, вызвав для того корабельных мастеров из Голландии. Корабль с несколькими мелкими судами обошелся в 9 тыс. рублей, около 125 тыс. руб. на наши деньги, и был спущен к Астрахани; но там этот первенец русского флота, как известно, в 1670 г. был сожжен Разиным. В Московском государстве были гавани на Белом море у Архангельска, на Мурмане в устье Колы, но слишком удаленные от

Помыслы о флоте.

Москвы и от западно-европейских рынков; от Балтийского моря мы были отрезаны шведами. В Москве возникает своеобразная мысль взять напрокат для будущего московского флота чужие гавани. В 1662 г. московский посол проездом в Англию много говорил с курляндским канцлером, нельзя ли как-нибудь завести московские корабли в курляндских гаванях. Курляндский канцлер ответил, что великому государю пристойнее заводить корабли у своего города Архангельска.

Мысль о народном хозяйстве.

Среди всей этой заводской и рудокопной хлопотни в московском правительстве начинает как будто пробиваться мысль, особенно трудно ему дававшаяся. Оно строило свое финансовое хозяйство исключительно на узко-фискальном расчете, знало только казенную прибыль и не хотело иметь никакого понятия о народном хозяйстве. При новом расходе, не покрываемом наличными поступлениями, оно обращалось к своей привычной финансовой арифметике, пересчитывало списочных плательщиков, по их числу распределяло „всвал" понадобившуюся сумму и предписывало собрать ее с угрозами за недобор в виде единовременного „запроса" или постоянного налога, предоставляя плательщикам верстаться между собою, как знают, и добывать деньги для платежа, как умеют. Недоимки и докучливые жалобы, что платить невмочь, служили единственными сдержками такой беспечальной финансовой политики. Увеличивая налоги, правительство не принимало никаких мер к усилению налогоспособности народного труда. Однако, наблюдения над торгово-промышленной оборотливостью и мастеровым уменьем иноземцев и настойчивые указания своих торговых людей, внушенные такими же наблюдениями, постепенно вовлекали московских финансистов в круг незнакомых им народно-хозяйственных понятий и

отношений и против их воли расширяли их правительственный кругозор, навязывали им трудные для их умов мысли, что возвышению налогов должен предшествовать подъем производительности народного труда, а для того он должен быть направлен на новые доходные производства, на открытие и разработку втуне лежащих богатств страны, для чего нужны мастера, знания, навыки, организация дела. Такие помыслы—первое впечатление, произведенное западным влиянием на московское правительство и нашедшее себе отзвук и в обществе. Вызванные им правительственные хлопоты, поиски руды, корабельных лесов, мест для соловарен, устройство лесопильных заводов, опросы обывателей о ведомых им прибыльных угодьях возбуждали население видами на новый заработок и государево жалованье за указания. Людям, указывавшим выгодное рудное месторождение, обещали награду рублей в 500, 1000 и больше на наши деньги. Донесут в Москву о большой алебастровой горе на С. Двине—из Москвы шлют экспедицию с немцем во главе осмотреть и описать гору, договориться с торговыми людьми, почем можно продать за море пуд алебастру, нанять рабочих для ломки камня. Пошли слухи и толки, что наверху жалуют за всякую полезную новость, какую кто найдет или придумает. Когда в обществе возникает стремление, отвечающее насущной потребности, оно овладевает людьми, как мода или эпидемия, волнует наиболее восприимчивые воображения и вызывает болезненные увлечения или рискованные предприятия. Устройство внешней обороны страны, открытия и изобретения для ее усиления стали животрепещущими вопросами со времени народных потерь и унижений, причиненных иноземцами в Смуту. В 1629 г. тверской поп Нестор подал царю челобитную с извещением о „ве-

ликом деле, какого Бог не открывал еще никому из прежде живущих людей ни у нас, ни в других государствах, но которое Он открыл ему, попу Нестору, на славу государю и на избавление нашей огорченной земле, на страх и удивление ее супостатам". Обещал поп Нестор состроить государю дешево походный городок, в котором ратные люди могут защищаться, как в настоящей неподвижной крепости. Напрасно бояре упрашивали изобретателя сделать модель или чертеж придуманного им подвижного редута, чтобы показать его государю. Поп объявил, что, не видав государевых очей, ничего не скажет, потому что не верит боярам. Его сослали в Казань и три года продержали там в монастыре в цепях за то, что сказывает за собою великое дело, а дела не объявляет и делает это как будто для смуты, не в своем разуме.

Так московское правительство и общество почувствовали настоятельную нужду в военной и промышленной технике западной Европы, даже решимость поучиться той и другой. Может-быть, в первое время ничего кроме этой техники и не требовалось насущными потребностями государства, но общественное движение, раз возбужденное известным толчком, обыкновенно на самом ходу осложняется новыми мотивами, влекущими его дальше намеченного предела.

Новая Немецкая слобода.

Усиленный спрос привлек в Москву множество иноземных техников, офицеров и солдат, врачей, мастеров, купцов, заводчиков. Еще в XVI в. при Грозном из западноевропейских пришельцев образовалась под Москвой по р. Яузе Немецкая слобода. Бури смутного времени разметали это иноземное гнездо. С воцарения Михаила, когда усилился прилив иноземцев в столицу, они селились здесь где ни попало, покупая дворы у туземцев, заводили пивныя, построили кирки внутри города. Тесное соприкосновение

пришельцев с туземцами, соблазны и столкновения, отсюда возникавшие, жалобы московского духовенства на соседство кирок с русскими церквами смущали московские власти, и при царе Михаиле был издан указ, воспрещавший немцам покупать дворы у москвичей и строить кирки внутри Москвы. Олеарий рассказывает об одном из случаев, вынуждавших у правительства меры к разобщению москвичей и иноземцев. Жены немецких офицеров, взятые из иноземных купеческих семейств в Москве, глядя свысока на простых купчих, хотели и в кирке садиться впереди их; но те не уступали, и раз у них завязался в церкви с офицершами спор, перешедший в драку. Поднявшийся шум вышел на улицу и привлек к себе внимание патриарха, на беду проезжавшего в это время мимо кирки. Узнав в чем дело, владыка, как блюститель церковного порядка и среди иноверцев, приказал сломать кирку, и она была в тот же день срыта до основания. Этот случай надобно отнести к 1643 г., когда старые кирки внутри Москвы указано было сломать и отведено было место для новой кирки за земляным валом, а в 1652 г. и все немцы, рассеянные по Москве, выселены были из столицы за Покровку на р. Яузу и там на месте бывших некогда немецких дворов отведены были им участки по чину и званию каждого. Так возникла новая Немецкая или Иноземная слобода, скоро разросшаяся в значительный и благоустроенный городок с прямыми широкими улицами и переулками, с красивыми деревянными домиками. По сведениям Олеария, в слободе уже в первые годы ее существования было до тысячи человек, а другой иноземец Мейрберг, бывший в Москве в 1660 г., неопределенно говорит о множестве иностранцев в слободе. Там были три лютеранские церкви, одна реформатская и немецкая школа. Разноплеменное, разноязычное и разнозванное население

пользовалось достатком и жило весело, не стесняемое в своих обычаях и нравах. Это был уголок западной Европы, приютившийся на восточной окраине Москвы.

Европейский комфорт.

Это немецкое поселение и стало проводником западно-европейской культуры в таких сферах московской жизни, где она еще не требовалась насущными материальными нуждами государства. Мастера, капиталисты и офицеры, которых правительство выписывало для внешней обороны и для внутренних хозяйственных надобностей, вместе со своей военной и промышленной техникой приносили в Москву и западно-европейский комфорт, житейские удобства и увеселения, и любопытно следить за московскими верхами, как они падко бросаются на иноземную роскошь, на привозные приманки, ломая свои старые предубеждения, вкусы и привычки. Внешние политические отношения, несомненно, поддерживали эту наклонность к иноземным удобствам и развлечениям. Частые посольства, приезжавшие в Москву из-за границы, возбуждали здесь желание показаться иноземным наблюдателям в лучшем виде, показать, что и здесь умеют жить, как живут хорошие люди. Притом, как известно, царь Алексей считался некоторое время кандидатом на польский престол и старался устроить придворную жизнь у себя на подобие польского королевского двора. Русским послам, отправлявшимся за границу, правительство наказывало внимательно присматриваться к обстановке и увеселениям заграничных дворов, и можно заметить, какое важное значение придавали эти послы в своих дипломатических донесениях придворным балам и особенно спектаклям. Дворянин Лихачев, отправленный в 1659 г. к тосканскому герцогу с дипломатическим поручением, был приглашен во Флоренции на придворный бал со спектаклем. В посольском донесении эта „игра“ или „комедия“ описана с ме-

лочными подробностями—знак, что таким делом интересовались в Москве. Москвичи старались не пропустить ни одной сцены, ни одной декорации. „Объявилися палаты, и быв палата и вниз уйдет, и того было шесть перемен; да в тех же палатах объявилося море, колеблемо волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят, а вверху палаты небо, а на облаках сидят люди... Да спущался с неба на облаке сед человек в корете, да против его в другой корете прекрасная девица, а аргамачки (рысаки) под коретами как есть живы, ногами подрягивают. А князь сказал, что одно—солнце, а другое—месяц... А в иной перемене объявилося человек с 50 в латах и почали саблями и шпагами рубитися и из пищалей стреляти и человека с три как будто и убили. И многие предивные молодцы и девицы выходят из занавеса в золоте и танцуют; и многие диковинки делали“. Котошихин, описывая быт высших московских классов, говорит, что Московского государства люди „домами своими живут негораздо устроенными“, а в домах своих живут „без великого ж устроения“, без особенного удобства и благолепия. На рисунках упомянутого Мейерберга видим митрополита крутицкого, едущего в неуклюжих санях, и наглухо закрытую кибитку, в какой выезжала царица. Теперь, подражая иноземным образцам, царь и бояре в Москве начинают выезжать в нарядных немецких каретах, обитых бархатом, с хрустальными стеклами, украшенных живописью; бояре и богатые купцы начинают строить каменные палаты на место плохих деревянных хором, заводят домашнюю обстановку на иноземный лад, обивают стены „золотыми кожами“ бельгийской работы, украшают комнаты картинами, часами, которые царь Михаил, невольный домосед с больными ногами, решительно не знавший, куда девать свое время, так любил, что загромоздил ими свою комнату, заводят музыку

на пирах: у царя Алексея во дворце во время вечернего стола „в органы играл немчин, в трубы трубили и по литаврам били“. Иноземное искусство призывалось украшать туземную грубость. Царь Алексей своему любимцу, воспитателю и потом свояку, боярину Б. И. Морозову подарил свадебную карету, обтянутую золотой парчею, подбитую дорогим соболем и окованную везде вместо железа чистым серебром; даже толстые шины на колесах были серебряные. В 1648 г., грабя дом Морозова, мятежники ободрали и исковеркали эту драгоценность. Тот же царь на помянутом вечернем пиру с немецкой музыкой жаловал своих гостей с духовником своим включительно, напоил всех допьяна; разъехались далеко за полночь. Московским послам предписывалось подговаривать за границей на государеву службу трубачей самых добрых и ученых, которые умели бы со всяким свидетельством на высокой трубе танцы трубить. При дворе и в высшем кругу развивается страсть к „комедийным действам“, театральным зрелищам. Не без религиозной робости отважились в Москве на это увеселение, „бесовскую игру, пакость душевную“, по воззрениям строгих блюстителей истого благочестия. Царь Алексей советовался об этом с духовником, который разрешил ему театральные зрелища, приводя в оправдание примеры византийских императоров. „Комедии“ играла на придворной сцене драматическая труппа, спешно набранная из детей служилых и торговых иноземцев и кое-как обученная пастором лютеранской церкви в Немецкой слободе, магистром Иоганном Готфридом Грегори, которому царь в 1672 г. на радости о рождении царевича Петра указал „учинить комедию“. Для этого в подмосковном селе Преображенском, впоследствии любимом месте игр Петра, построен был театр, „комидийная хоромина“. Здесь в конце того года царь и

смотрел поставленную пастором комедию об Эсфири, так ему понравившуюся, что он пожаловал режиссера „за комедийное строение“ соболями ценой до 1500 руб. на наши деньги. Кроме Эсфири Грегори ставил на царском театре еще Юдифь, „прохладную“, т.-е. веселую комедию об Іосифе, „жалостную“ комедию об Адаме и Еве, т.-е. о падении и искуплении человека и др. Несмотря на библейские сюжеты, это были не средневековые нравоучительные мистерии, а переводные с немецкого пьесы нового пошиба, поражавшие зрителя страшными сценами казней, сражений, пушечной пальбой, и вместе с тем (за исключением трагедии об Адаме и Еве) смешившіе примесью комического, точнее балаганного элемента в лице шута, необходимого персонажа такой пьесы, с грубыми, часто непристойными выходками. Спешили заготовить и своих природных актеров. В 1673 г. у Грегори уже училось комедийному делу 26 молодых людей, набранных в комедианты из московской Новомещанской слободы. Не успели еще завести элементарной школы грамотности, а уже поспешили устроить театральное училище. От комедий с библейским содержанием скоро перешли и к балету: в 1674 г. на заговенье царь с царицей, детьми и боярами смотрели в Преображенском комедию, как Артаксеркс велел повесить Амана, после чего немцы и дворовые люди министра иностранных дел Матвеева, также обучавшиеся у Грегори театральному искусству, играли на „фиолях, органах и на страментах и танцовали“. Все эти новости и увеселения, повторю, были роскошью для высшего московского общества; зато они воспитывали в нем новые более утонченные вкусы и потребности, незнакомые русским людям прежних поколений. Остановится ли московское общество на этих удобствах и увеселениях, которые оно столь нетерпеливо заимствовало?

Мысли о научном знании.

На западе житейские удобства и изящные развлечения имели источником не одно счастливое экономическое положение зажиточных и досужих классов общества, не одни прихоти их избалованного вкуса: в создании этого комфорта участвовали продолжительные духовные усилия отдельных лиц и целых обществ; внешние украшения жизни развивались там об руку с успехами мысли и чувства. Человек стремится создать себе житейскую обстановку, соответствующую его вкусам и взгляду на жизнь; но нужно много подумать и о своих вкусах, и о самой жизни, чтобы правильно установить это соответствие. Заимствуя чужую обстановку, невольно и нечувствительно усвояем вкусы и понятия, ее создавшие; без того самая обстановка покажется бесвкусной и непонятной. Наши предки XVII в. думали иначе: первоначально, заимствуя западно-европейский комфорт, они думали, что им не понадобится усвоять чужие знания и понятия, не придется отказываться от своих. В этом состояла их простодушная ошибка, в какую впадают все мнительные и запоздалые подражатели. В Москве XVII в., бросаясь на заморские приманки, так же стали понемногу и смутно чувствовать те духовные интересы и усилия, которыми они были созданы, и полюбили эти интересы и усилия, прежде чем уяснили себе их отношение к доморощенным понятиям и вкусам, полюбили их сперва тоже как житейское развлечение, как приятный и еще неиспытанный моцион засидевшейся на Требнике мысли. В одно время с заимствованием иноземных потешных „хитростей“ и увеселительных „вымыслов“ в высших московских кругах как будто пробуждается умственная любознательность, интерес к научному образованию, охота к размышлению о таких предметах, которые не входили въ обычный кругозор древнерусского человека, в круг его ежедневных

насущных потребностей. При дворе составляется кружок влиятельных любителей западно-европейского комфорта и даже образования: дядя царя Алексея, ласковый и веселый Никита Ив. Романов, первый богач после царя и самый популярный из бояр, покровитель и любитель немцев, большой охотник до их музыки и костюма и немножко вольнодумец; потом воспитатель и свояк царя Бор. Ив. Морозов, в преклонных летах горько жаловавшийся на то, что в молодости не получил надлежащего образования, одевший своего питомца с состоявшими при нем сверстниками в немецкое платье; окольничий Ѳед. Мих. Ртищев, ревнитель наук и школьного образования; начальник Посольского приказа, образованный дипломат Аф. Лавр. Ордин-Нащокин; его преемник, боярин Артам. Серг. Матвеев, дьячий сын, другой любимец царя, первый москвич, открывший в своем по европейски убранном доме нечто в роде журфиксов, собрания с целью поговорить, обменяться мыслями и новостями, с участием хозяйки и без попоек, устроитель придворного театра. Так нечувствительно изменялось отношение русского общества к западной Европе: прежде на нее смотрели только как на мастерскую военных и других изделий, которые можно купить, не спрашивая, как они делаются; теперь стал устанавливаться взгляд на нее, как на школу, в которой можно научиться не только мастерствам, но и умению жить и мыслить.

Первые проводники зап. влияния.

Но древняя Русь и здесь не изменила своей обычной осторожности: она не решалась заимствовать западное образование прямо из его месторождений, от его мастеров и работников, а искала посредников, которые могли бы передать ей это образование в обезвреженной переработке. Кто же мог стать таким посредником? Между старой Московской Русью и западной Европой лежала страна сла-

вянская, но католическая—Польша. Церковное родство и географическое соседство связали ее с романо-германской Европой, а раннее и несдержанное развитие крепостного права в связи с политической свободой высших классов сделало польское дворянство праздной и восприимчивой почвой для западного образования; но особенности страны и национального характера сообщили своеобразный местный пошиб заимствованной культуре. Замкнутая в кругу одного сословия, пользовавшегося исключительным господством в государстве, она воспитывала живое и веселое, но узкое и распущенное миросозерцание. Эта Польша и была первой передатчицей духовного влияния западной Европы на Русь: западно-европейская цивилизация в XVII в. приходила в Москву прежде всего в польской обработке, в шляхетской одежде. Впрочем, сначала даже не чистый поляк приносил ее к нам. Значительная часть православной Руси была связана с польской Речью Посполитой насильственными политическими узами. Национальная и религиозная борьба западно-русского православного общества с польским государством и римским католицизмом заставляла русских борцов обращаться к оружию, которым была сильна противная сторона, к школе, к литературе, к латинскому языку; во всем этом западная Русь к половине XVII в. далеко опередила восточную. Западно-русский православный монах, выученный в школе латинской или в русской, устроенной по ее образцу, и был первым проводником западной науки, призванным в Москву.

Е. Славинецкий и А. Сатановский.

Этот призыв начат был самим московским правительством. Здесь западное влияние встретилось с движением, шедшим с другой стороны. Изучая происхождение русского церковного раскола, мы увидим, что это движение было вызвано нуждами русской Церкви и частию направлялось

даже против западного влияния; но противные стороны сошлись на одном общем интересе, на просвещении, временно подали друг другу руки для совместной деятельности. В древнерусской письменности не было полного и исправного кодекса Библии. Русская церковная иерархия, поднимавшая такой чуть не вселенский догматический шум из-за вопросов об аллилуии и о секуляризации монастырских земель, на протяжении веков довольно спокойно обходилась без полного и исправного текста слова Божия. В половине XVII в. (1649—1650 гг.) в Москву выписали из Киева из тамошней академии при Братском монастыре и из Печерской лавры ученых монахов Епифания Славинецкого, Арсения Сатановского и Дамаскина Птицкого, поручив им перевести Библию с греческого языка на славянский. Киевские ученые вознаграждались умереннее немецких наемных офицеров: Епифанию с Арсением положено было поденного корму по 4 алтына, около 600 р. в год на наши деньги, не считая дарового помещения в Чудовом монастыре со столом и добавочным питьем из дворца по 2 чарки вина да по 4 кружки меду и пива на день; впрочем, потом денежный оклад был удвоен. Выписанные ученые кроме исполнения главного заказанного им дела должны были удовлетворять и другим потребностям московского правительства и общества. По заказам царя или патриарха они составляли и переводили разные образовательные пособия и энциклопедические сборники, географии, космографии, лексиконы; все такие книги стали бойко спрашиваться московским читающим обществом, особенно при дворе и в Посольском приказе; такие же книги выписывали через русских послов из-за границы, из Польши. Епифаний перевел географию, *Книгу врачевскую анатомию*, *Гражданство и обучение нравов детских*, т.-е. сочинение о политике и

педагогии. Сатановский перевел книгу *О граде царском*, сборник всякой всячины, составленный из греческих и латинских писателей, языческих и христианских, и обнимавший весь круг тогдашних ходячих познаний по всевозможным наукам, начиная богословием и философией и кончая зоологией, минералогией и медициной. Пользовались всякими литературными силами, попадавшимися под руку, привлекая к делу вместе с киевлянами и немцев. Некто фон-Дельден, служивший в Москве переводчиком, перевел на русский несколько книг с латинского и французского, а Дорн, бывший австрийским послом в Москве, перевел краткую космографию. Сообщая об этом, Олеарий прибавляет, что такие книги читаются многими из любознательной московской знати. Новую письменность этого рода поощряли не одни чисто научные, но и практические запросы. Около этого времени в ней распространяются переводные лечебники. В старой описи дел Посольского приказа находим такое любопытное указание: в 1623 г. состоявший на московской службе голландец Фандергин представил в приказ какую-то статью об „алхимисской мудрости и об иных делех“; после того в 1626 г. он подал в тот же приказ записку „о высшей философской алхимеи“. Очевидно, в Москве с большим любопытством собирали сведения о той таинственной и соблазнительной науке, помощью которой надеялись узнать искусство делать золото. Но самое содержание переводных и компилятивных сборников Славинецкого и Сатановского указывает на пробуждение научного интереса, насколько он был тогдашним московским умам доступен.

Начатки школьного образования.

Так почувствовалась московским обществом потребность в книжном знании, в научном образовании, и посеяны были зачатки школьного обучения, как необходимого средства для приобретения такого образования. Эта потребность

поддерживалась все учащавшимися сношениями с западными государствами, заставлявшими московскую дипломатию изучать их положение и взаимные отношения. В Москве пытаются завести школы и правительство, и частные лица. Восточные греческие иерархи давно не раз указывали московским царям на необходимость завести в Москве греческую школу и типографию. Из Москвы искали и просили, с Востока предлагали и присылали учителей для этой школы; но дело все как-то не удавалось. При царе Михаиле едва было и не устроилась желанная школа. В 1632 г. приехал от александрийского патриарха монах Іосиф. Его убедили остаться в Москве и поручили ему переводить на славянский язык греческие полемические книги против латинских ересей, а также на „учительном дворе учить малых робят греческому языку и грамоте“. Дело не пошло за скорой смертью Іосифа; однако мысль основать в Москве учебное заведение, которое служило бы рассадником просвещения для всего православного Востока, не была покинута ни в Москве, ни на Востоке. Близ патриаршего двора (в Чудовом монастыре) учредили греко-латинскую школу, которой управлял грек Арсений, а этот грек приехал в Москву в 1649 г., но скоро был сослан по подозрению в неправоверии на Соловки. И Епифаний Славинецкий с Арсением Сатановским вызывались в Москву, между прочим, „для риторского учения“; но неизвестно, нашлись ли у них ученики в Москве. В 1665 г. трем подьячим из приказов Тайного и Дворцового велено было учиться „по-латыням“ у западно-русского ученого Симеона Полоцкого, для чего в Спасском монастыре в Москве построено было особое здание, которое в документах так и зовется „школой для грамматичного учения“. Не думайте, что это были настоящие, правильно устроенные на наш взгляд

школы с выработанным уставом, учебными планами и программами, постоянным преподавательским штатом и т. п. Это были случайные и временные поручения тому или другому приезжему ученому обучать греческому или латинскому языку молодых людей, которых посылало к ним правительство или которые сами хотели у них учиться. Таков был первоначальный вид русской казенной школы в XVII в., бывший прямым продолжением древнерусского способа обучения грамоте: духовные лица или особые мастера брали детей на выучку за условленную плату. По местам частные лица, а может быть и общества, строили для этого особые здания: являлась как бы постоянная публичная школа. В 1685 г. в г. Боровске близ торговой площади стояла подле городской богадельни „школа для учения детям", построенная местным священником. Можно думать, что на нужды домашнего или школьного обучения рассчитаны были и появляющиеся около половины XVII в. учебные издания: так в 1648 г. была издана в Москве славянская грамматика западно-русского ученого Мелетия Смотрицкого, а в 1649 г. перепечатали изданный в Киеве краткий катехизис Петра Могилы, ректора киевской академии и потом киевского митрополита. Частные лица соперничали с правительством в содействии просвещению. Впрочем, и эти ревнители просвещения принадлежали обыкновенно к правительственному классу. Самым горячим из таких ревнителей был доверенный советник царя Алексея, окольничий Ф. М. Ртищев. Он устроил под Москвой Андреевский монастырь, куда в 1649 г. на свой счет вызвал из Киево-Печерского и других малороссийских монастырей до 30 ученых монахов, которые должны были переводить иностранные книги на русский язык и обучать желающих грамматике греческой, латинской

и славянской, риторике, философии и другим словесным наукам. Сам Ртищев стал студентом этой вольной школы, ночи просиживал в монастыре, беседуя с учеными, учился у них греческому языку и упросил Епифания Славинецкого составить греко-славянский лексикон для нужд этой школы. К приезжим южно-русским старцам примкнули и некоторые из московских ученых монахов и священников. Так возникло в Москве ученое братство, своего рода вольная академия наук. Пользуясь своим значением при дворе, Ртищев заставлял некоторых из служащей московской молодежи ходить к киевским старцам в Андреевский монастырь учиться по-латыни и по-гречески. В 1667 г. прихожане московской церкви Иоанна Богослова (в Китае-городе) задумали устроить при своем храме училище, не простую приходскую школу грамоты, а общеобразовательное учебное заведение с преподаванием „грамматической хитрости, языков: славянского, греческого и латинского и прочих свободных учений“. Они подали о том челобитную царю и при этом били еще некоему „честному и благоговейному мужу“ быть ходатаем пред царем об их деле, просили благословения у патриархов московского и восточных, бывших тогда в Москве по делу Никона, и наконец московский патриарх, преимущественно во уважение к неотступным молениям того благоговейного мужа, едва ли не того же Ртищева, который и внушил мысль об училище, соизволил и благословение дал „да трудолюбивии спудеи (студенты) радуются о свободе взыскания и свободных учений мудрости и собираются во общее гимнасион ради изощрения разумов от благоискусных дидаскалов“. Неизвестно, была ли открыта эта школа.

С. Полоцкий.

Люди высшего московского класса старались запастись средствами для домашнего образования своих детей, при-

нимая к себе в домы приезжих учителей, западно-русских монахов и даже поляков. Сам царь Алексей подавал пример в этом. Он не удовлетворился элементарным обучением, какое получили его старшие сыновья Алексей и Өедор от московского приказного учителя, велел обучать их иноземным языкам латинскому и польскому и для довершения их образования призвал западно-русского ученого монаха Симеона Ситиановича Полоцкого, воспитанника киевской академии, знакомого и с польскими школами. Симеон — приятный учитель, облекавший науку в привлекательные формы. В его виршах можно видеть стихотворный конспект его уроков. Здесь он касается и политических предметов, стараясь развить в своих царственных питомцах политическое сознание.

Како гражданство преблаго бывает,
Гражданствующим (правителям) знати подобает.

Он рисует своим ученикам политический идеал отношений царя к подданным в образе доброго пастыря и овец.

Тако начальник должен есть творити—
Бремя подданных крепостно носити,
Не презирати, не за псы имети,
Паче любви, яко своя дети.

Интерес к переводным и даже подлинным польским книгам вместе с польским языком при помощи домашних учителей проникает во дворец московского царя и в дома московского боярства. Старшие сыновья царя Алексея, как я сказал, обучены были языкам польскому и латинскому; царевич Федор выучился даже искусству слагать вирши и был сотрудником С. Полоцкого в стихотворном переложении Псалтыря, переложил два псалма. О нем говорили, что он был любитель наук, особенно математических. Одна из царевен, Софья, также обучалась польскому

языку и читала польские книги, даже букву *у* писала полатыни. По свидетельству Лазаря Барановича, архиепископа черниговского, в его время „царский синклит польского языка не гнушался, но читал книги и истории ляцкие в сладость“. Иные из московского общества старались черпать западную науку из первых источников и тем усерднее, что она стала считаться необходимою для успехов на службе. Боярин Матвеев учил своего сына латинскому и греческому языку. Предшественник его по управлению Посольским приказом Ордин - Нащокин окружил своего сына пленными поляками, которые внушили ему такую любовь к западу, что соблазнили молодого человека бежать за границу. Первый русский резидент в Польше Тяпкин отдал своего сына в польскую школу. В 1675 г., посылая его в Москву с дипломатическим поручением, отец представил его во Львове королю Яну Собескому. Молодой человек произнес перед Королем речь, в которой благодарил его „за хлеб, за соль и за науку школьную“. Речь была сказана на тогдашнем школьном полупольском и полулатинском жаргоне, причем, по донесению отца, „сынок так явственно и изобразительно свою орацию предложил, что ни в одном слове не запнулся“. Король пожаловал оратору сотню злотых и 15 аршин красного бархата.

Так почувствовали в Москве потребность в европейском искусстве и комфорте, а потом и в научном образовании. Начали иноземным офицером и немецкой пушкой, а кончили немецким балетом и латинской грамматикой. Вызванное насущными материальными нуждами государства, западное влияние вместе с необходимым приносило и то, чего не требовали эти нужды, без чего можно было пока обойтись, с чем можно было еще повременить.

Лекция LIV.

Начало реакции западному влиянию.—Протест против новой науки.—Церковный раскол.—Повесть о его начале.—Как обе стороны объясняют его происхождение.—Сила религиозных обрядов и текстов.—Психологическая ее основа.—Русь и Византия.—Затмение идеи вселенской Церкви.—Предание и наука.—Национально-церковное самомнение.—Государственные нововведения.—Патриарх Никон.

Потребность в новой науке, шедшей с Запада, встретилась в московском обществе с укоренившейся здесь веками неодолимой антипатией и подозрительностью ко всему, что шло с католического и протестантского Запада. Едва московское общество отведало плодов этой науки, как им уж начинает овладевать тяжелое раздумье, безопасна ли она, не повредит ли чистоте веры и нравов. Это раздумье—второй момент в настроении русских умов XVII в., наступивший вслед за недовольством своим положением. Он также сопровождался чрезвычайно важными последствиями. До нас дошел отрывок одного следственного дела, производившегося в 1650 г.; в нем наглядно изображается, с чего началось, чем прежде всего навевалось это раздумье. В деле выступает вся учащаяся московская молодежь. То были Лучка Голосов (впоследствии думный дворянин, член государственного совета Лукьян Тимофеевич Голосов), Степан Алябьев, Иван Засецкий и дьячек Бла-

говещенского собора Костка, т.-е. Константин Иванов. Это был тесный кружок друзей, соединенных одинаковыми думами. „Вот учится у киевлян, толковали они, Ф. Ртищев греческой грамоте, а в той грамоте и еретичество есть". Алябьев показывал на допросе, что когда жил в Москве старец Арсений грек, он, Степан, хотел было у него поучиться по-латыни, а как того старца сослали на Соловки, он, Степан, учиться перестал и азбуку изодрал, потому что начали ему говорить его родные да Лучка Голосов с Ивашкой Засецким: „перестань учиться по-латыни, дурно это, а какое дурно, того не сказали". Сам Голосов по властному приглашению Ртищева должен был в Андреевском монастыре учиться по-латыни же у киевских старцев; но он против их науки, считал ее опасной для веры и говорил дьячку Иванову: „скажи своему протопопу (Благовещенского собора Стефану Вонифатьеву, духовнику царя), что я у киевских старцев учиться не хочу, старцы они не добрые, я в них добра не нашел и доброго учения у них нет; теперь я пока угождаю Ф. М. Ртищеву из страха, а впредь у них учиться ни за что не хочу". К этому Лучка прибавил: „да и кто по-латыни ни учился, тот с правого пути совратился". Около того же времени и при содействии того же Ртищева поехали в Киев довершать свое образование в тамошней академии два других молодых человека из Москвы, Озеров и Зеркальников. Дьячек Костка с собеседниками не одобряли этой поездки, боясь, что как эти молодые люди доучатся в Киеве и воротятся в Москву, будет здесь с ними много хлопот, а потому хорошо бы их до Киева не допустить и воротить назад: и без того уже они всех укоряют и ни во что ставят благочестивых московских протопопов, говорят про них: „враки де они вракают, слушать у них нечего и себе чести не

делают, учат просто, сами не знают, чему учат". Те же ревнители благочестия шептали и про боярина Б. И. Морозова, что он держит при себе отца духовного только „для прилики людской", а уж если киевлян начал жаловать, явное дело, туда же уклонился, к их же ересям.

Протест против новой науки.

Видим, что одна часть учащейся молодежи порицала другую за воспитываемое новой наукой самомнение и заносчивую критику всеми признанных доморощенных авторитетов. Это—не старческое охранительное брюзжанье на новизны, а отражение взгляда на науку, коренившегося в самой глубине древнерусского церковного сознания. Наука и искусство ценились в древней Руси по их связи с Церковью, как средства познания слова Божия и душевного спасения. Знание и художественные украшения жизни, не имевшие такой связи и такого значения, рассматривались, как праздное любопытство неглубокого ума или как лишние несерьезные забавы, „потехи"; так смотрели на бахарей, сказочников, скоморохов. Церковь молчаливо их терпела, как детские рекреационные игры и резвости, а строгая церковная проповедь порой порицала их, как опасные увлечения или развлечения, которые легко могут превратиться в бесовские козни. Во всяком случае ни такому знанию, ни такому искусству не придавали образовательной силы, не давали места в системе воспитания; их относили к низменному порядку жизни, считали если не прямыми пороками, то слабостями падкой ко греху природы человеческой. Наука и искусство, какие приносило западное влияние, являлись с другим более притязательным видом: они шли в ряду интересов высшего разбора, не как уступки людской слабости, а как законные потребности человеческого ума и сердца, как необходимые условия благоустроенного и благообразного общежития, находившие свое оправ-

дание в себе самих, а не в служении нуждам Церкви. Западный художник или ученый являлся у нас не русским скоморохом или начетчиком отреченных книг, а почтенным магистром комедийных действ или географусом, которого само правительство признавало „гораздо навычным во многих надобных мастерствах и мудростях“. Так западная наука или, говоря общее, культура, приходила к нам непокорной служительницей Церкви и не подсудимой, хотя и терпимой ею грешницей, а как бы соперницей или в лучшем случае сотрудницей Церкви в деле устроения людского счастия. Древнерусская мысль, опутанная преданием, могла только испуганно отшатнуться от такой сотрудницы, а тем паче соперницы. Легко понять, почему знакомство с этой наукой тотчас возбудило в московском обществе тревожный вопрос, безопасна ли эта наука для правой веры и благоправия, для вековых устоев национального быта? Вопрос поднялся еще в ту минуту, когда проводниками этой науки были у нас свои же православные западнорусские ученые. Но когда учителями явились иностранцы, протестанты и католики, вопрос должен был еще более обостриться. Возбужденное им сомнение в нравственно-религиозной безопасности новой науки и приносившего ее западного влияния привело к тяжелому перелому в русской церковной жизни, к расколу. Тесная связь этого явления с умственным и нравственным движением в московском обществе XVII в. заставляет меня остановить ваше внимание на происхождении раскола в русской Церкви.

Церковный раскол.

Русским церковным расколом называется отделение значительной части русского православного общества от господствующей русской православной Церкви. Это разделение началось в царствование Алексея Михайловича вследствие церковных новшеств патриарха Никона и продолжается

доселе. Раскольники считают себя такими же православными христианами, какими считаем себя и мы. Старообрядцы в собственном смысле не расходятся с нами ни в одном догмате веры, ни в одном основании вероучения; но они откололись от нашей Церкви, перестали признавать авторитет нашего церковного правительства во имя „старой веры", будто бы покинутой этим правительством; потому мы и считаем их не еретиками, а только раскольниками, и потому же они нас называют церковниками или никонианами, а себя старообрядцами или староверами, держащимися древнего дониконовского обряда и благочестия. Если старообрядцы не расходятся с нами в догматах, в основаниях вероучения, то спрашивается, отчего же произошло церковное разделение, отчего значительная часть русского церковного общества оказалась за оградой русской господствующей Церкви. Вот в немногих словах повесть о начале раскола.

Повесть о его начале.

До патриарха Никона русское церковное общество было единым церковным стадом с единым высшим пастырем; но в нем в разное время и из разных источников возникли и утвердились некоторые местные церковные мнения, обычаи и обряды, отличные от принятых в Церкви греческой, от которых Русь приняла христианство. Таковы были двуперстное крестное знамение, образ написания имени *Исус*, служение литургии на семи, а не на пяти просфорах, хождение *по-солонь*, т.-е. по солнцу (от левой руки к правой, обратившись лицом к алтарю), в некоторых священнодействиях, например, при крещении вокруг купели или при венчании вокруг аналоя, особое чтение некоторых мест символа веры („царствию Его *несть* конца", „и в Духа Святого, *истинного* и животворящего"), двоение возгласа *аллилуия*. Некоторые из этих обрядов и особенностей были

признаны русской церковной иерархией на церковном соборе 1551 г. и таким образом получили законодательное утверждение со стороны высшей церковной власти. Со второй половины XVI в., когда в Москве началось книгопечатание, эти обряды и разночтения стали проникать из рукописных богослужебных книг в печатные их издания и через них распространялись по всей России. Таким образом печатный станок придал новую цену этим местным обрядовым и текстуальным разностям и расширил их употребление. Некоторые из таких разностей внесли в свои издания справщики церковных книг, напечатанных при патриархе Іосифе в 1642—1652 гг. Так как вообще текст русских богослужебных книг был неисправен, то преемник Иосифа патриарх Никон с самого начала своего управления русскою Церковью ревностно принялся за устранение этих неисправностей. В 1654 г. он провел на церковном соборе постановление переиздать церковные книги, исправив их по верным текстам, по славянским пергаментным и древним греческим книгам. С православного Востока и из разных углов России в Москву навезли горы древних рукописных книг греческих и церковно-славянских; исправленные по ним новые издания разосланы были по русским церквам с приказанием отобрать и истребить неисправные книги, старопечатные и старописьменные. Ужаснулись православные русские люди, заглянувши в эти новоисправленные книги и не нашедши в них ни двуперстия, ни Исуса, ни других освященных временем обрядов и начертаний: они усмотрели в этих новых изданиях новую веру, по которой не спасались древние святые отцы, и прокляли эти книги, как еретические, продолжая совершать служение и молиться по старым книгам. Московский церковный собор 1666—1667 гг., на котором присутствовали два

восточных патриарха, положил на непокорных клятву (анаѳему) за противление церковной власти и отлучил их от православной Церкви, а отлученные перестали признавать отлучившую их иерархию своей церковной властью. С тех пор и раскололось русское церковное общество, и этот раскол продолжается до настоящего времени.

Мнения о его происхождении.

Отчего же произошел раскол? По объяснению старообрядцев, от того, что Никон, исправляя богослужебные книги, самовольно отменил двуперстие и другие церковные обряды, составляющие святоотеческое древле-православное предание, без которого невозможно спастись, и когда верные древнему благочестию люди встали за это предание, русская иерархия отлучила ихъ отъ своей испорченной Церкви. Но въ таком объяснении не все ясно. А каким образом двуперстие или хождение по-солонь сделалось для старообрядцев святоотеческим преданием, без которого невозможно спастись? Каким образом простой церковный обычай, богослужебный обряд или текст мог приобрести такую важность, стать неприкосновенной святыней, догматом? Православные дают более глубокое объяснение. Расколъ произошел от невежества раскольников, от узкого понимания ими христианской религии, от того, что они не умели отличить в ней существенное от внешнего, содержание от обряда. Но и этот ответ не разрешает всего вопроса. Положим, известные обряды, освященные преданием, местной стариной, могли получить неподобающее им значение догматов; но ведь и авторитетъ церковной иерархии освящен стариной и притом не мѣстной, а вселенской, и его признание необходимо для спасения: св. отцы не спасались и безъ него, как без двуперстия. Каким образом старообрядцы решились пожертвовать одним церковнымъ установлением для другого, отважились спасаться без руководства законной иерархии, ими отвергнутой?

Объясняя происхождение раскола, у нас часто с особенным ударением и некоторым пренебрежением указывают на слепую привязанность старообрядцев к обрядам и текстам, к букве писания, как к чему-то очень неважному в деле религии. Я не разделяю такого пренебрежительного взгляда на религиозный обряд и текст. Я не богослов и не призван раскрывать богословский смысл таких предметов. Но религиозный текст и обряд, как и всякий обряд и текст с практическим, житейским действием, кроме специально богословского имеет еще общее психологическое значение и с этой стороны, как и всякое житейское, т.-е. историческое явление, может подлежать историческому изучению. Только с этой народно-психологической стороны я и касаюсь происхождения раскола.

Сила религиозных обрядов и текстов.

В религиозных текстах и обрядах выражается сущность, содержание вероучения. Вероучение слагается из верований двух порядков: одни суть *истины*, которые устанавливают миросозерцание верующаго, разрѣшая ему высшие вопросы мирздания; другие суть *требования*, которые направляют нравственные поступки верующего, указывая ему задачи его бытия. Эти истины и эти требования выше познавательных средств логически мыслящего разума и выше естественных влечений человеческой воли, потому те и другие почитаются свыше откровенными. Мыслимые, т.-е. доступные пониманию формулы религиозных истин суть *догматы*; мыслимые формулы религиозных требований суть *заповеди*. Как усвояются те и другие, когда они недоступны ни логическому мышлению, ни естественной воле? Они усвояются религиозным познанием или мышлением и религиозным воспитанием. Не смущайтесь этими терминами: религиозное мышление или познание есть такой же способ человеческого разумения, отличный от логического или

рассудочного, как и понимание художественное; оно только обращено на другие более возвышенные предметы. Человек далеко не все постигает логическим мышлением, и может быть, даже постигает им наименьшую долю постижимого. Усвояя догматы и заповеди, верующий усвояет себе известные религиозные идеи и нравственные побуждения, которые так же мало поддаются логическому разбору, как и идеи художественные. Разве понятный вам музыкальный мотив вы подведете под логические схемы? Эти религиозные идеи и побуждения суть *верования*. Педагогическим пособием для их усвоения служат известные церковные действия, совокупность которых составляет богослужение. Догматы и заповеди выражены в священных текстах, церковные действия облечены в известные обряды. Все это лишь формы верований, оболочка вероучения, а не его сущность. Но религиозное понимание, как и художественное, отличается от логического и математического тою особенностью, что в нем идея или мотив неразрывно связаны с формой, их выражающей. Идею, выведенную логически, теорему, доказанную математически, мы понимаем, как бы ни была формулирована та и другая, на каком бы ни было нам знакомом языке и каким угодно понятным стилем или даже только условным знаком. Не так действует эстетическое и религиозное чувство: здесь идея или мотив по закону психологической ассоціаціи органически срастаются с выражающими их текстом, обрядом, образом, ритмом, звуком. Забудете рисунок или музыкальное сочетание звуков, которое вызвало в вас известное настроение—и вам не удастся воспроизвести это настроение. Какое угодно великолепное стихотворение переложите в прозу, и его обаяние исчезнет. Священные тексты и богослужебные обряды складывались исторически и не имѣют

характера неизменности и неприкосновенности. Можно придумать тексты и обряды лучше, совершеннее тех, которые воспитали в нас религиозное чувство, но они не заменят нам наших худших. Когда православный русский священник восклицает в алтаре *Горе имеем сердца*, въ православном верующем совершается привычный ему подъем религиозного настроения, помогающий ему отложить всякое житейское попечение. Но пусть тот же священник сделает возглас католического патера *Sursum corda*—тот же верующий, как бы хорошо он ни знал, что это тот же самый возглас, только на латинском языке и в стилистическом отношении даже более энергичный, верующий не поднимется духом от этого возгласа, потому что не привык к нему. *Так религиозное миросозерцание и настроение каждого общества неразрывно связаны с текстами и обрядами, их воспитавшими.*

Ее психологическая основа.

Но, может быть, такая тесная связь религиозных обрядов и вообще форм с сущностью вероучения сама по себе есть только недостаток религиозного воспитания, и верующий дух может обойтись без этих тяжелых обрядовых накладок, а потому надобно помогать ему без них обходиться? Да, может быть, со временем, когда нибудь эти накладки и станут излишними, когда человеческий дух путем дальнейшего совершенствования освободит свое религиозное чувство от влияния внешних впечатлений и от самой потребности въ них, когда человек будет молиться „духом и истиною“. Тогда и религиозная психология будет другая, непохожая на ту, какую воспитывала практика всех доселе известных религий. Но с тех пор, как люди стали себя помнить, в продолжение тысячелетий и до наших дней они не умели обойтись без обряда ни в религии, ни в других житейских отношениях нравственного характера. Надобно строго

различать способ усвоения истины сознанием и волей. Для сознания достаточно известного усилия мысли и памяти, чтобы понять и запомнить истину. Но этого очень мало, чтобы сделать истину руководительницей воли, направительницей жизни целых обществ. Для этого нужно облечь истину в формы, в обряды, в целое устройство, которое непрерывным потоком надлежащих впечатлений приводило бы наши мысли в известный порядок, наше чувство в известное настроение, долбило бы и размягчало нашу грубую волю и таким образом, посредством непрерывного упражнения и навыка, превращало бы требования истины в привычную нравственную потребность, в непроизвольное влечение воли. Сколько прекрасных истин, озарявших дух человеческий и способных осветить и согреть людское общежитие, погибло бесследно для него только потому, что они не успели во-время облечься в такое устройство и помощью его не были достаточно разучены людьми! Так не в одной религии, так и во всем. Какой угодно великолепный музыкальный мотив не произведет на нас должного художественного впечатления в том простом схематическом виде, в каком он родится в художественном воображении композитора; его надобно разработать, положить на инструмент или на целый оркестр, повторить в десятке ладов и вариаций и разыграть перед целым собранием, где маленький восторг каждого слушателя заразит его соседей справа и слева, и из этих миниатюрных личных восторгов составится громадное общее впечатление, которое каждый слушатель унесет к себе домой и много дней будет им обороняться от невзгод и пошлостей ежедневной жизни. Люди, слышавшие проповедь Христа на горе, давно умерли и унесли с собою пережитое ими впечатление; но и мы переживаем долю этого впечатления, потому, что текст

этой проповеди вставлен в рамки нашего богослужения. Обряд или текст—это своего рода фонограф, в котором застыл нравственный момент, когда то вызвавший в людях добрые дела и чувства. Этих людей давно нет, и момент с тех пор не повторился; но помощью обряда или текста, в который он скрылся от людского забвения, мы по мере желания воспроизводим его и по степени своей нравственной восприимчивости переживаем его действие. Из таких обрядов, обычаев, условных отношений и приличий, в которые отлились мысли и чувства, исправлявшие жизнь людей и служившие для них идеалами, постепенно путем колебаний, споров, борьбы и крови складывалось людское общежитие. Я не знаю, каков будет человек через тысячу лет; но отнимите у современного человека этот нажитой и доставшийся ему по наследству скарб обрядов, обычаев и всяких условностей—и он все забудет, всему разучится и должен будет все начинать сызнова.

Но если такова религиозная психология всякого церковного общества, что оно не может обойтись без обряда и текста, то почему же нигде из-за обряда и текста не поднималось такого шумного спора и не бывало раскола, как это случилось у нас в XVII в.? Чтобы ответить на этот вопрос, надобно припомнить некоторые явления нашей церковной жизни до XVII в.

Русь и Византия.

До XV в. русская Церковь была послушной дочерью Византии, своей митрополии. Оттуда она принимала своих митрополитов и епископов, церковные законы, весь чин церковной жизни. Авторитет греческого православия много веков стоял у нас непоколебимо. Но с XV в. этот авторитет начал колебаться. Великие князья московские, почувствовав свое национальное значение, поспешили внести это чувство и в церковные отношения, не хотели и в цер-

ковных делах зависеть от посторонней власти, ни от императора, ни от патриарха цареградского. Они завели обычай назначать и посвящать всероссийских митрополитов у себя дома, в Москве, и только из русского духовенства. Провести эту перемену было тем легче, что греческих иерархов не чтили на Руси особенно высоко. Древняя Русь высоко ставила церковный авторитет и святыни греческого Востока, но грек и плут всегда считались у нас синонимами: „был он льстив, потому что был он грек", говорит наша летопись XII в. об одном епископе-греке. Такой взгляд составился очень рано и просто. Насаждать христианство в далекой и варварской митрополии константинопольского патриархата присылались в большинстве далеко не лучшие люди из греческой иерархии. Отчужденные от паствы языком, понятиями и сановным церемониалом, они не могли приобрести пастырского влияния, довольствовались установкой внешнего церковного благолепия, усердием набожных князей и старательно пересылали на родину русские деньги, на что счел нужным намекнуть один почтенный новгородский владыка XII в. из русских в пастырском поучении духовенству своей епархии. За иерархию цеплялось много всякого рядового грека, приходившего поживиться от новопросвещенных. А потом греческая иерархия в XV в. страшно уронила себя в глазах Руси, приняв флорентийскую унию 1439 г., согласившись на союз православной Церкви с католической, устроенный на соборе во Флоренции. За византийскую иерархию у нас держались с таким доверием в борьбе с латинством, а она, эта иерархия, сама отдалась римскому папе, выдала головой восточное православие, насажденное апостолами, утвержденное святыми отцами и седмью вселенскими соборами, и если бы великий князь московский Василий Васильевич не обличил злокоз-

ненного врага, сатанина сына грека Исидора митрополита, принесшего унию в Москву, олатынил бы он русскую Церковь, исказил бы древнее благочестие, насажденное у нас святым князем Владимиром. Несколько лет спустя Царьград был завоеван турками. Уже и прежде на Руси привыкли посматривать на греков свысока и подозрительно. Теперь в падении цареградских стен перед безбожными агарянами увидели на Руси знак окончательного падения греческого православия. Послушайте, как самоуверенно объясняет связь мировых событий своего времени русский митрополит Филипп I. В 1471 г. он пишет замутившимся против Москвы новгородцам: „и о том, дети, подумайте: Царьград непоколебимо стоял, пока в нем, как солнце, сияло благочестие, а как скоро покинул он истину да соединился с латиной, так и попал в руки поганых". Померк тогда в глазах Руси свет православного Востока; как пал древний первый Рим от ересей и гордости, так теперь пал и второй Рим—Царьград от непостоянства и безбожных сыроядцев. Эти события произвели на Русь глубокое, но не безотрадное впечатление. Старые светила церковные погасли, греческое благочестие подернулось мраком. Одинокой почувствовала себя православная Русь во всем поднебесном мире. Мировые события невольно заставляли ее противопоставлять себя Византии. Москва сбрасывала с себя агарянское иго почти в то самое время, когда Византия надевала его на свою шею. Если другие царства падали за измену православию, то Москва будет непоколебимо стоять, оставаясь верна ему. Она—третий и последний Рим, последнее и единственное в мире убежище правой веры, истинного благочестия. Эти помыслы возвышали и расширяли исторический кругозор древнерусских мыслителей XVI в. и наполняли их тревожными думами о судьбах России. Отечество тогда получило

в их глазах новое высокое значение. Русский инок Филофей писал вел. кн. Василию, отцу Грозного: „Внимай тому, благочестивый царь! Два Рима пали, третий—Москва стоит, а четвертому не бывать. Соборная Церковь наша в твоем державном царстве одна теперь паче солнца сияет благочестием во всей поднебесной; все православные царства собрались в одном твоем царстве; на всей земле один ты—христианский царь“. Вера православная в Царьграде испроказилась махметовой прелестью безбожных агарян, а у нас на Руси паче просияла святых отец учением: так писали наши книжники XVI в. И такой взгляд стал верованием образованного древнерусского общества, даже проник в народную массу и вызвал ряд легенд о бегстве святых и святынь из обоих павших Римов в новый, третий Рим, в Московское государство. Так сложились у нас в XV—XVI вв. сказания о приплытии преп. Антония-римлянина по морю на камне со святынями в Новгород, о чудесном переселении чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери с византийского Востока на Русь и пр. К тому же люди, приезжавшие с разоренного православного Востока на Русь просить милостыни или приюта укрепляли в русских это национальное убеждение. В царствование Федора Ивановича приехал в Москву за милостыней цареградский патриарх Иеремия, который в 1589 г. посвятил московского митрополита Иова в сан всероссийского патриарха, чем окончательно закрепил давно совершившееся иерархическое обособление русской Церкви от константинопольского патриархата. Как будто этот приезжий иерарх подслушал задушевные помыслы русских людей XVI в.: так близки к мыслям Филофея его слова об учреждении патриаршества в Москве, обращенные к московскому царю: „Воистину в тебе Дух Св. пребывает и от Бога такая мысль внушена тебе; ветхий Рим пал от

ересей, вторым Римом—Константинополем завладели агарянские внуки, безбожные турки, твое же великое российское царство, третий Рим, всех превзошло благочестием; ты один во всей вселенной именуешься христианским царем".

Затмение вселенской идеи.

Все эти явления и впечатления очень своеобразно настроили русское церковное общество. К началу XVII в. оно прониклось религиозной самоуверенностью; но эта самоуверенность воспитана была не религиозными, а политическими успехами православной Руси и политическими несчастиями православного Востока. Основным мотивом этой самоуверенности была мысль, что православная Русь осталась в мире единственной обладательницей и хранительницей христианской истины, чистого православия. Из этой мысли посредством некоторой перестановки понятий национальное самомнение вывело убеждение, что христианство, которым обладает Русь, со всеми его местными особенностями и даже с туземной степенью его понимания есть единственное в мире истинное христианство, что другого чистого православия кроме русского нет и не будет. Но по нашему вероучению, хранительница христианской истины есть не какая-либо поместная, а вселенская Церковь, соединяющая в себе не только живущих в известное время и известном месте, но и всех когда-либо и где-либо живших правоверных. Как скоро русское церковное общество признало себя единственным хранителем истинного благочестия, местное религиозное сознание было им признано мерилом христианской истины, т.-е. идея вселенской Церкви замкнулась в тесные географические пределы одной из поместных церквей; вселенское христианское сознание заключалось в узкий кругозор людей известного места и времени. Христианское вероучение,

говорил я, облечено в известные формы, выражается в известных обрядах для непосредственного понимания, формулируется в текстах для изучения и осуществляется на практике в церковных правилах. Понимание текстов вероучения и практика церковных правил углубляется и совершенствуется с успехами религиозного сознания и его движущей силы—разума, вооруженного верой. Помощью обрядов, текстов и правил религиозная мысль углубляется в тайны вероучения, постепенно уясняя их себе и направляя религиозную жизнь. Эти обряды, тексты и правила, повторяю, не составляют сущности вероучения; но по свойству религиозного понимания и воспитания они в каждом церковном обществе тесно сростаются с вероучением, становятся для каждого общества формами религиозного миросозерцания и настроения, трудно отделяемыми от содержания. Впрочем, если они в известном обществе искажаются или уклоняются от первоначальных норм вероучения, есть средство их исправления. Таким средством проверки и исправления, коррективом понимания христианской истины для каждого местного церковного общества служит религиозное сознание вселенской Церкви, авторитетом которой исправляются местные церковные уклонения. Но как скоро православная Русь признала себя единственной обладательницей христианской истины, такого способа проверки для нее не стало. Признав самое себя вселенскою Церковью, русское церковное общество не могло допустить поверки своих верований и обрядов со стороны. Как скоро русские православные умы стали на эту точку зрения, в них укрепилась мысль, что русская поместная Церковь обладает всей полнотой христианского вселенского сознания, что русское церковное общество уже восприняло все, что нужно для спасения верующего, и ему

нечему больше учиться, нечего и не у кого больше заимствовать в делах веры, а остается только бережно хранить воспринятое сокровище. Тогда на место вселенского сознания мерилом христианской истины стала национальная церковная старина. Русским церковным обществом было признано за правило, что подобает молиться и веровать, как молились и веровали отцы и деды, что внукам ничего не останется более, как хранить без размышления дедовское и отцовское предание. Но это предание—остановившееся и застывшее понимание: признать его мерилом истины значило отвергнуть всякое движение религиозного сознания, возможность исправления его ошибок и недостатков. С минуты такого признания все усилия русской религиозной мысли должны были направиться не к тому, чтобы углубляться в тайны христианского вероучения, усвоять себе возможно вернее и полнее, жизненнее вселенское религиозное сознание, а единственно к тому, чтобы сберечь свой наличный местный запас религиозного понимания со всеми местными обрядами и оградить его от изменения и нечистого прикосновения со стороны.

Предание и наука.

Из такого настроения и склада религиозных понятий вышли два важные следствия, с которыми тесно связалось возникновение раскола: 1) церковные обряды, завещанные местной стариной, получили значение неприкосновенной и неизменной святыни; 2) в русском обществе установилось подозрительное и надменное отношение к участию разума и научного знания в вопросах веры. Эта наука, процветавшая в других христианских обществах, — так стали думать на Руси,—не спасла же она тех обществ от ересей, свет разума не помешал там померкнуть вере. Смутно помня, что корни мирской науки кроются в языческой греко-римской странѣ, у нас брезгливо помышляли, что

эта наука все еще питается нечистыми соками такой дурной почвы. Поэтому гадливое и боязливое чувство овладевало древле-русским человеком при мысли о риторской и философской еллинской мудрости: все это дело грешного ума, предоставленного самому себе. В одном древнерусском поучении читаем: „богомерзостен пред Богом всякий, кто любит геометрию; а се душевные грехи — учиться астрономии и еллинским книгам; по своему разуму верующий легко впадает в различные заблуждения; люби простоту больше мудрости, не изыскуй того, что выше тебя, не испытуй того, что глубже тебя, а какое дано тебе от Бога готовое учение, то и держи". В школьных прописях помещалось наставление: „Братия, не высокоумствуйте! Если спросят тебя, знаешь ли философию, отвечай: еллинских борзостей не текох, риторских астрономов не читах, с мудрыми философами не бывах, философию ниже очима видех; учуся книгам благодатного закона, как бы можно было мою грешную душу очистить от грехов". Такой взгляд питал самоуверенность незнания: „аще не учен словом, но не разумом, писал про себя древнерусский книжник: не учен диалектике, риторике и философии, но разум Христов в себе имею". Так древнерусским церковным обществом утрачивались средства самоисправления и даже самые побуждения к нему.

Национально-церковное самомнение.

Я изложил воззрения, в которых укрепилось древне-русское церковное общество к XVII в. В наивной своей формации это были простонародные воззрения, впрочем, захватывавшие и массу рядового духовенства, белого и черного. В правящей иерархии они не выражались так грубо, однако безотчетно входили в состав ее церковного настроения. В сослужении с приезжим греческим архиереем, даже патриархом, следя зорко за каждым его движением, наши „вла-

сти“ тут же с великодушным снисхождением указывали ему на допускаемые им в частностях отступления от принятого в Москве богослужебного чина: „у нас того чина не ведется, наша истинная православная христианская Церковь не приняла сего чина“. Это поддерживало в них сознание своего обрядового превосходства перед греками, и довольные этим, они уже не думали о соблазне, какой производили среди молящихся, прерывая священнодействия обрядовыми пререканиями. Не было ничего необычайного в привязанности русских к церковным обрядам, в которых они воспитывались: в ней надобно видеть скорее народно-психологическую неизбежность, естественно-историческое условие религиозного понимания, чем органический или хронический недуг русского религиозного чувства; это—просто признак исторического возраста народа. Органический порок древнерусского церковного общества состоял в том, что оно считало себя единственным истинно-правоверным в мире, свое понимание Божества исключительно правильным, Творца вселенной представляло своим собственным русским богом, никому более не принадлежащим и неведомым, свою поместную Церковь ставило на место вселенской. Самодовольно успокоившись на этом мнении, оно и свою местную церковную обрядность признавало неприкосновенной святыней, а свое религиозное понимание нормой и коррективом боговедения. Встреча этих воззрений с тем, что делалось в государстве, усилило их возбужденный характер.

Государственные нововведения.

Мы видели, что с воцарением новой династии у нас предприняты были политические и экономические нововведения, предметом которых было устройство народной обороны и государственного хозяйства. Почувствовав потребность в новых, заимствованных технических средствах, го-

сударство во множестве призывало иноземцев, лютеран и кальвинистов. Правда, их призывали для обучения солдат, литья пушек, стройки заводов; все это очень мало касалось нравственных понятий и еще менее религиозных воззрений. Но древнерусский человек своим конкретным мышлением не привык различать житейские отношения, не умел и не хотел разделять разные стороны жизни. Если немец командует русскими ратными людьми и учит их своей ратной хитрости, стало быть, надо и одеваться, и бороду брить по-немецки, и веру принять немецкую, табак курить, молоко пить по средам и пятницам, а свое древнее благочестие покинуть. Совесть русского человека в раздумьи стала между родной стариной и Немецкой слободой. Все это настроило русское общество к половине XVII в. чрезвычайно тревожно и подозрительно, и это настроение обнаруживалось при каждом случае. В 1648 г., когда молодой царь Алексей собирался жениться, в Москве вдруг пошли толки, что скоро настанет конец древнему благочестию и будут введены новые иноземные обычаи. При таком настроении попытка исправить церковные обряды и текст богослужебных книг легко могла показаться смущенному и пугливому церковному обществу посягательством на самую веру. Случилось так, что за это исправление принялся иерарх, который по самому характеру своему способен был довести это настроение до крайней степени напряжения. Патриарх Никон, посвященный в этот сан в 1652 г., сам по себе заслуживает того, чтобы в очерке происхождения раскола уделить ему минуту внимания.

Патриарх Никон.

Он родился в 1605 г. в крестьянской среде, при помощи своей грамотности стал сельским священником, но по обстоятельствам жизни рано вступил в монашество, закалил себя суровым искусом пустынножительства в северных монасты-

рях и способностью сильно влиять на людей приобрел неограниченное доверие царя, довольно быстро достиг сана митрополита новгородского и наконец, 47 лет от роду, стал всероссийским патриархом. Из русских людей XVII в. я не знаю человека крупнее и своеобразнее Никона. Но его не поймешь сразу: это—довольно сложный характер и прежде всего характер очень неровный. В спокойное время, в ежедневном обиходе он был тяжел, капризен, вспыльчив и властолюбив, больше всего самолюбив. Но это едва ли были его настоящие, коренные свойства. Он умел производить громадное нравственное впечатление, а самолюбивые люди на это неспособны. За ожесточение в борьбе его считали злым; но его тяготила всякая вражда, и он легко прощал врагам, если замечал в них желание пойти ему навстречу. С упрямыми врагами Никон был жесток. Но он забывал все при виде людских слез и страданий; благотворительность, помощь слабому или больному ближнему была для него не столько долгом пастырского служения, сколько безотчетным влечением доброй природы. По своим умственным и нравственным силам он был большой делец, желавший и способный делать большие дела, но только большие. Что умели делать все, то он делал хуже всех; но он хотел и умел делать то, за что не умел взяться никто, все равно, доброе ли то было дело, или дурное. Его поведение в 1650 г. с новгородскими бунтовщиками, которым он дал себя избить, чтобы их образумить, потом во время московского мора 1654 г., когда он в отсутствие царя вырвал из заразы его семью, обнаруживает в нем редкую отвагу и самообладание; но он легко терялся и выходил из себя от житейской мелочи, ежедневного вздора; минутное впечатление разросталось в целое настроение. В самые трудные минуты, им же себе создан-

ные и требовавшие полной работы мысли, он занимался пустяками и из-за пустяков готов был поднять большое шумное дело. Осужденный и сосланный в Ферапонтов монастырь, он получал от царя гостинцы, и когда раз царь прислал ему много хорошей рыбы, Никон обиделся и ответил упреком, зачем не прислали овощей, винограду в патоке, яблочек. В добром настроении он был находчив, остроумен, но обиженный и раздраженный терял всякий такт и причуды озлобленного воображения принимал за действительность. В заточении он принялся лечить больных, но не утерпел, чтобы не кольнуть царя своими целительными чудесами, послал ему список излеченных, а царскому посланцу сказывал, был де ему глагол, отнято де у тебя патриаршество, зато дана чаша лекарственная: „лечи болящих“. Никон принадлежал к числу людей, которые спокойно переносят страшные боли, но охают и приходят в отчаяние от булавочного укола. У него была слабость, которой страдают нередко сильные, но мало выдержанные люди: он скучал покоем, не умел терпеливо выжидать; ему постоянно нужна была тревога, увлечение смелою ли мыслью, или широким предприятием, даже просто хотя бы ссорой с противным человеком. Это словно парус, который только в бурю бывает самим собой, а в затишье треплется на мачте бесполезной тряпкой.

Лекция LV.

Положение русской Церкви при вступлении Никона на патриарший престол.—Его идея вселенской Церкви.—Его новшества.—Чем Никон содействовал церковному расколу?—Латинобоязнь.—Признание первых старообрядцев.—Обзор сказанного.—Народно-психологический состав старообрядства.—Раскол и просвещение.—Содействие раскола западному влиянию.

Положение Церкви.

Почти еще во цвете лет и с нетронутым запасом сил Никон стал патриархом русской Церкви. Он попал в бурливый и мутный водоворот разносторонних стремлений, политических замыслов, церковных недоразумений и придворных интриг. Государство готовилось воевать с Польшей, свести с ней затянувшиеся со Смутного времени счеты и сдержать прикрытый ее флагом католический натиск на западную Русь. Для успеха в этой борьбе Москве нужны были протестанты, их военное искусство и промышленные указания. Для русской церковной иерархии возникала двусторонняя забота: надобно было поощрять царское правительство к борьбе с католиками и сдерживать его от увлечения протестантами. Под гнетом этой заботы в застоявшейся церковной жизни появляются признаки некоторого движения. Готовясь к борьбе, русское церковное общество насторожилось, спешило прибраться, почиститься, собраться с силами, внимательнее присмотреться к своим недостаткам: издаются строгие указы против суеверий, языческих обы-

чаев в народе, безобразного провождения праздников, против кулачных боев, зазорных игрищ, пьянства и невежества духовенства, против беспорядков в богослужении. Спешили возможно скорее вымести сор, небрежно копившийся вместе с церковными богатствами $6^1/_2$ столетий. Стали искать союзников. Если государству понадобился мастер-немец, то Церковь почувствовала нужду в учителе-греке или киевлянине. Отношения к грекам улучшаются: вопреки прежнему недоверчивому и пренебрежительному взгляду на их пестрое благочестие теперь в Москве признают их строго православными. Сношения с восточной иерархией оживляются: все чаще появляются в Москве восточные иерархи с просьбами и предложениями; все чаще обращаются из Москвы на Восток к греческим владыкам с запросами по церковным нуждам и недоумениям. Русская автокефальная Церковь с подобающим благоговеинством относится к Церкви константинопольской, как к своей бывшей митрополии; мнениям восточных патриархов в Москве внемлют, как голосу вселенской Церкви; никакого важного церковного недоумения не решают без их согласия. Греки шли навстречу шедшим из Москвы призывам. В то время как Москва искала света на греческом Востоке, оттуда шли внушения самой Москве стать источником света для православного востока, питомником и рассадником духовного просвещения для всего православного мира, основать высшее духовное училище и завести греческую типографию. В то же время доверчиво пользовались трудами и услугами киевской учености. Но все эти духовные силы легче было собрать, чем объединить, наладить для дружной работы. Киевские академики и ученые греки являлись в Москву спесивыми гостями, коловшими глаза хозяевам своим научным превосходством. Придворные сторонники западной куль-

туры, как Морозов и Ртищев, дорожа немцами, как мастерами, привечали греков и киевлян, как церковных учителей, и помогали Никонову предшественнику, патриарху Иосифу, который тоже держался обвинительного направления вместе с царским духовником Стефаном Вонифатьевым, хлопотал о школе, о переводе и издании образовательных книг, а для проведения в народную массу благопристойных понятий и нравов Стефан вызвал из разных углов России популярных проповедников священников Ивана Неронова из Нижнего, Даниила из Костромы, Логгина из Мурома, Аввакума из Юрьевца Повольского, Лазаря из Романова-Борисоглебска. В этой компании вращался и Никон, пока молчаливо, себе на уме, присматриваясь к товарищам, своим первым будущим врагам. Но Ртищева за научные наклонности заподозрили в ереси, а царский духовник, с виду благодушный и смиренный назидатель царя, при первом столкновении обругал перед ним патриарха и весь Освященный собор волками и губителями, сказав, что в Московском государстве и Церкви-то Божией совсем нет, так что патриарх бил челом царю по силе Уложения, присуждающего смертную казнь за хулу на соборную и апостольскую Церковь. Наконец и подобранные духовником сотрудники перестали слушаться своего вожака, говорили с ним „жестоко и противно“, попросту ругались и с фанатическим самозабвением во имя того же русского бога набросились на патриарха и всех нововводителей с их новыми книгами, идеями, порядками и учителями, не разбирая ни немцев, ни греков, ни киевлян. Духовник царский был прав, сказав, что в Московском государстве нет Церкви Божией, если под Церковью разуметь церковно-иерархическую дисциплину и богослужебный порядок. Здесь царили безнарядье и бесчиние. Набожная, выдержанная в церковности, русская паства скучала

долгим стоянием в храме. Угождая ей, духовенство самовольно ввело ускоренный порядок богослужения: читали и пели разное в два, в три голоса или одновременно дьячок читал, дьякон говорил ектению, а священник возгласы, так что ничего нельзя было разобрать, лишь бы было прочитано и спето все положенное по Служебнику. Еще Стоглавый собор строго воспретил такое многогласие; но духовенство не слушалось соборного постановления. За такое бесчиние достаточно было подвергать бесчинных священнослужителей дисциплинарному взысканию. Но патриарх по приказу царя в 1649 г. созвал по этому делу целый церковный собор, который, опасаясь ропота духовенства и мирян, утвердил беспорядок. В 1651 г. недовольство сторонников церковного благочиния понудило на новом соборе перерешить дело в пользу единогласия. Высшие пастыри Церкви боялись своей паствы и даже подвластного духовенства, а паства ни во что не ставила своих пастырей, которые под гнетом изменчивых влияний метались из стороны в сторону, не отставая в законодательной растерянности от государственного правительства.

Идея Вселенской Церкви.

Можно было бы подивиться духовной силе Никона, сумевшего среди этой взбаламученной разносторонними веяниями церковной мути выработать и донести до патриаршего престола ясную мысль о Церкви вселенской и об отношении к ней поместной Церкви русской, если бы он внес в эту мысль более сериозного содержания. Он вступил в управление русской Церковью с твердой решимостью восстановить полное согласие ее с Церковью греческой, уничтожив все обрядовые особенности, которыми первая отличалась от последней. Не было недостатка во внушениях, поддерживавших в нем сознание необходимости этого единения. Восточные иерархи, все чаще наезжавшие в

Москву в XVII в., укоризненно указывали русским церковным пастырям на эти особенности, как на местные новизны, могущие расстроить согласие между поместными православными церквами. Незадолго до вступления Никона на патриаршую кафедру случилось событие, указывавшее на такую опасность. На Афоне монахи всех греческих монастырей, составив собор, признали двуперстие ересью, сожгли московские богослужебные книги, в которых оно было положено, и хотели сжечь самого старца, у которого нашли эти книги. Можно угадывать личное побуждение, заставлявшее Никона больше всего заботиться об упрочении тесного общения русской Церкви с восточными, русского патриарха со вселенскими. Он понимал, что вялые преобразовательные поползновения патриарха Іосифа и его единомышленников не выведут русской Церкви из ее безотрадного положения. Он воочию видел, каким жалким статистом служил на придворной сцене всероссийской патриарх, по собственному опыту знал, как легко настойчивый человек может повернуть молодого царя в любую сторону, и его взрывчатое самолюбие возмущалось при мысли, что и он, патриарх Никон, может стать игрушкой в руках какого-нибудь зазнавшагося царского духовника подобно своему предшественнику, к концу патриаршества ждавшему со дня на день отставки. На высоте апостольского престола в Москве Никон должен был чувствовать себя одиноким и искал опоры на стороне, на вселенском Востоке, в тесном единении с восточными сопрестольниками, ибо авторитет вселенской Церкви при всей трудности этого представления для московского церковного разумения все же был некоторым пугалом для набожнотрусливой, хотя и всевластной московской совести. По своей привычке, всякую идею, всякое чувство, его захватывавшее,

разрабатывать при содействии воображения, он забывал свою нижегородскую мордовскую родину и хотел заставить себя стать греком. На церковном соборе 1655 г. он объявил, что хотя он русский и сын русского, но его *вера* и убеждения греческие. В том же году после торжественной службы в Успенском соборе он, на глазах всего молившагося народа, снял с себя русский клобук и надел греческий, что, впрочем, вызвало не улыбку, а сильный ропот, как вызов всем веровавшим, что в русской Церкви все предано апостолами по внушению Св. Духа. Никон хотел даже стол иметь греческий. В 1658 г. сам архимандрит греческого монастыря на Никольской улице с келарем „строили кушанье государю патриарху по-гречески“ и за то получили по полтине, рублей по 7 на наши деньги. Укрепившись опорой вне сферы московской власти, Никон хотел быть не просто московским и всероссийским патриархом, а еще одним из вселенских и действовать самостоятельно. Он хотел дать действительную силу титулу „великого государя“, какой он носил наравне с царем, все равно, была ли это снисходительно допущенная узурпация, или неосторожно пожалованная „собинному другу“ царская милость. Он ставил священство не только вровень с царством, но и выше его. Когда его упрекали в папизме, он без смущения отвечал: „за доброе отчего и папу не почитать? там верховные апостолы Петр и Павел, а он у них служит“. Никон бросил вызов всему прошлому русской Церкви, как и окружающей русской действительности. Но он не хотел считаться со всем этим: перед носителем вечной и вселенской идеи должно исчезать все временное и местное. Вся задача в том, чтобы установить полное согласие и единение Церкви русской с другими поместными православными церквами, а там уж он, па-

триарх всея Руси, сумеет занять подобающее место среди высшей иерархии вселенской Церкви.

Новшества.

Никон приступил к делу восстановления этого согласия со своей обычной ревностью и увлечением. Вступая на патриарший престол, он связал боярское правительство и народ торжественною клятвою дать ему волю устроить церковные дела, получил своего рода церковную диктатуру. Став патриархом, он на много дней затворился в книгохранилище, чтобы рассмотреть и изучить старые книги и спорные тексты. Здесь, между прочим, он нашел грамоту об учреждении патриаршества в России, подписанную в 1593 г. восточными патриархами, в которой он прочитал, что московский патриарх, как брат всех прочих православных патриархов, во всем должен быть с ними согласен и истреблять всякую новизну в ограде своей Церкви, так как новизны всегда бывают причиной церковного раздора. Тогда Никоном овладел великий страх при мысли, не попустила ли русская Церковь какого-нибудь отступления от православного греческого закона. Он начал рассматривать и сличать с греческим славянский текст символа веры и богослужебных книг и везде нашел перемены и несходства с греческим текстом. В сознании своего долга поддерживать согласие с Церковью греческой он решил приступить к исправлению русских богослужебных книг и церковных обрядов. Он начал с того, что своею властью без собора в 1653 г. перед великим постом разослал по церквам указ, сколько следует класть земных поклонов при чтении известной молитвы св. Ефрема Сирина, при чем предписывал также креститься тремя перстами. Потом он ополчился против русских иконописцев своего времени, которые отступали от греческих образцов в писании икон и усвояли приемы католических живописцев. Далее при

содействии юго-западных монахов он ввел на место древнего московского унисонного пения новое киевское партесное, а также завел небывалый обычай произносить в церкви проповеди собственного сочинения. В древней Руси подозрительно смотрели на такие проповеди, видели в них признак самомнения проповедника; пристойным считали читать поучение св. отцов, хотя обыкновенно и их не читали, чтоб не замедлять церковной службы. Никон сам любил и был мастер произносить поучения собственного сочинения. По его внушению и примеру и приезжие киевляне начали говорить в московских церквах свои проповеди, иногда даже на современные темы. Легко понять смущение, в какое должны были впасть от этих новизн православные русские умы, и без того тревожно настроенные. Распоряжения Никона показывали русскому православному обществу, что оно доселе не умело ни молиться, ни писать икон и что духовенство не умело совершать богослужение, как следует. Это смущение живо выразил один из первых вождей раскола, протопоп Аввакум. Когда вышло распоряжение о великопостных поклонах, „мы, пишет он, собрались и задумались: видим, зима наступает, сердце озябло и ноги задрожали“. Смущение должно было усилиться, когда Никон приступил к исправлению богослужебных книг, хотя это дело он провел через церковный собор 1654 г. под председательством самого царя и в присутствии Боярской думы: собор постановил при печатании церковных книг исправлять их по древним славянским и по греческим книгам. Богослужебные книги в древней Руси плохо отличали от Свящ. Писания. Потому предприятие Никона возбуждало вопрос: неужели и божественное писание неправо? что же после этого есть правого в русской Церкви? Тревога усиливалась еще тем, что все свои

распоряжения патриарх вводил порывисто и с необычайным шумом, не подготовляя к ним общества и сопровождая их жестокими мерами против ослушников. Оборвать, обругать, проклясть, избить неугодного человека—таковы были обычные приемы его властного пастырства. Так он поступил даже с епископом коломенским Павлом, возражавшим ему на соборе 1654 г.: без соборного суда Павел был лишен кафедры, предан „лютому биению" и сослан, сошел с ума и погиб безвестной смертью. Один современник рассказывает, как Никон действовал против нового иконописания. В 1654 г., когда царь был в походе, патриарх приказал произвести в Москве обыск по домам и забрать иконы нового письма везде, где оне окажутся, даже в домах знатных людей. У отобранных икон выкалывали глаза и в таком виде носили их по городу, объявляя указ, который грозил строгим наказанием всем, кто будет писать такие иконы. Вскоре после того в Москве настала моровая язва и случилось солнечное затмение. Москвичи пришли в сильное волнение, собирали сходки и бранили патриарха, говоря, что мор и затмение—кара Божия за нечестие Никона, ругающегося над иконами, собирались даже убить иконоборца. В 1665 г. в неделю православия патриарх совершал в Успенском соборе торжественное богослужение в присутствии двух восточных патриархов, антиохийского и сербского, случившихся тогда в Москве. После литургии Никон, прочитав беседу о поклонении иконам, произнес сильную речь против новой русской иконописи и предал церковному отлучению всех, кто впредь будет писать или держать у себя новые иконы. При этом ему подносили отобранные иконы и он, показывая каждую народу, бросал ее на железный пол с такою силою, что икона разбивалась. Наконец, он приказал сжечь неисправные иконы.

Царь Алексей, все время смиренно слушавший патриарха, подошел к нему и тихо сказал: „нет, батюшка, не вели их жечь, а прикажи лучше закопать в землю“.

Содействие Никона расколу.

Что было всего хуже, такое ожесточение против привычных церковных обычаев и обрядов вовсе не оправдывалось убеждением Никона в их душевредности и в исключительной душеспасительности новых. Как до возбуждения вопросов об исправлении книг сам он крестился двумя перстами, так и после допускал в Успенском соборе и сугубую, и трегубую аллилуию. Уж в конце своего патриаршества, в разговоре с покорившимся Церкви противником Иваном Нероновым о старых и новоисправленных книгах, он сказал: „и те, и другие добры; все равно, по коим хочешь, по тем и служишь“. Значит, дело было не в обряде, а в противлении церковной власти. Неронов с единомышленниками и был проклят на соборе 1656 г. не за двуперстие или старопечатные книги, а за то, что не покорялся церковному собору. Вопрос сводился с обряда на *правило*, обязывавшее повиноваться церковной власти. На том же основании и собор 1666/7 гг. положил клятву на старообрядцев. Дело получало такой смысл: церковная власть предписывала непривычный для паствы обряд; непокорявшіеся предписанию отлучались не за старый обряд, а за непокорность; но кто раскаивался, того воссоединяли с Церковью и разрешали ему держаться старого обряда. Это похоже на пробную лагерную тревогу, приучающую людей быть всегда в боевой готовности. Но такой искус церковного послушания — пастырская игра религиозной совестью пасомых. Протопоп Аввакум и другие не нашли в себе столь гибкой совести и стали расколоучителями. А объяви Никон в самом начале дела всей Церкви то же, что он сказал покорившемуся Неронову, не было бы и раскола. Никон

много помог успехам раскола тем, что плохо понимал людей, с которыми ему приходилось считаться, слишком низко ценил своих первых противников, Неронова, Аввакума и других своих бывших друзей. Это были не только популярные проповедники, но и народные агитаторы. Свой учительный дар они показывали преимущественно на учениях св. отцов, особенно Іоанна Златоуста, на *Маргарите*, как назывался сборник его поучений. И Неронов, священствуя в Нижнем, не расставался с этой книгой, читал и толковал ее с церковной кафедры, даже по улицам и площадям, собирая большие толпы народа. Неизвестно, много ли было богословского смысла в этих экзегетических импровизациях, но темперамента, несомненно, было с избытком. Притом это был жестокий обличитель мирских пороков, пьянства духовных, гроза скоморохов, даже воеводских злоупотреблений, за что ни раз был биваем. Когда он стал настоятелем Казанского собора в Москве, туда на его служение сходилась вся столица, переполняла храм и паперть, облепляла окна; сам царь с семьей приходил послушать проповедника. На Неронова похожи были и другие из братии царского духовника. Популярность и благоволение двора наполнили их непомерной дерзостью. Привыкнув запросто обходиться с Никоном до патриаршества, они теперь стали грубить ему, срамить его на соборе, доносить на него царю. Патриарх отвечал им жестокими карами. Муромский протопоп Логгин, благословляя жену местного воеводы в его доме, спросил ее, не набелена ли она. Обиженный хозяин и гости заговорили: ты, протопоп, хулишь белила, а без них и образа не пишутся. Если, возразил Логгин, составы, какими пишутся образа, положить на ваши рожи, вам это не понравится; сам Спас, пресв. Богородица и все святые честнее своих образов. В

Москву сейчас донос от воеводы: Логгин похулил образа Спасителя, Богородицы и всех святых. Никон, не разобрав этого нелепого дела, подверг Логгина жестокому аресту в отместку за то, что протопоп прежде укорял его в гордости и высокоумии. Внося личную вражду в церковное дело, Никон одновременно и ронял свой пастырский авторитет, и украшал страдальческим венцом своих противников, а разгоняя их по России, снабжал глухие углы ее умелыми сеятелями староверья. Так Никон не оправдал своей диктатуры, не устроил церковных дел, напротив, еще более их расстроил. Власть и придворное общество погасили в нем духовные силы, дарованные ему щедрой для него природой. Ничего обновительного, преобразовательного не внес он в свою пастырскую деятельность; всего менее было этого в предпринятом им исправлении церковных книг и обрядов. Корректура — не реформа, и если корректурные поправки были приняты частью духовенства и общества за новые догматы и вызвали церковный мятеж, то в этом прежде всего виноват сам Никон со всей русской иерархией: зачем он предпринимал такое дело, обязанный знать, что из него выйдет, и что же делали русские пастыри в продолжение столетий, если не научили своей паствы отличать догмат от сугубой аллилуии? Никон не перестраивал церковного порядка в каком-либо новом духе и направлении, а только заменял одну церковную форму другой. Самую идею вселенской Церкви, во имя которой предпринято было это шумное дело, он понял слишком узко, по-раскольничьи, с внешней обрядовой стороны, и не сумел ни провести в сознание русского церковного общества более широкого взгляда на вселенскую Церковь, ни закрепить его каким-либо вселенским соборным постановлением, и завершил все дело тем,

что в лицо обругал судивших его восточных патриархов султанскими невольниками, бродягами и ворами; ревнуя о единении Церкви вселенской, он расколол свою поместную. Основная струна настроения русского церковного общества, косность религиозного чувства, слишком крепко натянутая Никоном, оборвавшись, больно хлестнула и его самого, и правящую русскую иерархию, одобрившую его дело.

Латинобоязнь.

Кроме собственного образа действий Никон располагал еще двумя вспомогательными средствами для борьбы со староверческим упрямством, которые при данной им делу постановке столь же удачно способствовали успехам староверия. Во-первых, ближайшими сотрудниками Никона и проводниками его церковных нововведений были южнорусские ученые, о которых знали в Москве, что они тесно соприкасались с польским католическим миром или такие греки, как помянутый Арсений, бродяга-перекрест, бывший католик и по слухам даже басурман, доверенный книжный справщик Никона, вывезенный им из Соловецкого исправительного подначала, „ссыльный чернец темных римских отступлений“, как об нем тогда отзывались. Притом введение церковных новшеств сопровождалось резкими попреками со стороны приезжих малороссов и греков, направленными против великороссов. Киевский монах, хохол, „нехай“, как тогда говорили, на каждом шагу колол глаза великорусскому обществу, особенно духовенству, злорадно коря его в невежестве, без умолка твердя о его незнакомстве с грамматикой, риторикой и другими школьными науками. Симеон Полоцкий торжественно с церковной кафедры в московском Успенском соборе возвещал, что премудрость не имеет в России, где главу преклонить, что русские учения чуждаются, и мудрость, предстоящую Богу,

презирают, говорил о невеждах, которые смеют называться учителями, не быв нигде и никогда учениками: „поистине это не учители, а мучители“. Под этими невеждами разумелись прежде всего московские священники. В хранителях древнерусского благочестия эти попреки возбуждали раздраженные вопросы: точно ли они так невежественны, да и эти привозные школьные науки в самом ли деле так уж необходимы для охранения вверенного русской Церкви сокровища? Общество и без того уж было настроено тревожно и подозрительно вследствие наплыва иноземцев, а к этому прибавлялось еще раздраженное чувство национального достоинства, оскорбляемое своею же православной братией. Наконец, русские и восточные иерархи на соборе 1666/7 гг., предав анафеме двуперстие и другие обряды, признанные Стоглавым собором 1551 г., торжественно объявили, что „отцы этого собора мудрствовали невежеством своим безрассудно“. Таким образом русская иерархия XVII в. предала полному осуждению русскую церковную старину, которая для значительной части тогдашнего русского общества имела вселенское значение. Легко понять смущение, в какое все эти явления повергли православные русские умы, воспитанные в описанном религиозном самодовольстве и так тревожно настроенные. Это смущение и повело к расколу, как скоро была найдена разгадка непонятных церковных нововведений. Участие в них приезжих греков и западно-русских ученых, которых подозревали в связи с латинством, назойливое навязывание ими школьных наук, процветавших на латинском Западе, появление церковных новшеств вслед за западными новинами. неразумное пристрастие правительства к казавшимся ненужными заимствованиям с того же Запада, откуда накликали и сытно кормили столько еретического люда,—все это

распространило в русском рядовом обществе догадку, что церковные новшества—дело тайной латинской пропаганды, что Никон и его греческие и киевские сотрудники суть орудие папы, еще раз задумавшего олатынить русский православный народ.

Признания первых старообрядцев.

Достаточно заглянуть в самые ранние произведения старообрядческой литературы, чтобы видеть, что именно такие впечатления и опасения руководили первыми борцами раскола и их последователями. В числе этих произведений видное место занимают две челобитныя, из которых одна подана была царю Алексею в 1662 г. чернецом Савватием, а другая в 1667 г. братией Соловецкого монастыря, восставшей против никоновых нововведений. Издатели исправленных богослужебных книг при Никоне кололи глаза приверженцам старых неисправных книг тем, что они не знали грамматики и риторики. В ответ на это чернец Савватий пишет царю о новых книжных исправителях: „Ей, государь! смутились и книги портят, а начали так плутать недавно: свела их с ума несовершенная их грамматика да приезжие нехаи“. Церковные нововведения Никона оправдывались одобрением восточных греческих иерархов; но греки давно уже возбуждали в русском обществе подозрение насчет чистоты своего православия, и в ответ на обращение к их авторитету соловецкая челобитная замечает, что греческие учители сами лба перекрестить „по подобию“, как подобает, не умеют и без крестов ходят; им самим следовало бы учиться благочестию у русских людей, а не учить последних. Церковные нововводители уверяли, что обряды русской Церкви неправы: но та же челобитная, смешивая обряд с вероучением и становясь за русскую церковную старину, пишет: „ныне новые вероучители учат нас новой и неслыханной вере, точно мы мор-

два или черемиса, Бога не знающая; пожалуй, придется нам вторично креститься, а угодников Божиих и чудотворцев вон из церкви выбросить; и так уже иноземцы смеются над нами, говоря, что мы и веры то христианской по сие время не знали". Очевидно, церковные нововведения задевали самую чувствительную струну в настроении русского церковного общества, его национально-церковную самоуверенность. Протопоп Аввакум, один из первых и самый жаркий борец за раскол, является самым верным истолкователем его основной точки зрения и его побуждений. В образе действий и в сочинениях этого старообрядческого борца выражается вся сущность древнерусского религиозного мировоззрения, как оно сложилось к изучаемому времени. Аввакум видит источник церковной беды, постигшей Русь, в новых западных обычаях и новых книгах: „Ох, бедная Русь! восклицает он в одном сочинении, что это тебе захотелось латинских обычаев и немецких поступков?" И он того мнения, что восточные церковные учители, которых призывали на Русь научить и наставить ее в церковных недоумениях, сами нуждаются в научении и вразумлении и именно со стороны Руси. В своей автобиографии он рисует бесподобную сцену, разыгравшуюся на судившем его церковном соборе 1667 г., именно свое поведение в присутствии восточных патриархов. Последние говорят ему: „ты упрям, протопоп: вся наша Палестина, и сербы, и албанцы и римляне и ляхи—все тремя перстами крестятся; один ты упорно стоишь на своем и крестишься двумя перстами; так не подобает". Аввакум возразил: „Вселенские учители! Рим давно пал, и ляхи с ним же погибли, до конца остались врагами христианам; да и у вас православие пестро, от насилия турского Махмета немощны вы стали и впредь приезжайте к нам учиться; у нас Божией благодатью само-

державие и до Никона-отступника православие было чисто и непорочно и Церковь безмятежна“. Сказав это, подсудимый отошел к дверям палаты да на бок и повалился, приговаривая: „посидите вы, а я полежу“. Некоторые засмеялись, говоря: „дурак протопоп, и патриархов не почитает“. Аввакум продолжал: „мы уроды Христа ради; вы славны, а мы бесчестны, вы сильны, а мы немощны“. Основную мысль, руководившую первыми вождями раскола, Аввакум выразил так: „хотя я не смысленный и очень неученый человек, да то знаю, что все, святыми отцами Церкви преданное, свято и непорочно; держу до смерти, якоже приях, не прилагаю предел вечных; до нас положено—лежи оно так во веки веком“. Эти черты древнерусского религиозного миросозерцания, которому события XVII в. сообщили чрезвычайно болезненное возбуждение и одностороннее направление, целиком перешли в раскол, легли в основание его религиозного миросозерцания.

Обзор сказанного.

Так я объясняю происхождение раскола. Припомним еще раз изложенные наблюдения, чтобы отдать себе отчет в этом факте и в его значении.

Внешние бедствия, постигшие Русь и Византию, уединили русскую Церковь, ослабив ее духовное общение с церквами православного Востока. Это помутило в русском церковном обществе мысль о вселенской Церкви, подставив под нее мысль о Церкви русской, как единственной православной, заменившей собою Церковь вселенскую. Тогда авторитет вселенского христианского сознания был подменен авторитетом местной национальной церковной старины. Замкнутая жизнь содействовала накоплению в русской церковной практике местных особенностей, а преувеличенная оценка местной церковной старины сообщила этим особенностям значение неприкосновенной святыни. Житейские

соблазны и религиозные опасности, принесенные западным влиянием, насторожили внимание русского церковного общества, а в его руководителях пробудили потребность собираться с силами для предстоявшей борьбы, осмотреться и прибраться, подкрепиться содействием других православных обществ и для того теснее сойтись с ними. Так в лучших русских умах около половины XVII в. оживилась замиравшая мысль о вселенской Церкви, обнаружившаяся у патриарха Никона нетерпеливой и порывистой деятельностью, направленной к обрядовому сближению русской Церкви с восточными церквами. Как самая эта идея, так и обстоятельства ее пробуждения, и особенно способы ее осуществления вызвали в русском церковном обществе страшную тревогу. Мысль о вселенской Церкви выводила это общество из его спокойного религиозного самодовольства, из национально-церковного самомнения. Порывистое и раздраженное гонение привычных обрядов оскорбляло национальное самолюбие, не давало встревоженной совести одуматься и переломить свои привычки и предрассудки, а наблюдение, что латинское влияние дало первый толчок этим преобразовательным порывам, наполнило умы паническим ужасом при догадке, что этой ломкой родной старины двигает скрытая злокозненная рука из Рима.

Народно-психологический состав старообрядчества.

И так раскол, как религиозное настроение и как протест против западного влияния, произошел от встречи преобразовательного движения в государстве и Церкви с народно-психологическим значением церковного обряда и с национальным взглядом на положение русской церкви в христианском мире. С этих сторон он есть явление народной психологии и только. В народно-психологическом составе старообрядчества надобно различать три основные элемента: 1) церковное самомнение, по вине которого православие

у нас превратилось в национальную монополию (*национализацию вселенской Церкви*); 2) косность и робость богословской мысли, не умевшей усвоить духа нового чуждого знания и испугавшейся его, как нечистого латинского навождения (*латинобоязнь*) и 3) инерция религиозного чувства, не умевшего отрешиться от привычных способов и форм своего возбуждения и проявления (*языческая обрядность*). Но протестующее противоцерковное настроение раскола превратилось в церковный мятеж, когда старообрядцы отказались повиноваться своим церковным пастырям за их предполагаемую привязанность к латинству, а русские церковные иерархи с двумя восточными патриархами на московском соборе 1667 г. отлучили непокорных старообрядцев от православной Церкви за их противление канонической власти церковных пастырей. С того времени раскол и получил свое бытие не только как религиозное настроение, но и как особенное церковное общество, отделившееся от господствующей Церкви.

Раскол и просвещение.

Раскол скоро отозвался и на ходе русского просвещения и на условиях западного влияния. Это влияние дало прямой толчок реакции, породившей раскол, а раскол в свою очередь дал косвенный толчок школьному просвещению, на которое он так ополчался. И греческие, и западнорусские ученые твердили о народном русском невежестве, как о коренной причине раскола. Теперь и стали думать о настоящей правильной школе. Но какого она должна быть типа и направления? Здесь раскол помог разделиться взглядам, прежде сливавшимся по недоразумению. Пока перед глазами стояли внешние еретики, папежники и люторы, для борьбы с ними радушно призывали и греков, и киевлян, и Епифания Славинецкого, приходившего с греческим языком, и Симеона Полоцкого — с латинским.

Но теперь завелись еретики домашние, староверы, отпавшие от Церкви за ее латинские новшества, и *хлебопоклонники*, исповедывавшие латинское учение о времени пресуществления св. даров, и заводчиком этой ереси в Москве считали латиниста С. Полоцкого. Возник горячий спор об отношение к обоим языкам, о том, который из них должен лечь в основу православного школьного образования. Эти языки были тогда не просто разные грамматики и лексиконы, а разные системы образования, враждебные культуры, непримиримые миросозерцания. Латынь— это „свободные учения", „свобода взыскания", свобода исследования, о которой говорит благословенная грамота прихожанам церкви Іоанна Богослова; это — науки, отвечающие и высшим духовным, и ежедневным житейским нуждам человека, а греческий язык—это „священная философия", грамматика, риторика, диалектика, как служебные науки, вспомогательные средства для уразумения Слова Божия. Восторжествовали, разумеется, эллинисты. В царствование Федора в защиту греческого языка написана была статья, которая начинается постановкой вопроса и ответом на него: „Учитися ли нам полезнее грамматики, риторики, философии и феологии и стихотворному художеству и оттуду познавати божественная писания, или, не учася сем хитростем, в простоте Богу угождати и от чтения разум святых писаний познавати, — и что лучше российским людем учитися греческого языка, а не латинского". Латинское учение по этой статье безусловно вредно и губительно, грозит двумя великими опасностями: „прослышав о принятии этого учения в Москве, лукавые иезуиты подкрадутся со своими неудобопознаваемыми силлогизмами и душетлительными аргументами", и тогда с Великой Россией повторится то же, что испытала Малая

где „быша мало не все униаты—редции осташася во православии“; потом, если в народе, особенно в „простаках“, прослышат о латинском учении, не знаю, пишет автор, какого ждат добра, „точию избави Боже всякие противности“. В 1681 г. при московской типографии на Никольской открыто было училище с двумя классами для изучения греческого языка в одном и славянского в другом. Руководил этой типографской школой долго живший на Востоке иеромонах Тимофей с двумя учителями греками. В школу вступило 30 учеников из разных сословий. В 1686 г. их числилось уже 233 человека. Потом заведена была и высшая школа, славяно-греко-латинская академия, открытая в 1686 г. в Заиконоспасском монастыре на Никольской же. Руководить ею призваны были греки братья Лихуды. Сюда перевели старших учеников типографского училища, которое стало как бы низшим отделением академии. В 1685 г. ученик Полоцкого Сильвестр Медведев поднес правительнице царевне Софье привилегий или устав академии, составленный еще при царе Федоре. Характер и задачи академии ясно обозначены некоторыми пунктами устава. Она открывалась для людей всех состояний и давала служебные чины воспитанникам. На должности ректора и учителей допускались только русские и греки; западно-русские православные ученые могли занимать эти должности только по свидетельству достоверных благочестивых людей. Строго запрещалось держать домашних учителей иностранных языков, иметь в домах и читать латинские, польские, немецкие и другие еретические книги; за этим, как и за иноверной пропагандой среди православных, наблюдала академия, которая судила и обвиняемых в хуле на православную веру, за что виновные подвергались сожжению. Так про-

должительные хлопоты о московском рассаднике свободных учений для всего православного Востока завершились церковно-полицейским учебным заведением, которое стало первообразом церковной школы. Поставленная на страже православия от всех европейских еретиков, без приготовительных школ, академия не могла проникнуть своим просветительным влиянием в народную массу и была безопасна для раскола.

Содействие раскола западному влиянию.

Сильнее воздействовал раскол в пользу западного влияния, которым был вызван. Церковная буря, поднятая Никоном, далеко не захватила всего русского церковного общества. Раскол начался среди русского духовенства, и борьба в первое время шла собственно между русской правящей иерархией и той частью церковного общества, которая была увлечена оппозицией против обрядовых новшеств Никона, веденной агитаторами из подчиненного белого и черного духовенства. Даже не вся правящая иерархия была первоначально за Никона: епископ коломенский Павел в ссылке указывал еще на трех архиереев, подобно ему хранивших древнее благочестие. Единодушие здесь устанавливалось лишь по мере того, как церковный спор передвигался с обрядовой почвы на каноническую, превращался в вопрос о противлении паствы законным пастырям. Тогда в правящей иерархии все поняли, что дело не в древнем или новом благочестии, а в том, остаться ли на епископской кафедре без паствы, или пойти с паствой без кафедры подобно Павлу коломенскому. Масса общества вместе с царем относилась к делу двойственно: принимали нововведение по долгу церковного послушания, но не сочувствовали нововводителю за его отталкивающий характер и образ действий; сострадали жертвам его нетерпимости, но не могли одобрять непри-

стойных выходок его исступленных противников против властей и учреждений, которые привыкли считать опорами церковно-нравственного порядка. Степенных людей не могла не повергнуть в раздумье сцена в соборе при растрижении протопопа Логгина, который по снятии с него однорядки и кафтана с бранью плевал через порог в алтарь в глаза Никону и сорвав с себя рубашку, бросил ее в лицо патриарху. Мыслящие люди старались вдуматься в сущность дела, чтобы найти для своей совести точку опоры, которой не давали пастыри. Ртищев, отец ревнителя наук, говорил одной из первых страдалиц за старую веру кн. Урусовой: смущает меня одно—не ведаю, за истину ли терпите. Он мог спросить и себя, за истину ли их мучат. Даже дьякон Федор, один из первых борцов за раскол, в тюрьме наложил на себя пост, чтобы узнать, что есть неправого в древнем благочестии и что правого в новом. Иные из таких сомневавшихся уходили в раскол; большая часть успокоивалась на сделке с совестью, оставались искренне преданы Церкви, но отделяли от нея церковную иерархию и полное равнодушие к последней прикрывали привычным наружно-почтительным отношением. Правящие государственные сферы были решительнее. Здесь надолго запомнили, как глава церковной иерархии хотел стать выше царя, как он на вселенском судилище в 1666 г. срамил московского носителя верховной власти, и признав, что от этой иерархии, кроме смуты, ждать нечего, молчаливо, без слов, общим настроением решили предоставить ее самой себе, но до деятельного участия в государственном управлени не допускать. Этим закончилась политическая роль древнерусского духовенства, всегда плохо поставленная и еще хуже исполняемая. Так было устранено одно из главнейших препятствий,

мешавших успехам западного влияния. Так как в этом церковно-политическом кризисе ссора царя с патриархом неуловимыми узлами сплелась с церковной смутой, поднятой Никоном, то ее действие на политическое значение духовенства можно признать косвенной услугой раскола западному влиянию. Раскол оказал ему и более прямую услугу, ослабив действие другого препятствия, которое мешало реформе Петра, совершавшейся под этим влиянием. Подозрительное отношение к Западу распространено было во всем русском обществе и даже в руководящих кругах его, особенно легко поддававшихся западному влиянию, родная старина еще не утратила своего обаяния. Это замедляло преобразовательное движение, ослабляло энергию нововводителей. Раскол уронил авторитет старины, подняв во имя ее мятеж против Церкви, а по связи с ней и против государства. Большая часть русского церковного общества теперь увидела, какие дурные чувства и наклонности может воспитывать эта старина и какими опасностями грозит слепая к ней привязанность. Руководители преобразовательного движения, еще колебавшиеся между родной стариной и Западом, теперь с облегченной совестью решительнее и смелее пошли своей дорогой. Особенно сильное действие в этом направлении оказал раскол на самого преобразователя. В 1682 г., вскоре по избрании Петра в цари, старообрядцы повторили свое мятежное движение во имя старины, старой веры (спор в грановитой палате 5 июля). Это движение, как впечатление детства, на всю жизнь врезалось в душе Петра и неразрывно связало в его сознании представления о родной старине, расколе и мятеже: старина—это раскол; раскол—это мятеж; следовательно, старина—это мятеж. Понятно, в какое отношение к родной старине ставила преобразователя такая связь представлений.

Лекция LVI.

Царь Алексей Михайлович.—Ф. М. Ртищев.

Мы видели *движения*, происходившие в русском обществе XVII в. Нам остается взглянуть на *людей*, стоявших тогда во главе его. Это необходимо для полноты наблюдения. Из противоположных течений, волновавших русское общество, одно отталкивало его к старине, а другое увлекало вперед, в темную даль неведомой чужбины. Эти противоположные влияния рождали и распространяли в обществе смутные чувства и настроения. Но в отдельных людях, становившихся впереди общества, эти чувства и стремления уяснялись, превращались в сознательные идеи и становились практическими задачами. Притом такие представительные, типические лица помогут нам полнее изучить состав жизни, их воспитавшей. В таких лицах цельно собирались и выпукло проступали такие интересы и свойства их среды, которые терялись в ежедневном обиходе, рассеянно бродя по заурядным людям, разбросанными и бессильными случайностями. Я остановлю ваше внимание только на немногих людях, шедших во главе преобразовательного движения, которым подготовлялось дело Петра. В их идеях и в задачах, ими поставленных, всего явственнее обнаруживаются существенные результаты этой под-

готовки. То были идеи и задачи, которые прямо вошли в преобразовательную программу Петра, как завет его предшественников.

Первое место между этими предшественниками принадлежит бесспорно отцу преобразователя. В этом лице отразился первый момент преобразовательного движения, когда вожди его еще не думали разрывать со своим прошлым и ломать существующее. Царь Алексей Михайлович принял в преобразовательном движении позу, соответствующую такому взгляду на дело: одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении. Он вырос вместе с поколением, которое нужда впервые заставила заботливо и тревожно посматривать на еретический Запад в чаянии найти там средства для выхода из домашних затруднений, не отрекаясь от понятий, привычек и верований благочестивой старины. Это было у нас единственное поколение, так думавшее: так не думали прежде и перестали думать потом. Люди прежних поколений боялись брать у Запада даже материальные удобства, чтобы ими не повредить нравственного завета отцов и дедов, с которым не хотели расставаться, как со святыней; после у нас стали охотно пренебрегать этим заветом, чтобы тем вкуснее были материальные удобства, заимствуемые у Запада. Царь Алексей и его сверстники не менее предков дорожили своей православной стариной, но некоторое время они были уверены, что можно щеголять в немецком кафтане, даже смотреть на иноземную потеху, „комедийное действо", и при этом сохранить в неприкосновенности те чувства и понятия, какие необходимы, чтобы с набожным страхом помышлять о возможности нарушить пост в крещенский сочельник до звезды.

Царь Алексей родился в 1629 г. Он прошел полный курс древнерусского образования или *словесного учения*, как тогда говорили. По заведенному порядку тогдашней педагогики на шестом году его посадили за букварь, нарочно для него составленный патриаршим дьяком по заказу дедушки, патриарха Филарета, — известный древнерусский букварь с титлами, заповедями, кратким катихизисом и т. д. Учил царевича, как это было принято при московском дворе, дьяк одного из московских приказов. Через год перешли от азбуки к чтению Часовника, месяцев через пять к Псалтирю, еще через три принялись изучать Деяния апостолов, через полгода стали учить писать, на девятом году певчий дьяк, т.-е. регент дворцового хора, начал разучивать Охтой (Октоих), нотную богослужебную книгу, от которой месяцев через восемь перешли к изучению „страшного пения", т.-е. церковных песнопений Страстной седьмицы, особенно трудных по своему напеву—и лет десяти царевич был готов, прошел весь курс древнерусского гимназического образования: он мог бойко прочесть в церкви часы и не без успеха петь с дьячком на клиросе по крюковым нотам стихиры и каноны. При этом он до мельчайших подробностей изучил чин церковного богослужения, в чем мог поспорить с любым монастырским и даже соборным уставщиком. Царевич прежнего времени, вероятно, на этом бы и остановился. Но Алексей воспитывался в иное время, у людей которого настойчиво стучалось в голову смутная потребность ступить дальше, в таинственную область эллинской и даже латинской мудрости, мимо которой, боязливо чураясь и крестясь, пробегал благочестивый русский грамотей прежних веков. Немец со своими нововымышленными хитростями, уже забравшийся в ряды русских ратных людей,

проникал и в детскую комнату государева дворца. В руках ребенка Алексея была уже „потеха", конь немецкой работы и немецкие „карты", картинки, купленные в Овощном ряду за 3 алтына 4 деньги (рубля полтора на наши деньги) и даже детские латы, сделанные для царевича мастером немчином Петром Шальтом. Когда царевичу стало лет 11—12, он обладал уже маленькой библиотекой, составившейся преимущественно из подарков дедушки, дядек и учителя, заключавшей в себе томов 13. Большею частью это были книги Свящ. Писания и богослужебные; но между ними уже находились грамматика, печатанная в Литве, космография и в Литве же изданный какой-то лексикон. К тому же главным воспитателем царевича был боярин Б. И. Морозов, один из первых русских бояр сильно пристрастившийся к западно-европейскому. Он ввел в учебную программу царевича прием наглядного обучения, знакомил его с некоторыми предметами посредством немецких гравированных картинок; он же ввел и другую еще более смелую новизну в московский государев дворец, одел цесаревича Алексея и его брата в немецкое платье.

В зрелые годы царь Алексей представлял в высшей степени привлекательное сочетание добрых свойств верного старине древнерусского человека с наклонностью к полезным и приятным новшествам. Он был образцом набожности, того чинного, точно размеренного и твердо разученного благочестия, над которым так много и долго работало религиозное чувство древней Руси. С любым иноком мог он поспорить в искусстве молиться и поститься: в Великий и Успенский пост по воскресеньям, вторникам, четвергам, и субботам царь кушал раз в день, и кушанье его состояло из капусты, груздей и ягод—все без масла; по понедельникам, средам и пятницам во все посты он

не ел и не пил ничего. В церкви он стоял иногда часов по пяти и по шести сряду, клал по тысяче земных поклонов, а в иные дни и по полторы тысячи Это был истовый древнерусский богомолец, стройно и цельно соединявший в подвиге душевного спасения труд телесный с напряжением религиозного чувства. Эта набожность оказывала могущественное влияние и на государственные понятия, и на житейские отношения Алексея. Сын и преемник царя, пользовавшагося ограниченною властью, но сам вполне самодержавный властелин, царь Алексей крепко держался того выспреннего взгляда на царскую власть, какой выработало старое московское общество. Предание Грозного звучит в словах царя Алексея: „Бог благословил и предал нам, государю, править и рассуждать люди своя на востоке и на западе и на юге и на севере вправду". Но сознание самодержавной власти в своих проявлениях смягчалось набожной кротостью, глубоким смирением царя, пытавшагося не забыть в себе человека. В царе Алексее нет и тени самонадеянности, того щекотливого и мнительного, обидчивого властолюбия, которым страдал Грозный. „Лучше слезами, усердием и низостью (усмирением) перед Богом промысл чинить, чем силой и славой (надменностью)", писал он одному из своих воевод. Это соединение власти и кротости помогало царю ладить с боярами, которым он при своем самодержавии уступал широкое участие в управлении; делиться с ними властью, действовать с ними об руку было для него привычкой и правилом, а не жертвой или досадной уступкой обстоятельствам. „А мы великий государь, писал он кн. Никите Одоевскому в 1652 г., ежедневно просим у Создателя и у Пречистой Его Богоматери и у всех святых, чтобы Господь Бог даровал нам, великому государю, и вам, боярам, с нами единодушно люди Его световы управить

вправду всем ровно". Сохранилась весьма характерная в своем роде записочка царя Алексея, коротенький конспект того, о чем предполагалось говорить на заседании Боярской думы. Этот документ показывает, как царь готовился къ думским заседаниям: он не только записал, какие вопросы предложить на обсуждение бояр, но и наметил, о чем говорить самому, как решить тот или другой вопрос. Кой о чем он навел справки, записал цифры; об ином он еще не составил мнения и не знает, как выскажутся бояре; о другом он имеет нерешительное мнение, от которого откажется, если станут возражать. Зато по некоторым вопросам он составил твердое суждение и будет упорно за него стоять в совете: это именно вопросы простой справедливости и служебной добросовестности. Астраханский воевода, по слухам, уступил калмыкам православных пленников, ими захваченных. Царь решил написать ему „с грозою и с милостию", а если слух оправдается, казнить его смертью или по меньшей мере отсечь руку и сослать в Сибирь. Эта записочка всего нагляднее рисует простоту и прямоту отношений царя к своим советникам, равно и внимательность к своим правительственным обязанностям.

Общественные нравы и понятие в иных случаях перемогали добрые свойства и влечения царя. Властный человек в древней Руси так легко забывал, что он не единственный человек на свете, и не замечал рубежа, до которого простирается его воля и за которым начинаются чужое право и общеобязательное приличие. Древне-русская набожность имела довольно ограниченное поле действия, поддерживала религиозное чувство, но слабо сдерживала волю. От природы живой, впечатлительный и подвижной, Алексей страдал вспыльчивостью, легко терял самообладание и давал излишний простор языку и рукам. Однажды,

в пору уже натянутых отношений к Никону, царь, возмущаемый высокомерием патриарха, из-за церковного обряда поссорился с ним в церкви в Великую пятницу и выбранил его обычной тогда бранью московских сильных людей, не исключая и самого патриарха, обозвав Никона мужиком, ... сыном. В другой раз в любимом своем монастыре Саввы Сторожевского, который он недавно отстроил, царь праздновал память св. основателя монастыря и обновление обители в присутствии патриарха антиохийского Макария. На торжественной заутрене чтец начал чтение из жития святого обычным возгласом: *Благослови, отче*. Царь вскочил с кресла и закричал: „Что ты говоришь, мужик, ... сын, *Благослови, отче*? Тут патриарх; говори: *Благослови, владыко*!“ В продолжение службы царь ходил среди монахов и учил их читать то-то, петь так-то; если они ошибались, с бранью поправлял их; вел себя уставщиком и церковным старостой; зажигал и гасил свечи, снимал с них нагар; во время службы не переставал разговаривать со стоявшим рядом приезжим патриархом; был в храме как дома, как будто на него никто не смотрел. Ни доброта природы, ни мысль о достоинстве сана, ни усилия быть набожным и порядочным ни на вершок не поднимали царя выше грубейшего из его подданных. Религиозно-нравственное чувство разбивалось о неблаговоспитанный темперамент, и даже добрые движения души получали непристойное выражение. Вспыльчивость царя чаще всего возбуждалась встречей с нравственным безобразием, особенно с поступками, в которых обнаруживались хвастовство и надменность. Кто на похвальбе ходит, всегда посрамлен бывает—таково было житейское наблюдение царя. В 1660 г. князь Хованский был разбит в Литве и потерял почти всю свою двадцатитысячную армию. Царь спрашивал в думе

бояр, что делать. Боярин И. Д. Милославский, тесть царя, не бывавший в походах, неожиданно заявил, что если государь пожалует его, даст ему начальство над войском, то он скоро приведет пленником самого короля польского. „Как ты смеешь, закричал на него царь, ты, страдник, худой человечишка, хвастаться своим искусством в деле ратном! когда ты ходил с полками, какие победы показал над неприятелем?“ Говоря это, царь вскочил, дал старику пощечину, надрал ему бороду и пинками вытолкнув его из палаты, с силой захлопнул за ним двери. На хвастуна или озорника царь вспылит, пожалуй, даже пустит в дело кулаки, если виноватый под руками, и уж непременно обругает вволю: Алексей был мастер браниться тою изысканною бранью, какой умеет браниться только негодующее и злопамятное русское добродушие. Казначей Саввина Сторожевского монастыря отец Никита, выпивши, подрался со стрельцами, стоявшими в монастыре, прибил их десятника (офицера) и велел выбросить за монастырский двор стрелецкое оружие и платье. Царь возмутился этим поступком, „до слез ему стало, во мгле ходил“, по его собственному признанию. Он не утерпел и написал грозное письмо буйному монаху. Характерен самый адрес послания: „От царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руссии врагу Божию и богоненавистцу и христопродавцу и разорителю чудотворцева дому и единомысленнику сатанину, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злому пронырливому злодею казначею Микитѣ“. Но прилив царственного гнева разбивался о мысль, никогда не покидавшую царя, что на земле никто не безгрешен перед Богом, что на Его суде все равны, и цари и подданные: в минуты сильнейшего раздражения Алексей ни в себе, ни в виноватом подданном старался не забыть человека. „Да и то

себе ведай, сатанин ангел,—писал царь в письме к казначею,—что одному тебе да отцу твоему диаволу годна и дорога твоя здешняя честь, а мне, грешному, здешняя честь аки прах, и дороги ли мы перед Богом с тобою и дороги ли наши высокосердечные мысли, доколе Бога не боимся“. Самодержавный государь, который мог сдуть с лица земли отца Микиту, как пылинку, пишет далее, что он со слезами будет милости просить у чудотворца преп. Саввы, чтобы оборонил его от злонравного казначея: „на оном веке рассудит нас Бог с тобою, а опричь того мне нечем от тебя оборониться“. При доброте и мягкости характера это уважение к человеческому достоинству в подданном производило обаятельное действие на своих и чужих и заслужило Алексею прозвание „тишайшего царя“. Иностранцы не могли надивиться тому, что этот царь при беспредельной власти своей над народом, привыкшим к полному рабству, не посягнул ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь (слова австрийского посла Мейерберга). Дурные поступки других тяжело действовали на него всего более потому, что возлагали на него противную ему обязанность наказывать за них. Гнев его был отходчив, проходил минутной вспышкой, не простираясь далее угроз и пинков, и царь первый шел навстречу к потерпевшему с прощением и примирением, стараясь приласкать его, чтобы не сердился. Страдая тучностью, царь раз позвал немецкого „дохтура“ открыть себе кровь; почувствовав облегчение, он, по привычке делиться всяким удовольствием с другими, предложил и своим вельможам сделать ту же операцию. Не согласился на это один боярин Стрешнев, родственник царя по матери, ссылаясь на свою старость. Царь вспылил и прибил старика, приговаривая: „твоя кровь дороже что ли моей? или ты счи-

таешь себя лучше всех?“ Но скоро царь и не знал, как задобрить обиженного, какие подарки послать ему, чтобы не сердился, забыл обиду.

Алексей любил, чтобы вокруг него все были веселы и довольны; всего невыносимее была ему мысль, что кто-нибудь им недоволен, ропщет на него, что он кого-нибудь стесняет. Он первый начал ослаблять строгость заведенного при московском дворе чопорного этикета, делавшего столь тяжелыми и натянутыми придворные отношения. Он нисходил до шутки с придворными, ездил к ним запросто в гости, приглашал их к себе на вечерние пирушки, поил, близко входил в их домашние дела. Уменье входить в положение других, понимать и принимать к сердцу их горе и радость было одною из лучших черт в характере царя. Надобно читать его утешительные письма к кн. Ник. Одоевскому по случаю смерти его сына и к Ордыну-Нащокину по поводу побега его сына за границу,—надобно читать эти задушевные письма, чтобы видеть, на какую высоту деликатности и нравственной чуткости могла поднять даже неустойчивого человека эта способность проникаться чужим горем. В 1652 г. сын кн. Ник. Одоевского, служившего тогда воеводой в Казани, умер от горячки почти на глазах у царя. Царь написал старику отцу, чтобы утешить его, и между прочим писал: „и тебе бы боярину нашему, через меру не скорбеть, а нельзя, чтобы не поскорбеть и не поплакать, и поплакать надобно, только в меру, чтобы Бога не прогневить“. Автор письма не ограничился подробным рассказом о неожиданной смерти и обильным потоком утешений отцу: окончив письмо, он не утерпел, еще приписал: „князь Никита Иванович! не горюй, а уповай на Бога и на нас будь надежен“. В 1660 г. сын Ордына-Нащокина, молодой человек, подавав-

ший большие надежды, которому иноземные учителя вскружили голову рассказами о западной Европе, бежал за границу. Отец был страшно сконфужен и убит горем, сам уведомил царя о своем несчастии и просил отставки. Царь умел понимать такие положения и написал отцу задушевное письмо, в котором защищал его от него самого. Между прочим он писал: „Просишь ты, чтобы дать тебе отставку; с чего ты взял просить об этом? думаю, что от безмерной печали. И что удивительного в том, что надурил твой сын? от малоумия так поступил. Человек он молодой, захотелось посмотреть на мир Божий и его дела; как птица полетает туда и сюда и, налетавшись, прилетает в свое гнездо, так и сын ваш припомнит свое гнездо и свою духовную привязанность и скоро к вам воротится".

Царь Алексей Михайлович был добрейший человек, славная русская душа. Я готов видеть в нем лучшего человека древней Руси, по крайней мере, не знаю другого древнерусского человека, который производил бы более приятное впечатление,— но только не на престоле. Это был довольно пассивный характер. Природа или воспитание были виною того, что в нем развились преимущественно те свойства, которые имеют такую цену в ежедневном житейском обиходе, вносят столько света и тепла в домашние отношения. Но при нравственной чуткости царю Алексею недоставало нравственной энергии. Он любил людей и желал им всякого добра, потому что не хотел, чтобы они своим горем и жалобами расстраивали его тихие личные радости. В нем, если можно так выразиться, было много того нравственного сибаритства, которое любит добро, потому что добро вызывает приятные ощущения. Но он был мало способен и мало расположен что-нибудь отстаивать или проводить, как и с чем-либо долго бороться. Рядом с да-

ровитыми и честными дельцами он ставил на важные посты людей, которых сам ценил очень низко. Наблюдатели непредубежденные, но и непристрастные, выносили несогласимые впечатления, из которых слагалось такое общее суждение о царе, что это был бы добрейший и мудрейший государь, если бы не слушался дурных и глупых советников. В царе Алексее не было ничего боевого; всего менее имел он охоты и способности двигать вперед, понукать и направлять людей, хотя и любил подчас собственноручно „смирить", т.-е. отколотить неисправного или недобросовестного слугу. Современники, даже иностранцы, признавали в нем богатые природные дарования; восприимчивость и любознательность помогли ему приобрести замечательную по тому времени начитанность не только в божественном, но и в мирском писании; об нем говорили, что он „навычен многим философским наукам"; дух времени, потребности минуты также будили мысль, задавали новые вопросы. Это возбуждение сказалось в литературных наклонностях царя Алексея. Он любил писать и писал много, больше, чем кто-либо из древнерусских царей после Грозного. Он пытался изложить историю своих военных походов, делал даже опыты в стихотворстве: сохранилось несколько написанных им строк, которые могли казаться автору стихами. Всего больше оставил он писем к разным лицам. В этих письмах много простодушия, веселости, подчас задушевной грусти, и просвечивает тонкое понимание ежедневных людских отношений, меткая оценка житейских мелочей и заурядных людей, но не заметно ни тех смелых и бойких оборотов мысли, ни той иронии,—ничего, чем так обильны послания Грозного. У царя Алексея все мило, многоречиво, иногда живо и образно, но вообще все сдержанно, мягко, тускло и немного сладковато. Автор, очевидно, человек

порядка, а не идеи и увлечения, готового расстроить порядок во имя идеи; он готов был увлекаться всем хорошим, но ничем исключительно, чтобы ни в себе, ни вокруг себя не нарушить спокойного равновесия. Склад его ума и сердца с удивительной точностью отражался в его полной, даже тучной фигуре, с низким лбом, белым лицом, обрамленным красивой бородой, с пухлыми румяными щеками, русыми волосами, с кроткими чертами лица и мягкими глазами.

Этому-то царю пришлось стоять в потоке самых важных внутренних и внешних движений. Разносторонние отношения, старинные и недавние, шведские, польские, крымские, турецкие, западно-русские, социальные, церковные, как нарочно, в это царствование обострились, встретились и перепутались, превратились в неотложные вопросы и требовали решения, не соблюдая своей исторической очереди, и над всеми ними, как общий ключ к их решению, стоял основной вопрос: оставаться ли верным родной старине или брать уроки у чужих? Царь Алексей разрешил этот вопрос по-своему: чтобы не выбирать между стариной и новшествами, он не разрывал с первой и не отворачивался от последних. Привычки, родственные и другие отношения привязывали его к стародумам; нужды государства, отзывчивость на все хорошее, личное сочувствие тянули его на сторону умных и энергичных людей, которые во имя народного блага хотели вести дела не по-старому. Царь и не мешал этим новаторам, даже поддерживал их, но только до первого раздумья, до первого энергичного возражения со стороны стародумов. Увлекаемый новыми веяниями, царь во многом отступал от старозаветного порядка жизни: ездил в немецкой карете, брал с собой жену на охоту, водил ее и детей на иноземную

потеху, „комедийныя действа" с музыкой и танцами, поил допьяна вельмож и духовника на вечерних пирушках, причем немчин в трубы трубил и в органы играл; дал детям учителя, западно-русского ученого монаха, который повел преподавание дальше Часослова, Псалтиря и Октоиха, учил царевичей языкам латинскому и польскому. Но царь Алексей не мог стать во главе нового движения и дать ему определенное направление, отыскать нужных для того людей, указать им пути и приемы действия. Он был не прочь срывать цветки иноземной культуры, но не хотел марать рук в черной работе ее посева на русской почве.

Несмотря однако на свой пассивный характер, на свое добродушно-нерешительное отношение к вопросам времени, царь Алексей много помог успеху преобразовательного движения. Своими часто беспорядочными и непоследовательными порывами к новому и своим уменьем все сглаживать и улаживать он приручил пугливую русскую мысль к влияниям, шедшим с чужой стороны. Он не дал руководящих идей для реформы, но помог выступить первым реформаторам с их идеями, дал им возможность почувствовать себя свободно, проявить свои силы, и открыл им довольно просторную дорогу для деятельности; не дал ни плана, ни направления преобразованиям, но создал преобразовательное настроение.

Ф. М. Ртищев.

Мы познакомимся с одним из таких дельцов преобразовательного направления, притом с одним из ближайших сотрудников царя Алексея, как будто похожим на него по основным чертам своего характера и однакож—какая разница в их подборе, общем складе и проявлении сходных свойств!

Почти все время царствования Алексея Михайловича неотлучно находился при нем, служа по дворцовому ведом-

ству, его ближний постельничий, а потом дворецкий и воспитатель (дядька) старшего царевича Алексея, Федор Михайлович Ртищев. Он был почти сверстник царя Алексея, родился годами четырьмя раньше его (1625 г.) и умер года за три до его смерти (1673). Сторонним наблюдателям он был мало заметен: не выступал вперед, оставаться в тени было его житейской привычкой. Хорошо еще, что какой-то современник оставил нам небольшое *житие* Ртищева, похожее скорее на похвальное слово, чем на биографию, но с несколькими любопытными чертами жизни и характера этого „милостивого мужа", как его называет биограф. Это был один из тех редких и немного странных людей, у которых совсем нет самолюбия. Наперекор природным инстинктам и исконным привычкам людей Ртищев в заповеди Христа любить ближнего, как самого себя, исполнял только первую часть: он и самого себя не любил ради ближнего — совершенно евангельский человек, правая щека которого просто, без хвастовства и расчета, подставлялась ударившему по левой, как будто это было требованием физического закона, а не подвигом смирения. Ртищев не понимал обиды и мести, как иные не знают вкуса в вине и не понимают, как это можно пить такую неприятную вещь. Некто Иван Озеров, некогда облагодетельствованный Ртищевым и при его содействии получивший образование в Киевской академии, потом стал его врагом. Ртищев был его начальником, но не хотел пользоваться своей властью, а пытался утолить его вражду упорным смирением и доброжелательством; он приходил к его жилищу, тихо стучался в дверь, получал отказ и опять приходил. Выведенный из терпения такой настойчивой и досадной кротостью, хозяин впускал его к себе, бранился и кричал на него. Не отвечая на брань, Ртищев молча уходил от него

и опять приходил с приветом, как будто ничего не бывало. Так продолжалось до смерти упрямого недруга, которого Ртищев и похоронил, как хоронят добрых друзей. Из всего нравственного запаса, почерпнутого древней Русью из христианства, Ртищев воспитал в себе наиболее трудную и наиболее сродную древнерусскому человеку доблесть— смиренномудрие. Царь Алексей, выросший вместе со Ртищевым, разумеется, не мог не привязаться к такому человеку. Своим влиянием царского любимца Ртищев пользовался, чтобы быть миротворцем при дворе, устранять вражды и столкновения, сдерживать сильных и заносчивых или неуступчивых людей в роде боярина Морозова, протопопа Аввакума и самого Никона. Такая трудная роль тем легче удавалась Ртищеву, что он умел говорить правду без обиды, никому не колол глаз личным превосходством, был совершенно чужд родословного и чиновного тщеславия, ненавидел местнические счеты, отказался от боярского сана, предложенного ему царем за воспитание царевича. Соединение таких свойств производило впечатление редкого благоразумия и непоколебимой нравственной твердости: благоразумием, по замечанию цесарского посла Мейерберга, Ртищев, еще не имея 40 лет от роду, превосходил многих стариков, а Ордин-Нащокин считал Ртищева самым крепким человеком из придворных царя Алексея; даже казаки за правдивость и обходительность желали иметь его у себя царским наместником, „князем малороссийским“.

Для успеха преобразовательного движения было очень важно, что Ртищев стоял на его стороне. Нося в себе лучшие начала и заветы древнерусской жизни, он понимал ее нужды и недостатки и стал в первом ряду деятелей преобразовательного направления, а дело, за ко-

торое становился такой делец, не могло быть ни дурным, ни безуспешным. Он один из первых поднял голос против известных уже нам богослужебных бесчиний. Больше чем кто либо при царе Алексее заботился он о водворении в Москве образования при помощи киевских ученых, и ему даже принадлежал почин в этом деле. Ежеминутно на глазах у царя и располагая его полным доверием, Ртищев однако не стал временщиком и не остался безучастным зрителем поднимавшихся вокруг него движений. Он участвовал в самых разнообразных делах по поручению или по собственному почину, управлял приказами, раз в 1655 г. успешно исполнил дипломатическое поручение. Чуть где проявлялась попытка исправить, улучшить положение дел, Ртищев был тут со своим содействием, ходатайством, советом, шел на встречу всякой обновительной потребности, нередко сам возбуждал ее и тотчас сторонился, отходил на второй план, чтобы не стеснять дельцов, ни у кого не перебивал дороги. Миролюбивый и доброжелательный, он не выносил вражды, злобы, ладил со всеми выдающимися дельцами своего времени: и с Ординым-Нащокиным, и с Никоном, и с Аввакумом, и со Славинецким, и с Полоцким при всем несходстве их характеров и направлений; старался удержать староверов и никониан в области богословской мысли, книжного спора, не допуская их до церковного раздора, устраивал в своем доме прения, на которых Аввакум „бранился с отступниками", особенно с С. Полоцким, до изнеможения, до опьянения.

Если верить известию, что мысль о медных деньгах была внушена Ртищевым, то надобно признать, что его правительственное влияние простиралось за пределы дворцового ведомства, в котором он служил. Впрочем, не госу-

дарственная деятельность в точном смысле слова была настоящим делом жизни Ртищева, которым он оставил по себе память: он избрал себе не менее трудное, но менее видное и более самоотверженное поприще—служение страждущему и нуждающемуся человечеству. Биограф передает несколько трогательных черт этого служения. Сопровождая царя в польском походе (1654 г.), Ртищев по дороге подбирал в свой экипаж нищих, больных и увечных, так что от тесноты и сам должен был пересаживаться на коня, несмотря на многолетнюю болезнь ног, в попутных городах и селах устроял для этих людей временные госпитали, где содержал и лечил их на свой счет и на деньги, данные ему на это дело царицей. Точно также и в Москве он велел собирать по улицам валявшихся пьяных и больных в особый приют, где содержал их до вытрезвления и излечения; а для неизлечимых больных, престарелых и убогих устроил богадельню, которую также содержал на свой счет. Он тратил большие деньги на выкуп русских пленных у татар, помогал иноземным пленникам, жившим в России, и узникам, сидевшим в тюрьме за долги. Его человеколюбие вытекало не из одного только сострадания к беспомощным людям, но и из чувства общественной справедливости. Это был очень добрый поступок Ртищева, когда он подарил городу Арзамасу свою подгородную землю, в которой горожане крайне нуждались, но которой не могли купить, хотя у Ртищева был выгодный частный покупатель, предлагавший ему за нее до 14000 на наши деньги. В 1671 г., прослышав о голоде в Вологде, Ртищев отправил туда обоз с хлебом, как будто порученный ему некоторыми христолюбцами для раздачи нищим и убогим на помин души, а потом переслал бедствующему городу около 14000 руб. на наши

деньги, продав для того часть своего платья и утвари. Ртищев, повидимому, понимал не только чужие нужды, но и нескладицы общественного строя и едва ли не первый деятельно выразил свое отношение к крепостному праву. Биограф описывает его заботливость о своих дворовых людях и особенно о крестьянах: он старался соразмерить работы и оброки крестьян с их средствами, поддерживал их хозяйства ссудами; при продаже одного своего села уменьшил его цену, заставив покупщика поклясться, что он не усилит их барщинных работ и оброков; перед смертью всех дворовых отпустил на волю и умолял своих наследников, дочь и зятя, только об одном—на помин его души возможно лучше обращаться с завещанными им крестьянами „ибо, говорил он, они нам суть братья".

Неизвестно, какое впечатление производило на общество отношение Ртищева к своим крестьянам; но его благотворительные подвиги, повидимому, не остались без влияния на законодательство. В царствование Алексеева преемника возбужден был вопрос о церковно-государственной благотворительности. По указу царя произвели в Москве разборку нищих и убогих, питавшихся подаяниями, и действительно беспомощных поместили на казенное содержание в двух устроенных для того богадельнях, а здоровых определили на разные работы. На церковном соборе, созванном в 1681 г., царь предложил патриарху и епископам устроить такие же приюты и богадельни по всем городам, и отцы собора приняли это предложение. Так частный почин влиятельного и доброго человека лег в основание целой системы церковно-благотворительных учреждений, постепенно возникавших с конца XVII в. Тем особенно и важна деятельность тогдашних

государственных людей преобразовательного направления, что их личные помыслы и частные усилия превращались в законодательные вопросы, которые разрабатывались в политические направления или в государственные учреждения.

Лекция LVII.

А. Л. Ордин-Нащокин.

Из ряда сотрудников царя Алексея резкой фигурой выступает самый замечательный из московских государственных людей XVII в. Аф. Лавр. Ордин-Нащокин.

Московский государственный человек XVII в. Самое это выражение может показаться злоупотреблением современной политической терминологией. *Государственный человек*—ведь это значит развитой политический ум, способный наблюдать, понимать и направлять общественные движения, с самостоятельным взглядом на вопросы времени, с разработанной программой действий, наконец, с известным простором для политической деятельности — целый ряд условий, присутствия которых мы совсем не привыкли предполагать в старом Московском государстве. Да, до XVII в. этих условий, действительно, незаметно в государстве московских самодержцев, и трудно искать государственных людей при их дворе. Ход государственных дел тогда направлялся заведенным порядком да государевой волей. Личный ум прятался за порядком, лицо служило только орудием государевой воли; но и порядок и самая эта воля подчинялись еще сильнейшему влиянию обычая, предания. В XVII в., однако, московская государ-

ственная жизнь начала прокладывать себе иные пути. Старый обычай, заведенный порядок пошатнулись; начался сильный спрос на ум, на личные силы, а воля царя Алексея Михайловича для общего блага готова была подчиниться всякому сильному и благонамеренному уму.

А. Л. Ордин-Нащокин.

Царь Алексей, сказал я, создал в русском обществе XVII в. преобразовательное настроение. Первое место в ряду государственных дельцов, захваченных таким настроением, бесспорно принадлежит самому блестящему из сотрудников царя Алексея, наиболее энергическому провозвестнику преобразовательных стремлений его времени, боярину Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину. Этот делец вдвойне любопытен для нас, потому что вел двойную подготовку реформы Петра Великого. Во-первых, никто из московских государственных дельцов XVII в. не высказал столько, как он, преобразовательных идей и планов, которые после осуществил Петр. Потом, Ордину-Нащокину пришлось не только действовать по-новому, но и самому создавать обстановку своей деятельности. По происхождению своему он не принадлежал к тому обществу, среди которого ему привелось действовать. Привилегированным питомником политических дельцов в Московском государстве служило старое родовитое боярство, пренебрежительно смотревшее на массу провинциального дворянства. Ордин-Нащокин был едва ли не первым провинциальным дворянином, проложившим себе дорогу в круг этой спесивой знати, а за ним уже потянулась вереница его провинциальной братии, скоро разбившей плотные ряды боярской аристократии.

Афанасий Лаврентьевич был сын очень скромного псковского помещика; в Псковском и в ближнем Торопецком уездах ютилось целое фамильное гнездо Нащокиных, кото-

рое шло от одного видного служилого человека при московском дворе XIV в. Из этого гнезда, захудавшего после своего родоначальника, вышел и наш Афанасий Лаврентьевич. Он стал известен еще при царе Михаиле: его не раз назначали в посольские комиссии для размежевания границ со Швецией. В начале Алексеева царствования Ордин-Нащокин уже считался на родине видным дельцом и усердным слугой московского правительства. Вот почему во время псковского бунта 1650 г. мятежники намеревались убить его. При усмирении этого бунта московскими полками Ордин-Нащокин показал много усердия и уменья. С тех пор он пошел в гору. Когда в 1654 г. открылась война с Польшей, ему поручен был чрезвычайно трудный пост: с малыми военными силами он должен был сторожить московскую границу со стороны Литвы и Ливонии. Он отлично исполнил возложенное на него поручение. В 1656 г. началась война со Швецией, и сам царь двинулся в поход под Ригу. Когда московские войска взяли один из ливонских городов на Двине, Кокенгаузен (старинный русский Кукейнос, когда-то принадлежавший полоцким князьям), Нащокин был назначен воеводой этого и других нововзавоеванных городов. В этой должности Ордин-Нащокин делает очень важные военные и дипломатические дела: сторожит границу, завоевывает ливонские городки, ведет переписку с польскими властями; ни одно важное дипломатическое дело не делается без его участия. В 1658 г. его усилиями заключено было Валиесарское перемирие со Швецией, условия которого превзошли ожидания самого царя Алексея. В 1665 г. Ордин-Нащокин сидел воеводой в родном своем Пскове. Наконец, он сослужил самую важную и тяжелую службу московскому правительству: после утомительных восьмимесячных переговоров с польскими

уполномоченными он заключил в январе 1667 г. в Андрусове перемирие с Польшей, положившее конец опустошительной для обеих сторон тринадцатилетней войне. В этих переговорах Нащокин показал много дипломатической сообразительности и уменья ладить с иноземцами и вытягал у поляков не только Смоленскую и Северскую землю и восточную Малороссию, но и из западной Киев с округом. Заключение Андрусовскаго перемирия поставило Афанасия очень высоко в московском правительстве, составило ему громкую дипломатическую известность. Делая все эти дела, Нащокин быстро поднимался по чиновной лестнице. Городовой дворянин *по отечеству*, по происхождению, по заключении упомянутого перемирия он был пожалован в *бояре* и назначен главным управителем Посольского приказа с громким титулом „царской большой печати и государственных великих посольских дел оберегателя", т. е. стал государственным канцлером.

Такова была служебная карьера Нащокина. Его родина имела некоторое значение в его судьбе. Псковский край, пограничный с Ливонией, издавна был в тесных сношениях с соседними немцами и шведами. Раннее знакомство с иноземцами и частые сношения с ними давали Нащокину возможность внимательно наблюдать и изучить ближайшие к России страны западной Европы. Это облегчалось еще тем, что в молодости Ордину-Нащокину как-то посчастливилось получить хорошее образование: он знал, говорили, математику, языки латинский и немецкий. Служебные обстоятельства заставили его познакомиться и с польским языком. Так он рано и основательно подготовился к роли дельца в сношениях Московского государства с европейским Западом. Его товарищи по службе говорили про него, что он „знает немецкое дело и немецкие обычаи знает же". Вни-

мательное наблюдение над иноземными порядками и привычка сравнивать их с отечественными сделали Нащокина ревностным поклонником западной Европы и жестоким критиком отечественного быта. Так он отрешился от национальной замкнутости и исключительности и выработал свое особое политическое мышление: он первый провозгласил у нас правило, что „доброму не стыдно навыкать и со стороны, у чужих, даже у своих врагов". После него остался ряд бумаг, служебных донесений, записок или докладов царю по разным политическим вопросам. Это очень любопытные документы для характеристики как самого Нащокина, так и преобразовательного движения его времени. Видно, что автор говорун и бойкое перо; не даром даже враги признавали, что Афанасий умел „слагательно", складно писать. У него было и другое, еще более редкое качество — тонкий, цепкий и емкий ум, умевший быстро схватывать данное положение и комбинировать по своему условия минуты. Это был мастер своеобразных и неожиданных политических построений. С ним было трудно спорить. Вдумчивый и находчивый, он иногда выводил из терпения иноземных дипломатов, с которыми вел переговоры, и они ему же пеняли за трудность иметь с ним дело: не пропустит ни малейшего промаха, никакой непоследовательности в дипломатической диалектике, сейчас подденет и поставит втупик оплошного или близорукого противника, отравит ему чистые намерения, самим же им внушенные, за что однажды пеняли ему польские комиссары, с ним переговаривавшиеся. Такое направление ума совмещалось у него с неугомонной совестью, с привычкой колоть глаза людям их несообразительностью. Ворчать за правду и здравый рассудок он считал своим долгом и даже находил в том большое удовольствие. В его письмах и докладах царю

всего резче звучит одна нота: все они полны немолчных и часто очень желчных жалоб на московских людей и московские порядки. Ордин-Нащокин вечно на все ропщет, всем недоволен: правительственными учреждениями и приказными обычаями, военным устройством, нравами и понятиями общества. Его симпатии и антипатии, мало разделяемые другими, создавали ему неловкое, двусмысленное положение в московском обществе. Привязанность его к западноевропейским порядкам и порицание своих нравились иноземцам, с ним сближавшимся, которые снисходительно признавали в нем „неглупого подражателя“ своих обычаев. Но это же самое наделало ему множество врагов между своими и давало повод его московским недоброхотам смеяться над ним, называть его „иноземцем“. Двусмысленность его положения еще усиливалась его происхождением и характером. Свои и чужие признавали в нем человека острого ума, с которым он пойдет далеко; этим он задевал много встречных самолюбий и тем более, что он шел не обычной дорогой, к какой предназначен был происхождением, а жесткий и несколько задорный нрав его не смягчал этих столкновений. Нащокин был чужой среди московского служебного мира и, как политический новик, должен был с бою брать свое служебное положение, чувствуя, что каждый его шаг вперед увеличивает число его врагов, особенно среди московской боярской знати. Таким положением выработалась его своеобразная манера держаться среди враждебного ему общества. Он знал, что его единственная опора—царь, не любивший надменности, и, стараясь обеспечить себе эту опору, Нащокин прикрывался перед царем от своих недругов видом загнанного скромника, смирением до самоуничижения. Он не высоко ценит свою службишку, но не выше ставит и службу своих знатных врагов и всюду

горько на них жалуется. „Перед всеми людьми“, пишет он царю, „за твое государево дело никто так не возненавижен, как я“; называет себя „облихованным и ненавидимым человеченком, не имеющим, где приклонить грешную голову“. При всяком затруднении или столкновении с влиятельными недругами он просит царя отставить его от службы как неудобного и неумелого слугу, от которого может только пострадать государственный интерес. „Государево дело ненавидят ради меня, холопа твоего“, пишет он царю и просит „откинуть от дела своего омерзелого холопа“. Но Афанасий знал себе цѣну, и про его скромность можно было сказать, что это—напускное смирение паче гордости, которое не мешало ему считать себя прямо человеком не от мира сего: „если бы я от мира был, мир своего любил бы“, писал он царю, жалуясь на общее к себе недоброжелательство. Думным людям противно слушать его донесения и советы, потому что они не видят стези правды и сердце их одебелело завистью“. Злая ирония звучит в его словах, когда он пишет царю о правительственном превосходстве боярской знати сравнительно со своей худородной особой. „Думным людям никому не надобен я, не надобны такие великие государственные дела... У таких дел пристойно быть из ближних бояр: и роды великие, и друзей много, во всем пространный смысл иметь и жить умеют; отдаю тебе, великому государю, мое крестное целование, за собою держать не смею по недостатку умишка моего“.

Царь долго и настойчиво поддерживал своенравного и запальчивого дельца, терпеливо выносил его скучные жалобы и попреки, уверял его, что ему нечего бояться, что его никому не выдадут, грозил его недругам великими опалами за вражду с Афанасием и предоставлял ему значительный простор для деятельности. Благодаря этому

Ордин-Нащокин получил возможность не только обнаружить свои административные и дипломатические таланты, но и выработать, даже частью осуществить свои политические планы. В письмах своих к царю он больше порицает существующее или полемизирует с противниками, чем излагает свою программу. Однако в его бумагах можно набрать значительный запас идей и проектов, которые при надлежащей практической разработке могли стать и стали надолго руководящими началами внутренней и внешней политики.

Первая идея, на которой упорно стоит Нащокин, заключалась в том, чтобы во всем брать образец с Запада, все делать „с примеру сторонних, чужих земель". Это—исходная точка его преобразовательных планов; но не все нужно брать без разбора у чужих. „Какое нам дело до иноземных обычаев", говаривал он: „их платье не по нас, а наше не по них". Это был один из немногих западников, подумавших о том, что можно и чего не нужно заимствовать, искавших соглашение общеевропейской культуры с национальной самобытностью. Потом Нащокин не мог помириться с духом и привычками московской администрации, деятельность которой неумеренно руководилась личными счетами и отношениями, а не интересом государственного дела, порученного тому или другому дельцу. „У нас", пишет он, „любят дело или ненавидят его, смотря не по делу, а по человеку, который его делает: меня не любят, а потому и делом моим пренебрегают". Когда царь выражал Нащокину неудовольствие за его нелады с тем или другим знатным завистником, Афанасий отвечал, что личной вражды у него нет, но „о государеве деле сердце болит и молчать не дает, когда в государеве деле вижу чье нераденье". Итак, дело в деле, а не в лицах — вот

второе правило, которым руководился Нащокин. Главным его поприщем была дипломатия, и это был дипломат первой величины, по признанию современников, даже иностранцев; по крайней мере, он едва ли не первый из русских государственных людей заставил иностранцев уважать себя. Англичанин Коллинс, врач царя Алексея, прямо называет Нащокина великим политиком, который не уступит ни одному из европейских министров. Зато и он уважал свое дело. Дипломатия составляет, по его мнению, главную функцию государственного управления, и только достойные люди могут браться за такое дело. „На государственные дела", писал он, „подобает мысленные очеса устремлять беспорочным и избранным людям к расширению государства со всех сторон, а это есть дело одного Посольского приказа".

У Нащокина были свои дипломатические планы, своеобразные взгляды на задачи внешней московской политики. Ему пришлось действовать в ту минуту, когда ребром были поставлены самые щекотливые вопросы, питавшие непримиримую вражду Московского государства с Польшей и Швецией: вопросы о Малороссии, о Балтийском береге. Обстоятельства поставили Нащокина в самый водоворот сношений и столкновений, вызванных этими вопросами. Но у него не закружилась голова в этом водовороте: в запутанных делах он умел отделить важное от шумного, привлекательное от полезного, мечты от достижимого. Он видел, что в тогдашнем положении и при наличных средствах Московского государства для него неразрешим в полном объеме вопрос малороссийский, т.-е. вопрос о воссоединении югозападной Руси с Великороссией. Вот почему он склонялся к миру и даже к тесному союзу с Польшей и хотя хорошо знал, как он выражался, „зело

шаткий, бездушный и непостоянный польский народ", но от союза с ним ждал разнообразных выгод. Между прочим, чаял он, турецкие христиане, молдаване и волохи, послышав про этот союз, отложатся от турок, и тогда все дети Восточной Церкви, обитающие от самого Дуная вплоть до пределов Великой России и ныне разъединяемые враждебной Польшей, сольются в многочисленный христианский народ, покровительствуемый православным царем московским, и сами собою прекратятся шведские козни, возможные только при русско-польской распре. В 1667 г. польским послам, приехавшим в Москву для подтверждения Андрусовского договора, Нащокин в одушевленной речи развивал свои мечты о том, какой великой славой покрылись бы все славянские народы и какие великие предприятия увенчались бы успехом, если бы племена, населяющие наши государства и почти все говорящие по-славянски от Адриатического до Немецкого моря и до Северного океана, соединились, и какая слава ожидает оба государства в будущем, когда они, стоя во главе славянских народов, соединятся под одною державою.

Хлопоча о тесном союзе с вековым врагом и даже мечтая о династическом соединении с Польшей под властью московского царя или его сына, Нащокин производил чрезвычайно крутой поворот во внешней московской политике. Он имел свои соображения, оправдывавшие такую перемену в ходе дел. Малороссийский вопрос в его глазах был пока делом второстепенным. Если, писал он, черкасы (казаки) изменяют, то стоят ли они того, чтобы стоять за них? Действительно, с присоединением восточной Малороссии главный узел этого вопроса развязывался, Польша переставала быть опасной для Москвы, твердо ставшей на верхнем и среднем Днепре. Притом нельзя было навсегда

удержать временно уступленный Киев и присоединить западную Малороссию, не совершив международной неправды, не нарушив Андрусовского перемирия. А Нащокин был одним из редких дипломатов, обладающих дипломатической совестливостью, качеством, с которым и тогда неохотно мирилась дипломатия. Он ничего не хотел делать без правды: „лучше воистину принять злому животу моему конец и вовеки свободну быть, нежели противно правды делати“. Поэтому, когда гетман Дорошенко с западной Малороссией, отложившись от Польши, поддался турецкому султану, а потом изъявил согласие стать под высокую руку царя московского, Нащокин на запрос из Москвы, можно ли принять Дорошенка в подданство, отвечал решительным протестом против такого нарушения договоров, выразил даже негодование, что к нему обращаются с такими некорректными запросами. По его мнению, дело надобно было повести так, чтобы сами поляки, разумно взвесив свои и московские интересы, для упрочения русско-польского союза против басурман и для успокоения Украйны добровольно уступили Москве и Киев, и даже всю западную Малороссию, „а нагло писать о том в Польшу невозможно“. Еще до перемирия в Андрусове Нащокин убеждал царя, что с польским королем „надобно мириться в меру“, на умеренных условиях, чтобы поляки не искали потом первого случая отомстить: „взять Полоцк да Витебск, а если поляки заупрямятся, то и этих городов не надобно“. В докладе о необходимости тесного союза с Польшей у Нащокина вырвался даже неосторожный намек на возможность отступиться и от всей Малороссии, а не от западной только, ради упрочения союза. Но царь горячо восстал против такого малодушия своего любимца и очень энергично выразил свое негодование. „Эту статью“, отвечал ему царь, „отложили и ве-

лели выкинуть, потому что непристойна, да и для того, что обрели в ней полтора ума, один твердый разум да половину второго, колеблемого ветром. Собаке недостойно есть и одного куска хлеба православного (полякам не подобает владеть и западной Малороссией): только то не по нашей воле, а за грехи учинится. Если же оба куска святого хлеба достанутся собаке—ох, какое оправдание примет допустивший это? Будет ему воздаянием преисподний ад, прелютый огонь и немилосердные муки. Человече! иди с миром царским средним путем, как начал, так и кончай, не уклоняйся ни направо, ни налево; Господь с тобою!“ И упрямый человек сдался на набожный вздох своего государя, которого порой прямо не слушался, крепко ухватился и за другой кусок православного хлеба, вытягав у поляков в Андрусове вместе с восточной Малороссией еще Киев из западной.

Промыслы о соединении всех славян под дружным руководительством Москвы и Польши были политической идиллией Нащокина. Как практического дельца, его больше занимали интересы более делового свойства. Его дипломатический взгляд обращался во все стороны, всюду внимательно высматривая или заботливо подготовляя новые прибыли для казны и народа. Он старался устроить торговые сношения с Персией и Средней Азией, с Хивой и Бухарой, снаряжал посольство в Индию, смотрел и на Дальний Восток, на Китай, помышлял об устройстве казацкой колонизации Поамурья. Но в этих поисках на первом плане, разумеется, оставалась в его глазах ближайшая западная сторона, Балтийское море. Руководясь народно-хозяйственными соображениями не меньше, чем национально-политическими, он понимал торгово-промышленное и культурное значение этого моря для России, и потому его внимание

было усиленно обращено на Швецию, именно на Ливонию, которую, по его мнению, следовало добыть во что бы ни стало: от этого приобретения он ждал громадной пользы для русской промышленности и казны царя. Увлекаемый идеями своего дельца, царь Алексей смотрел в ту же сторону, хлопотал о возвращении бывших русских владений, о приобретении „морских пристанищ", гаваней, Нарвы, Иван-города, Орешка и всего течения реки Невы со шведской крепостцой Канцами (Ниеншанцъ), где позднее возник Петербург. Но Нащокин и здесь шире смотрел на дело, он доказывал, что из-за мелочей не следует выпускать из виду главной цели, что Нарва, Орешек—все это неважные пункты; нужно пробраться прямо к морю, приобрести Ригу, пристань которой открывает ближайший прямой путь в западную Европу. Составить коалицию против Швеции, чтобы отнять у нее Ливонию—это была заветная мысль Нащокина, составлявшая душу его дипломатического плана. Для этого он хлопотал о мире с ханом крымским, о тесном союзе с Польшей, жертвуя западной Малороссией. Эта мысль не увенчалась успехом; но Петр Великий целиком унаследовал эти помыслы отцова министра.

Впрочем, политический кругозор Нащокина не ограничивался вопросами внешней политики. Нащокин по своему смотрел и на порядок внутреннего управления в Московском государстве: он был недоволен как устройством, так и ходом этого управления. Он восставал против излишней регламентации, господствовавшей в московском управлении. Здесь все держалось на самой стеснительной опеке высших центральных учреждений над подчиненными исполнителями: исполнительные органы были слепыми орудиями данных им сверху наказов. Нащокин требовал известного простора для исполнителей: „не во всем дожидаться государева указа",

писал он: „везде надобно воеводское рассмотрение“, т.-е. действие по собственному соображению уполномоченного. Он указывал на пример Запада, где во главе войска ставится знающий полководец, сам рассылающий указы подчиненным начальникам, а не требующий на всякую мелочь указа из столицы. „Где глаз видит и ухо слышит, тут и надо промысл держать неотложно“, писал он. Но требуя самостоятельности для исполнителей, он возлагает на них и большую ответственность. Не по указу, не по обычаю и рутине, а по соображению обстоятельств минуты должна действовать администрация. Такую деятельность, основанную на личной сообразительности дельца, Нащокин называет „промыслом“. Грубая сила мало значит. „Лучше всякой силы промысл; дело в промысле, а не в том, что людей много; и много людей, да промышленника нет, так ничего не выйдет; вот швед всех соседних государей безлюднее, а промыслом над всеми верх берет; у него никто не смеет отнять воли у промышленника; половину рати продать да промышленника купить—и то будет выгоднее“. Наконец, в административной деятельности Нащокина замечаем черту, которая всего более подкупает нас в его пользу: это—при взыскательности и исполнительности безпримерная в московском управлении внимательность к подчиненным, участие сердца, чувства человечности в отношении к управляемым, стремление щадить их силы, ставить их в такое положение, в котором они с наименьшей затратой усилий могли бы принести наиболее пользы государству. Во время шведской войны в покоренном краю по Западной Двине русские рейтары и донские казаки принялись грабить и мучить обывателей, хотя те уже присягнули московскому царю. Нащокин, сидя тогда воеводой в Кукейносе, возмущался до глубины души таким разбойничьим способом ведения войны;

у него сердце обливалось кровью от жалоб разоряемого населения. Он писал царю, что ему приходится посылать помощь и против неприятелей, и против своих грабителей. „Лучше бы я на себе раны видел, только бы невинные люди такой крови не терпели; лучше бы согласился я быть в заточении необратном, только бы не жить здесь и не видать над людьми таких злых бед“. Царь Алексей всего более способен был оценить это качество в своем сотруднике. В грамоте 1658 г., возводя Нащокина в думные дворяне, царь хвалит его за то, „что он алчных кормит, жаждущих поит, нагих одевает, до ратных людей ласков, а ворам не спускает“.

Таковы административные взгляды и приемы Нащокина. Он делал несколько попыток практического применения своих идей. Наблюдения над жизнью западной Европы привели его к сознанию главного недостатка московского государственного управления, который заключался в том, что это управление направлено было единственно на эксплоатацию народного труда, а не на развитие производительных сил страны. Народно-хозяйственные интересы приносились в жертву фискальным целям и ценились правительством лишь как вспомогательные средства казны. Из этого сознания вытекли вечные толки Нащокина о развитии промышленности и торговли в Московском государстве. Он едва ли не раньше других усвоил мысль, что народное хозяйство само по себе должно составлять один из главнейших предметов государственного управления. Нащокин был одним из первых политико-экономов на Руси. Но чтобы промышленный класс мог действовать производительнее, надо было освободить его от гнета приказной администрации. Управляя Псковом, Нащокин попытался применить здесь свой проект городского самоуправления, взятый

„с примеру сторонних, чужих земель“, т.-е. западной Европы. Это единственный в своем роде случай в истории местного московского управления XVII в., не лишенный даже некоторого драматизма и ярко характеризующий как самого Нащокина, его виновника, так и порядки, среди которых ему приходилось действовать. Приехав в Псков в марте 1665 г., новый воевода застал в родном городе страшную неурядицу. Он увидел великую вражду между посадскими людьми: лутчие, состоятельнейшие купцы, пользуясь своей силой в городском общественном управлении, обижали „середних и мелких людишек“ в разверстке податей и в нарядах на казенные службы, вели городские дела „своим изволом“, без ведома остального общества; те и другие разорялись от тяжб и приказной неправды; из-за немецкого рубежа в Псков и из Пскова за рубеж провозили товары безпошлинно; маломочные торговцы, не имея оборотного капитала, тайно брали у немцев деньги на подряд, скупали подешевле русские товары и как свои продавали, точнее, передавали их своим доверителям, довольствуясь ничтожным комиссионным заработком, „из малого прокормления“; этим они донельзя сбивали цены русских товаров, сильно подрывали настоящих капиталистов, должали неоплатно иноземцам, разорялись“. Нащокин вскоре по приезде предложил псковскому посадскому обществу ряд мер, которые земские старосты Пскова, собравшись с лучшими людьми в земской избе (городской управе) „для общего всенародного совету“, должны были обсудить со всяким усердием. Здесь при участии воеводы выработаны были „статьи о градском устроении“, своего рода положение об общественном управлении гор. Пскова с пригородами в 17 статьях. Положение было одобрено в Москве и заслужило милостивую похвалу царя воеводе за службу и ра-

дение, а псковским земским старостам и всем посадским людям „за их добрый совет и за раденье во всяких добрых делех“.

Важнейшие статьи положения касаются преобразования посадского общественного управления и суда и упорядочения внешней торговли, одного из самых деятельных нервов экономической жизни Псковского края. Посадское общество гор. Пскова выбирает из своей среды на три года 15 человек, из коих пятеро по очереди в продолжение года ведут городские дела в земской избе. В ведении этих „земских выборных людей“ сосредоточиваются городское хозяйственное управление, надзор за питейной продажей, таможенным сбором и торговыми сношениями псковичей с иноземцами; они же и судят посадских людей в торговых и других делах; только важнейшие уголовные преступления: измена, разбой и душегубство, остаются подсудны воеводам. Так, псковский воевода добровольно поступался значительной долей своей власти в пользу городского самоуправления. В особо важных городских делах очередная треть выборных совещается с остальными и даже призывает на совет лучших людей из посадского общества.

Нащокин видел главные недостатки русской торговли в том, что „русские люди в торговле слабы друг перед другом“, неустойчивы, не привыкли действовать дружно и легко попадают в зависимость от иноземцев. Главные причины этой неустойчивости—недостаток капиталов, взаимное недоверие и отсутствие удобного кредита. На устранение этих недостатков и были направлены статьи псковского положения о торговле с иноземцами. Маломочные торговцы распределяются „по свойству и знакомству“ между крупными капиталистами, которые наблюдают за их промыслами. Земская изба выдает им из городских сумм ссуды

для покупки русских вывозных товаров. Для торговли с иноземцами учреждаются под Псковом две двухнедельные ярмарки с беспошлинным торгом, от 6 января и от 9 мая. К этим ярмаркам мелкие торговцы на полученную ссуду при поддержке капиталистов, к которым приписаны, скупают вывозные товары, записывают их в земской избе и передают своим принципалам; те уплачивают им покупную стоимость принятых товаров для новой закупки к следующей ярмарке и делают им „наддачу", к этой покупной цене „для прокормления", а, продав иноземцам доверенный товар по установленным большим ценам, выдают своим клиентам причитающуюся им „полную прибыль", компанейский дивиденд. Такое устройство торгового класса должно было сосредоточить обороты внешней торговли в немногих крепких руках, которые были бы в состоянии держать на надлежащей высоте цены туземных товаров.

Такие своеобразные торговые товарищества расчитаны были на возможность дружного сближения верхнего торгового слоя с посадской массой, значит, на умиротворение той общественной вражды, какую нашел Нащокин в Пскове. Расчет мог быть основан на обоюдных выгодах обеих сторон, патронов и клиентов: сильные капиталисты доставляли хорошую прибыль маломочным компанейщикам, а последние не портили цен сильным. Важно и то, что эти товарищества состояли при городской управе, которая становилась ссудным банком для маломочных и контролем для их патронов: посадское общество гор. Пскова при зависимости от него пригородов получало возможность через свой судебно-административный орган руководить внешней торговлей всего края. Но общественная рознь помешала успеху реформы. Маломочные посадские псковичи приняли новое положение, как царскую милость, но „прожиточные люди",

богачи, городские воротилы, оказали ему противодействие и нашли себе поддержку в столице. Можно себе представить, как „ненавидимо“ встречено было предприятие Нащокина московским боярским и приказным миром; здесь в нем усмотрели только дерзкое посягательство на исконные права и привычки воевод и дьяков в угоду тяглого посадского мужичья. Можно подивиться, как успел Нащокин в 8 месяцев воеводства не только обдумать идею и план сложной реформы, но и обладить суетливые подробности ее исполнения. Преемник Нащокина в Пскове кн. Хованский, чванный поборник боярских притязаний, „тараруй“, как его прозвали в Москве, болтун и хвастун, которого „всяк дураком называл“, по выражению царя Алексея, представил государю псковское дело Нащокина в таком свете, что царь отменил его, несмотря на свой отзыв о князе, уступая своей слабости—решать дела по последнему впечатлению.

Нащокин не любил сдаваться ни врагам, ни враждебным обстоятельствам. Он так верил в свою псковскую реформу, что впал в самообольщение при своем критическом уме, так хорошо выправленном на изучении чужих ошибок. В псковском городовом положении он выражает надежду, что когда эти псковские „градские права в народе постановлены и устроены будут“, на то смотря, жители и других городов будут надеяться, что и их пожалуют таким же устроением. Но в Москве решили прямо наоборот: в Пскове не подобает быть особому местному порядку, „такому уставу быть в одном Пскове не уметь“. Однако в 1667 году став начальником Посольского приказа, во вступлении к проведенному им тогда Новоторговому уставу Нащокин не отказал себе в удовольствии, хотя совершенно бесплодном, повторить свои псковские мысли о выдаче

ссуд недостаточным торговцам из московской таможни и городовых земских изб, о том, чтобы маломочные торговые люди складывались с крупными капиталистами для поддержания высоких цен на русские вывозные товары и т. д. В этом уставе Нащокин сделал еще шаг вперед в своих планах устроения русской промышленности и торговли. Уже в 1665 г. псковские посадские люди ходатайствовали в Москве, чтобы их по всем делам ведали в одном приказе, а не волочиться бы им по разным московским учреждениям, терпя напрасные обиды и разорение. В Новоторговом уставе Нащокин провел мысль об особом приказе, который ведал бы купецких людей и служил бы им в пограничных городах обороной от других государств и во всех городах защитой и управой от воеводских притеснений. Этот *Приказ купецких дел* имел стать предшественником учрежденной Петром Великим Московской ратуши или Бурмистерской палаты, ведавшей все городское торгово-промышленное население государства.

Таковы преобразовательные планы и опыты Нащокина. Можно подивиться широте и новизне его замыслов, разнообразию его деятельности: это был плодовитый ум с прямым и простым взглядом на вещи. В какую бы сферу государственного управления ни попадал Нащокин, он подвергал суровой критике установившиеся в ней порядки и давал более или менее ясный план ее преобразования. Он сделал несколько военных опытов, заметил недостатки в военном устройстве и предложил проект его преобразования. Конную милицию городовых дворян он признавал совсем непригодной в боевом отношении и считал необходимым заменить ее обученным иноземному строю ополчением из пеших и конных „даточных людей", рекрутов. Очевидно, это—мимоходом высказанная мысль о регуляр-

ной армии, комплектуемой рекрутскими наборами из всех сословий. Что бы ни задумывалось нового в Москве: заведение ли флота на Балтийском или Каспийском море, устройство заграничной почты, даже просто разведение красивых садов с выписными из-за границы деревьями и цветами,—при всяком новом деле стоял или предполагался непременно Ордин-Нащокин. Одно время по Москве ходили даже слухи, будто он занимается пересмотром русских законов, перестройкой всего государства и именно в духе децентрализации, в смысле ослаблений столичной приказной опеки над местными управлениями, с которой Нащокин воевал всю свою жизнь. Можно пожалеть, что ему не удалось сделать всего, что он мог сделать, его неуступчивый строптивый характер положил преждевременный конец его государственной деятельности. У Нащокина не было полного согласия с царем во взглядах на задачи внешней политики. Оставаясь вполне корректным дипломатом, виновник Андрусовского договора крепко стоял за точное его исполнение, т.-е. за возможность возвращения Киева Польше, что царь считал нежелательным, даже прямо грешным делом. Это разногласие постепенно охлаждало государя к его любимцу. Назначенный в 1671 г. для новых переговоров с Польшей, в которых ему предстояло разрушать собственное дело, нарушать договор с поляками, скрепленный всего год тому назад его присягой. Нащокин отказался исполнить поручение, а в феврале 1672 г. игумен псковской Крыпецкой пустыни Тарасий постриг Афанасия в монахи под именем Антония. Он записал себе на память день своей отставки, 2 декабря 1671 г., когда царь при всех боярах его „милостиво отпустил и от всее мирские суеты освободил явно“. Последние мирские заботы инока Антония были сосре-

доточены на устроенной им во Пскове богадельне. Он умер в 1680 г.

Ордин-Нащокин во многом предупредил Петра и первый высказал много идей, которые осуществил преобразователь. Это был смелый, самоуверенный бюрократ, знавший себе цену, но при этом заботливый и доброжелательный к управляемым, с деятельным и деловым умом; во всем и прежде всего он имел в виду государственный интерес, общее благо. Он не успокаивался на рутине, всюду зорко подмечал недостатки существующего порядка, верно соображал средства для их устранения, чутко угадывал задачи, стоявшие на очереди. Обладая сильным практическим смыслом, он не ставил далеких целей, слишком широких задач. Умея найтись в разнообразных сферах деятельности, он старался устроить всякое дело, пользуясь наличными средствами. Но твердя без умолку о недостатках действующего порядка, он не касался его оснований, думал поправлять его по частям. В его уме неясные преобразовательные порывы Алексеева времени впервые стали облекаться в отчетливые проекты и складываться в связный план реформы; но это не был радикальный план, требовавший общей ломки: Нащокин далеко не был безрасчетным новатором. Его преобразовательная программа сводилась к трем основным требованиям: к улучшению правительственных учреждений и служебной дисциплины, к выбору добросовестных и умелых управителей и к увеличению казенной прибыли, государственных доходов посредством подъема народного богатства путем развития промышленности и торговли.

Я начал чтение замечанием о возможности появления у нас государственного человека в XVII в. Если вы вдумаетесь в превратности, в мысли, в чувства, во все перепетии описанной государственной деятельности далеко не

рядового ума и характера, в борьбу Ордина-Нащокина с окружавшими его условиями, то поймете, почему такие счастливые случайности были у нас так редки.

Ртищев и Ордин-Нащокин.

При всем несходстве характеров и деятельностей одна общая черта сближала Ртищева и Ордина-Нащокина: оба они были новые люди своего времени и делали каждый новое дело, один в политике, другой в нравственном быту. Этим они отличались от царя Алексея, который врос в древнерусскую старину всем своим разумом и сердцем и только развлекался новизной, украшая с ее помощью свою обстановку или улаживая свои политические отношения. Ртищев и Нащокин в самой этой старине умели найти новое, открыть еще нетронутые и неиспользованные ее средства и пустить их в оборот на общее благо. Западные образцы и научные знания они направляли не против отечественной старины, а на охрану ее жизненных основ от нее самой, от узкого и черствого ее понимания, воспитанного в народной массе дурным государственным и церковным руководительством, от рутины, которая их мертвила. Нащокин, дипломат, настойчиво и бранчиво проводил мысль, что внешние успехи, дипломатические и военные, непрочны, если не подготовляются и не поддерживаются усовершенствованием внутреннего устройства; что внешняя политика должна служить развитию производительных сил страны, но не истощать их; а богатый царедворец Ртищев пополнял мысль своего задорного друга, кротко внушая своим образом действий, что и экономические успехи малоценны, когда нет главных условий благоустроенного общежития, каковы построенные на справедливости отношения общественных классов, просвещенное религиозно-нравственное чувство, не затемняемое вымышленными обрядами и суевериями, и благотворительность, проявляющаяся не в одних случайных личных порывах, а

устроенная в общественное учреждение. Одинокие воины в поле, Ртищев и Нащокин, однако не вопияли в пустыне; оба еще держались крепко старозаветных форм и сочувствий: один основал монастырь, другой кончил монастырем; но их идеи, полупонятые и полупризнанные современниками, добрались до другого времени и помогли понять старорусские извращения политической и религиозно-нравственной жизни.

Лекция LVIII.

Кн. В. В. Голицын.—Подготовка и программа реформы.

Кн. В. В. Голицын.

Младшим из предшественников Петра был кн. В. В. Голицын, и он уходил от дейсвительности гораздо дальше старших. Еще молодой человек, он был уже видным лицом в правительственном кругу при царе Федоре и стал одним из самых влиятельных людей при царевне Софье, когда она по смерти старшего брата сделалась правительницей государства. Властолюбивая и образованная царевна не могла не заметить умного и образованного боярина, и кн. Голицын личной дружбой связал свою политическую карьеру с этой царевной. Голицын был горячий поклонник Запада, для которого он отрешился от многих заветных преданий русской старины. Подобно Нащокину он бегло говорил по-латыни и по-польски. В его обширном московском доме, который иноземцы считали одним из великолепнейших в Европе, все было устроено на европейский лад; в больших залах простенки между окнами были заставлены большими зеркалами; по стенам висели картины, портреты русских и иноземных государей и немецкие географические карты в золоченых рамах; на потолках нарисована была планетная система; множество часов и термометр художественной работы довершали

убранство комнат. У Голицына была значительная и разнообразная библиотека из рукописных и печатных книг на русском, польском и немецком языках: здесь между грамматиками польского и латинского языка стояли киевский летописец, немецкая геометрия, Алкоран в переводе с польского, четыре рукописи о строении комедий, рукопись Юрия Сербенина (Крижанича). Дом Голицына был местом встречи для образованных иностранцев, попадавших в Москву, и в гостеприимстве к ним хозяин шел дальше других московских любителей иноземного, принимал даже иезуитов, с которыми те не могли мириться. Разумеется, такой человек мог стоять только на стороне преобразовательного движения и именно в латинском, западно-европейском, не лихудовском направлении. Один из преемников Ордина-Нащокина по управлению Посольским приказом, кн. Голицын развивал идеи своего предшественника. При его содействии состоялся в 1686 г. Московский договор о вечном мире с Польшей, по которому Московское государство приняло участие в коалиционной борьбе с Турцией в союзе с Польшей, Германской империей и Венецией и этим формально вступило в концерт европейских держав, за что Польша навсегда утверждала за Москвой Киев и другие московские приобретения, временно уступленные по Андрусовскому перемирию. И в вопросах внутренней политики кн. Голицын шел впереди прежних дельцов преобразовательного направления. Еще при царе Федоре он был председателем комиссии, которой поручено было составить план преобразования московского военного строя. Эта комиссия предложила ввести немецкий строй в русское войско и отменить местничество (закон 12 Января 1682 г.). Голицын без умолку твердил боярам о необходимости учить своих детей, выхлопотал разрешение посылать их

в польские школы, советовал приглашать польских гувернеров для их образования. Несомненно, широкие преобразовательные планы роились в его голове. Жаль, что мы знаем только их отрывки или неясные очерки, записанные иностранцем Невиллем, польским посланцем, приехавшим в Москву в 1689 г. незадолго до падения Софьи и Голицына. Невилль видался с князем, говорил с ним по-латыни о современных политических событиях, особенно об английской революции, мог от него кое-что слышать о положении дел в Москве и тщательно собирал о нем московские слухи и сведения. Голицына сильно занимал вопрос о московском войске, недостатки которого он хорошо изведал, не раз командуя полками. Он, по словам Невилля, хотел, чтобы дворянство ездило за границу и обучалось там военному искусству, ибо он думал заменить хорошими солдатами взятых в даточные и непригодных к делу крестьян, земли которых оставались без обработки на время войны, а взамен их бесполезной службы обложить крестьянство умеренной поголовной податью. Значит, даточные рекруты из холопов и тяглых людей, которыми пополняли дворянские полки, устранялись, и армия, вопреки мысли Ордина-Нащокина, сохраняла строго-сословный дворянский состав с регулярным строем под командой обученных военному делу офицеров из дворян же. Военно-техническая реформа в мыслях Голицына соединялась с переворотом социально-экономическим. Преобразование государства Голицын думал начать освобождением крестьян, предоставив им обрабатываемые ими земли с выгодой для царя, т.-е. казны, посредством ежегодной подати, что по его расчету увеличивало доход казны более чем на половину. Иноземец коечего не дослышал и не объяснил условий этой поземельной операции. Так как на дворянах оставалась обязательная и

наследственная военная служба, то, по всей вероятности, насчет поземельного государственного оброка с крестьян предполагалось увеличить дворянские оклады денежного жалованья, которые должны были служить вознаграждением за потерянные помещиками доходы с крестьян и за отошедшие к ним земли. Таким образом по плану Голицына операция выкупа крепостного труда и надельной земли крестьян совершалась посредством замены капитальной выкупной суммы непрерывным доходом служилых землевладельцев, получаемым от казны в виде возвышенного жалованья за службу. При этом нестесненный законом помещичий произвол в эксплоатации крепостного труда заменялся определенным поземельным казенным налогом. Подобные мысли о разрешении крепостного вопроса стали возвращаться в русские государственные умы не раньше, как полтора века спустя после Голицына. Много другого слышал Невилль о планах этого вельможи, но, не передавая всего слышанного, иноземец ограничивается общим несколько идилличным отзывом. „Если бы я захотел написать все, что узнал об этом князе, я никогда бы не кончил: достаточно сказать, что он хотел населить пустыни, обогатить нищих, дикарей превратить в людей, трусов в храбрецов, пастушечьи шалаши в каменные палаты“. Читая рассказы Невилля в его донесении о Московии, можно подивиться смелости преобразовательных замыслов „великого Голицына“, как величает его автор. Эти замыслы, переданные иностранцем отрывочно, без внутренней связи, показывают, однако, что в основании их лежал широкий и повидимому довольно обдуманный план реформ, касавшийся не только административного и экономического порядка, но и сословного устройства государства и даже народного просвещения. Конечно, это были

мечты, домашние разговоры съ близкими людьми, а не законодательные проекты. Личные отношения кн. Голицына не дали ему возможности даже начать практическую разработку своих преобразовательных замыслов: связав свою судьбу с царевной Софьей, он пал вместе с нею и не принимал участия в преобразовательной деятельности Петра, хотя был ближайшим его предшественником и мог бы быть хорошим его сотрудником, если не лучшим. В законодательстве слабо отразился дух его планов: смягчены условия холопства за долги, отменены закапывание мужеубийц и смертная казнь за возмутительные слова. Усиление карательных мер против старообрядцев нельзя ставить целиком насчет правительства царевны Софьи; то было профессиональное занятие церковных властей, в котором государственному управлению приходилось обыкновенно служить лишь карательным орудием. К тому времени церковные гонения выростили в старообрядческой среде изуверов, по слову которых тысячи совращенных жгли себя ради спасения своих душ, а церковные пастыри ради того же жгли проповедников самосожжения. Ничего не могло сделать и для крепостных крестьян правительство царевны, пристращавшей буйных стрельцов дворянами, пока не явилась возможность припугнуть дворян стрельцами и казаками. Однако, несправедливо было бы отрицать участие идей Голицына в государственной жизни; только его надо искать не в новых законах, а в общем характере 7-летнего правление царевны. Свояк и шурин царя Петра, следовательно, противник Софьи, кн. Б. И. Куракин оставил в своих записках замечательный отзыв об этом правлении. „Правление царевны Софьи Алексеевны началось со всякою прилежностью и правосудием всем и ко удовольству народному, так что никогда такого мудрого пра-

вления в Российском государстве не было; и все государство пришло во время ее правления через семь лет в цвет великого богатства; также умножилась коммерция и всякие ремесла, и науки почали быть восставлять латинского и греческого языку.... и торжествовала тогда довольность народная". Свидетельство Куракина о цвете великого богатства, повидимому, подтверждается и известием Невилля, что в деревянной Москве, считавшей тогда в себе до полумиллиона жителей, в министерство Голицына построено было более трех тысяч каменных домов. Неосторожно было бы подумать, что сама Софья своим образом действий вынудила у противника такой хвалебный отзыв о своем правлении. Эта тучная и некрасивая полудевица с большой неуклюжей головой, с грубым лицом, широкой и короткой талией, в 25 лет казавшаяся 40-летней, властолюбию пожертвовала совестью, а темпераменту стыдом; но, достигнув власти путем постыдных интриг и кровавых преступлений, она, как принцесса, „великого ума и великий политик", по словам того же Куракина, нуждаясь в оправдании своего захвата, способна была внимать советам своего первого министра и „голанта", тоже человека „ума великого и любимого от всех". Он окружил себя сотрудниками, вполне ему преданными, все незнатными, но дельными людьми вроде Неплюева, Касогова, Змеева, Украинцева, с которыми и достиг отмеченных Куракиным правительственных успехов.

Кн. Голицын и Ордин-Нащокин.

Кн. Голицынъ был прямым продолжателем Ордина-Нащокина. Как человек другого поколения и воспитания, он пошел дальше последнего в своих преобразовательных планах. Он не обладал ни умом Нащокина, ни его правительственными талантами и деловым навыком, но был книжно образованнее его, меньше его работал, но больше размышлял. Мысль Голицына, менее сдерживаемая опы-

том, была смелее, глубже проникала в существующий порядок, касаясь самых его оснований. Его мышление было освоено с общими вопросами о государстве, об его задачах, о строении и складе общества; не даром в его библиотеке находилась какая-то рукопись „о гражданском житии или о поправлении всех дел, яже належат обще народу“. Он не довольствовался, подобно Нащокину, административными и экономическими реформами, а думал о распространении просвещения и веротерпимости, о свободе совести, о свободном въезде иноземцев в Россию, об улучшении социального строя и нравственного быта. Его планы шире, отважнее проектов Нащокина, но зато идилличнее их. Представители двух смежных поколений, оба они были родоначальниками двух типов государственных людей, выступающих у нас в XVIII в. Все эти люди были либо нащокинского, либо голицынского пошиба: Нащокин—родоначальник практических дельцов петрова времени; в Голицыне заметны черты либерального и несколько мечтательного екатерининского вельможи.

Я окончил обзор подготовки реформы Петра; позвольте мне свести итоги сказанного.

Подготовка и программа реформы.

Мы видели, с какими колебаниями шла подготовка. Русские люди XVII в. делали шаг вперед и потом останавливались, чтобы подумать, что они сделали, не слишком ли далеко шагнули. Судорожное движение вперед и раздумье с пугливой оглядкой назад—так можно обозначить культурную походку русского общества в XVII в. Обдумывая каждый свой шаг, они прошли меньше, чем сами думали. Мысль о реформе вызвана была в них потребностями народной обороны и государственной казны. Эти потребности требовали обширных преобразований в государственном устройстве и хозяйственном быту, в орга-

низации народного труда. В том и другом деле люди XVII в. ограничились робкими попытками и нерешительными заимствованиями у Запада. Но среди этих попыток и заимствований они много спорили, бранились и в этих спорах кой о чем подумали. Их военные и хозяйственные нужды столкнулись с их заветными верованиями и закоренелыми привычками, с их вековыми предрассудками. Оказалось, что им нужно больше, чем они могут и хотят, чем подготовлены сделать, что для обеспечения своего политического и экономического существования им необходимо переделать свои понятия и чувства, все свое миросозерцание. Так они очутились в неловком положении людей, отставших от собственных потребностей. Им понадобилось техническое знание, военное и промышленное, а они не только не имели его, но и были дотоле убеждены, что оно ненужно и даже греховно, потому что не ведет к душевному спасению. Каких же успехов достигли они в этой двойной борьбе со своими нуждами и с самими собой, с своими собственными предубеждениями?

Для удовлетворения своих материальных нужд они в государственном порядке произвели не особенно много удачных перемен. Они поназывали несколько тысяч иноземцев, офицеров, солдат и мастеров, с их помощью кое-как поставили значительную часть своей рати на регулярную ногу и то плохую, без надлежащих приспособлений, и построили несколько фабрик и оружейных заводов, а с помощью этой подправленной рати и этих заводов после больших хлопот и усилий с трудом вернули две потерянные области, Смоленскую и Северскую, и едва удержали в своих руках половину добровольно отдавшейся им Малороссии. Вот и все существенные плоды их 70-летних жертв и усилий! Государственного порядка они не улучшили, напротив, сделали его

тяжелее прежнего, отказавшись от земского самоуправления, обособлением сословий усилив общественную рознь и пожертвовав свободой крестьянского труда. Зато в борьбе с самими собой, со своими привычками и предубеждениями они одержали несколько важных побед, облегчив эту борьбу дальнейшим поколениям. Это была их бесспорная заслуга в деле подготовки реформы. Они подготовляли не столько самую реформу, сколько себя самих, свои умы и совести к этой реформе, а это менее видная, но не менее трудная и необходимая работа. Попытаюсь обозначить в коротком перечне эти их умственные и нравственные завоевания.

Во-первых, они сознались, что многого не знали из того, что нужно знать. Это была самая трудная победа их над собой, над своим самолюбием и своим прошедшим. Древнерусская мысль усиленно работала над вопросами нравственно-религиозного порядка, над дисциплиной совести и воли над покорением ума в послушание вере, над тем, что считалось спасением души. Но она пренебрегала условиями земного существования, видя в нем законное царство судьбы и греха, и потому с бессильною покорностью отдавала его на произвол грубого инстинкта. Она сомневалась, как это можно внести и стоит ли вносить добро в земной мір, который по Писанию во зле лежит, следовательно и обречен во зле лежать, и была убеждена, что наличный житейский порядок так же мало зависит от человеческих условий, так же неизменен, как и порядок мировой. Вот эту веру в роковую неизменность житейского порядка и начало колебать двустороннее влияние, шедшее извнутри и извне. Внутреннее влияние исходило из потрясений, испытанных государством в XVII в. Смутное время впервые и больно ударило по сонным русским умам, заставило способных мыслить людей раскрыть глаза на окружающее,

взглянуть прямым и ясным взглядом на свою жизнь. У писателей того времени, у келаря А. Палицына, у дьяка И. Тимофеева, у кн. И. Хворостинина ярко просвечивает то, что можно назвать исторической мыслью, наклонность вникнуть в условия русской жизни, в самые основы сложившихся общественных отношений, чтобы найти здесь причины пережитых бедствий. И после смуты до конца века все увеличивавшиеся государственные тягости поддерживали эту наклонность, питая недовольство, прорывавшееся в ряде мятежей. На земских соборах и в особых совещаниях с правительством выборные люди, указывая на всяческие непорядки, обнаруживали вдумчивое понимание печальной действительности в предлагаемых средствах ее исправления. Очевидно, мысль тронулась и пыталась повлечь за собою застоявшуюся жизнь, не видя в ней более свыше установленного неприкосновенного порядка. С другой стороны западное влияние приносило к нам понятия, направлявшие мысль на условия и удобства именно земного общежития и ставившие его усовершенствование самостоятельной и важной задачей государства и общества. Но для этого нужны были знания, каких не имела и которыми пренебрегала древняя Русь, особенно изучение природы и того, чем она может служить потребностям человека: отсюда усиленный интерес русского общества XVII в. к космографическим и другим подобным сочинениям. Само правительство поддерживало этот интерес, начиная подумывать о разработке нетронутых богатств страны, разыскивая всякие минералы, для чего требовалось то же знание. Новое веяние захватывало даже таких слабых людей, как царь Федор, слывший за великого любителя всяких наук, особенно математических, и по свидетельству Сильвестра Медведева заботившийся не только о богословском, но и о техническом образовании: он собирал в свои цар-

скіе мастерские „художников всякого мастерства и рукоделия“, платил им хорошее жалованье и сам прилежно следил за их работами. Мысль о необходимости такого знания с конца XVII в. становится господствующей идеей передовых людей нашего общества, жалобы на его отсутствие в России—общим местом в изображении ее состояния. Не подумайте, что это сознание или эта жалоба тотчас повели к усвоению понадобившегося знания, что это знание, став очередным вопросом, скоро превратилось в насущную потребность. Далеко нет: у нас необыкновенно долго и осторожно собирались приступить к решению этого вопроса; во весь XVIII в. и большую часть XIX века размышляли и спорили о том, какое знание пригодно нам и какое опасно. Но пробудившаяся потребность ума скоро изменила отношение к существующему житейскому порядку. Как скоро освоились с мыслью, что помощью знания можно устроить жизнь лучше, чем она идет, тотчас стала падать уверенность в неизменности житейского порядка и возникло желание устроиться так, чтобы жилось лучше; возникло это желание прежде, чем успели узнать, как это устроить. В знание уверовали прежде, чем успели овладеть им. Тогда принялись пересматривать все углы существующего порядка и как в доме, давно не ремонтированном, всюду находили запущенность, ветхость, сор, недосмотры. Стороны жизни, казавшиеся прежде наиболее крепкими, перестали возбуждать доверие к своей прочности. До сих пор считали себя сильными верой, которая без грамматики и риторики способна постигать разум Христов, а восточный иерарх Паисий Лигарид указывал на необходимость школьного образования для борьбы с расколом, и русский патриарх Иоаким, вторя ему, в направленном против раскола сочинении писал, что многие и из благочестивых людей укло-

нились в раскол по скудости ума; по недостатку образования. Так ум, образование были признаны опорами благочестия. Переводчик Посольского приказа Өирсов в 1683 г. перевел Псалтырь. И этот чиновничек министерства иностранных дел признает необходимым обновить церковный порядок помощью знания. „Наш российский народ, пишет он, грубый и неученый; не только простые, но и духовного чина люди истинные ведомости и разума в св. Писании не ищут, ученых людей поносят и еретиками называют“.

В пробуждении этой простодушной веры в науку и этой доверчивой надежды с ее помощью все исправить, по моему мнению, и заключался главный нравственный успех в деле подготовки реформы Петра Великого. Этой верой и надеждой руководился в своей деятельности и преобразователь. Та же вера поддерживала нас и после преобразователя всякий раз, когда мы, изнемогая в погоне за успехами западной Европы, готовы были упасть с мыслью, что мы не рождены для цивилизации, и с ожесточением бросались в самоуничижение.

Но эти нравственные приобретения достались людям XVII в. не даром, внесли новый разлад в общество. До той поры русское общество жило влияниями туземного происхождения, условиями своей собственной жизни и указаниями природы своей страны. Когда на это общество повеяла иноземная культура, богатая опытами и знаниями, она, встретившись с доморощенными порядками, вступила с ними в борьбу, волнуя русских людей, путая их понятия и привычки, осложняя их жизнь, сообщая ей усиленное и неровное движение. Производя в умах брожение притоком новых понятий и интересов, иноземное влияние уже в XVII в. вызвало явление, которое еще более запутывало русскую жизнь. До тех пор русское общество отличалось однород-

ностью, цельностью своего нравственно-религиозного состава. При всем различии общественных положений, древнерусские люди по своему духовному облику были очень похожи другъ на друга, утоляли свои духовные потребности из одних и тех же источников. Боярин и холоп, грамотей и безграмотный запоминали неодинаковое количество священных текстов, молитв, церковных песнопений и мирских бесовских песен, сказок, старинных преданий, неодинаково ясно понимали вещи, неодинаково строго заучивали свой житейский катихизис. Но они твердили один и тот же катихизис, в положенное время одинаково легкомысленно грешили и с одинаковым страхом Божиим приступали к покаянию и причащению до ближайшего разрешения „на вся“. Такие однообразные изгибы автоматической совести помогали древнерусским людям хорошо понимать друг друга, составлять однородную нравственную массу, устанавливали между ними некоторое духовное согласие вопреки социальной розни и делали сменяющиеся поколения периодическим повторением раз установившегося типа. Как в царских палатах и боярских хоромах затейливой резьбой и позолотой прикрывался простенький архитектурный план крестьянской деревянной избы, так и в вычурном изложении русского книжника XVI—XVII вв. проглядывает непритязательное наследственное духовное содержание „сельского невеглаcа, проста умом, простейша же разумом“. Западное влияние разрушило эту нравственную цельность древнерусского общества. Оно не проникало в народ глубоко, но в верхних его классах, по самому положению своему наиболее открытых для внешних веяний, оно постепенно приобретало господство. Как трескается стекло, неравномерно нагреваемое в разных своих частях, так и русское общество, неодинаково проникаясь западным влиянием го

всех своих слоях, раскололось. Раскол, происшедший в русской Церкви XVII в., был церковным отражением этого нравственного раздвоения русского общества под действием западной культуры. Тогда стали у нас друг против друга два миросозерцания, два враждебные порядка понятий и чувств. Русское общество разделилось на два лагеря, на почитателей родной старины и приверженцев новизны, т.-е. иноземного, западного. Руководящие классы общества, оставшиеся в ограде православной Церкви, стали проникаться равнодушием к родной старине, во имя которой ратовал раскол, и тѣм легче отдавались иноземному влиянию. Старообрядцы, выкинутые за церковную ограду, стали тем упорнее ненавидеть привозные новшества, приписывая им порчу древне-православной русской Церкви. Это равнодушие одних и эта ненависть других вошли в духовный состав русского общества, как новые пружины, осложнившие общественное движение, тянувшие людей в разные стороны.

Особенно счастливым условием для успеха преобразовательных стремлений надобно признать деятельное участие отдельных лиц в их распространении. То были последние и лучшие люди древней Руси, положившие свой отпечаток на стремления, которые они впервые проводили или только поддерживали. Царь Алексей Михайлович пробудил общее и смутное влечение к новизне и усовершенствованию, не порывая с родной стариной. Благодушно благословляя преобразовательные начинания, он приручал к ним пугливую русскую мысль, самым своим благодушием заставляя верить в их нравственную безопасность и не терять веры в свои силы. Боярин Ордин-Нащокин не отличался ни таким благодушием, ни набожной привязанностью к родной старине и своим неугомонным ворчанием на все русское мог нагнать тоску и уныние, заставить опустить

руки. Но его честная энергия невольно увлекала, а его светлый ум сообщал смутным преобразовательным порывам и помыслам вид таких простых, отчетливых и убедительных планов, в разумность и исполнимость которых хотелось верить, польза которых была всем очевидна. Из его указаний, предположений и опытов впервые стала складываться цельная преобразовательная программа, не широкая, но довольно отчетливая программа реформы административной и народно-хозяйственной. Другие менее видные дельцы пополняли эту программу, внося в нее новые мотивы или распространяя ее на другие сферы государственной и народной жизни, и таким образом подвигали дело реформы. Ртищев пытался внести нравственный мотив в государственное управление и возбудил вопрос об устройстве общественной благотворительности. Кн. Голицын мечтательными толками о необходимости разносторонних преобразований будил дремавшую мысль правящего класса, признававшего существующий порядок вполне удовлетворительным.

Этим я заканчиваю обзор явлений XVII века. Он весь был эпохой, подготовлявшей преобразования Петра Великого. Мы изучили дела и видели ряд людей, воспитанных новыми веяниями XVII в. Но это были лишь наиболее выдавшиеся люди преобразовательного направления, за которыми стояли другие, менее крупные: бояре Б. И. Морозов, Н. И. Романов, А. С. Матвеев, целая фаланга киевских ученых и в стороне—пришлец и изгнанник Юрий Крижанич. Каждый из этих дельцов, стоявших в первом и втором ряду, проводил какую-нибудь преобразовательную тенденцию, развивал какую-нибудь новую мысль, иногда целый ряд новых мыслей. Судя по ним, можно подивиться обилию преобразовательных идей, накопившихся в возбу-

жденных умах того мятежного века. Эти идеи развивались наскоро, без взаимной связи, без общего плана; но сопоставив их одни с другими видим, что они складываются сами собой в довольно стройную преобразовательную программу, в которой вопросы внешней политики сцеплялись с вопросами военными, финансовыми, экономическими, социальными, образовательными. Вот важнейшие части этой программы: 1) мир и даже союз с Польшей; 2) борьба со Швецией за восточный балтийский берег, с Турцией и Крымом—за южную Россию; 3) завершение переустройства войска в регулярную армию; 4) замена старой сложной системы прямых налогов двумя податями, подушной и поземельной; 5) развитие внешней торговли и внутренней обрабатывающей промышленности; 6) введение городского самоуправления с целью подъема производительности и благосостояния торгово-промышленного класса; 7) освобождение крепостных крестьян с землей; 8) заведение школ не только общеобразовательных с церковным характером, но и технических, приспособленных к нуждам государства,—и все это по иноземным образцам и даже с помощью иноземных руководителей. Легко заметить, что совокупность этих преобразовательных задач есть не что иное, как преобразовательная программа Петра: эта программа была вся готова еще до начала деятельности преобразователя. В том и состоит значение московских государственных людей XVII века: они не только создали атмосферу, в которой вырос и которой дышал преобразователь, но и начертали программу его деятельности, в некоторых отношениях шедшую даже дальше того, что он сделал.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Лекция XLI. IV период 3.—Главные факты 4.—Их соотношение 6.—Внешняя политика и внутренняя жизнь 10.—Общий ход дел 12.—Рост политического сознания 16.—Начало смуты 18.—Конец династии 19. Царь Федор 20.—Б. Годунов 21.—Борис на престоле 26.—Толки и слухи про Бориса 28.—Самозванство 32.

Лекция XLII. *Последовательное вхождение въ смуту всех классов общества (33—58).* Царь Борис 33.—Лжедимитрий I 37.—В. Шуйский 41.—Подкрестная запись В. Шуйского 42.—Ее характер и происхождение 44.—Ее политическое значение 46.—Второй слой правящего класса вступает в смуту 47.—Договор 4 февр. 1610 г. 49.—Московский договор 17 авг. 1610 г. 52.—Провинциальное дворянство и земский приговор 30 июня 1611 г. 53.—Участие низших классов в смуте 56.

Лекция XLIII. Ход смуты 59.—Государство—вотчина 61—Выборный царь 64.—Тягловый строй государства 65.—Общественная рознь 68.—Самозванство 70.—Выводы 71.—Второе ополчение 72.—Избрание Михаила 74.—Романовы 78.

Лекция XLIV. *Ближайшие следствия смуты (81—111).* Новые политические понятия 82.—Их проявления 85.—Правящий класс 87.—Расстройство местничества 89.—Царь и боярство 92.—Боярская дума и земский соборъ 97.—Упрощение верховной власти 99.—Боярская попытка 1681 г. 103.—Земские соборы XVII в. 104.—Разорение 106.—Настроение общества 110.

Лекция XLV. *Внешнее положение Московского государства после смуты (112—137).* Задачи внешней политики 112.—Запад-

ная Русь 115.—Управление 117.—Русско-литовское и польское дворянство 118.—Города 120.—Люблинская уния 121.—Следствия унии 127.—Заселение степной Украйны 128.—Происхождение казачества 130.—Малороссийское казачество 132.—Запорожье 134.

Лекция XLVI. Нравственный характер казачества 138.—Казаки за веру и народность 141.—Рознь в казачестве 142.—Малороссийский вопрос 145.—Балтийский вопрос 150.—Восточный вопрос 151.—Европейские отношения 155.—Значение внешней политики 158.

Лекция XLVII. Колебания во внутренней жизни Московского государства XVII в. 160.—Два ряда нововведений 162.—Потребность в своде законов 162.—Мятеж 1648 г. 165.—Приговор 16 июля 168.—Составление свода 170.—Источники 172.—Участие соборных выборных 173.—Приемы составления 176.—Значение Уложения 178.—Новые идеи 180.—Новоуказные статьи 183.

Лекция XLVIII. *Местное управление (185—204).* Воеводы 186.—Губные старосты 189.—Судьба земских учреждений 190.—Окружные разряды 192.—Сосредоточение центрального управления 193.—Приказы счетных и тайных дел 194.—Состав общества 196.—Образование сословий 198.—Служилые люди 200.—Посадское население 201.—Закладчики 201.

Лекция XLIX. *Владельческие крестьяне (205—235).* Виды неполного холопства 207.—Кабальное холопство 208.—Указ 1597 г. 211.—Сближение ссудного крестьянства и кабального холопства 213.—Задворные люди 215.—Крепостная крестьянская запись 216.—Ее происхождение 217.—Ее условия 219.—Государство и землевладельцы 221.—Отмена урочных лет 224.—Крепостные по Уложению 226.—Крестьянские животы 229.—Податная ответственность за крепостных 232.—Отличия крепостного крестьянства от холопства 234.

Лекция L. Господа и крепостные 236.—Крепостное право и земский собор 239.—Общественный состав соборов XVII в. 240.—Численный состав 243.—Выборы 244.—Ход дел на соборах 246.—Их политический характер 250.—Условия их непрочно-

сти 253.—Земская мысль в торговых классах 259.—Распадение соборного представительства 262 —Что сделал собор 265.—Обзор сказанного 266.

Лекция LI. Связь явлений 269.—Войско и финансы 270.—Окладные доходы 273.—Деньги данные и оброчные 275.—Специальные налоги 276.—Писцовые книги 277.—Неокладные сборы. Соль и табак 279.—Медные кредитные деньги 281.—Живущая четверть 285.—Тяглый двор и переписные книги 288.—Сословная разверстка прямых налогов 289.—Финансы и земство 291.—Тягло задворных 292.—Распределение народного труда 293.—Чрезвычайные налоги 294.—Роспись 1680 г. 298.

Лекция LII. Недовольство 300.—Его проявления 303.—Кн. И. А. Хворостинин 305.—Патриарх Никон 307.—Григ. Котошихин 308.—Ю. Крижанич 310.—Крижанич о России 313.—Значение его суждений 319.

Лекция LIII. Начало западного влияния 325.—Почему оно началось в XVII в. 326.—Его отношение к греческому 327.—Два направления 329.—Постепенность влияния 332.—Полки иноземного строя 333.—Заводы 335.—Помыслы о флоте 337.—Мысль о народном хозяйстве 338.—Новая Немецкая слобода 340.—Европейский комфорт 342.—Мысль о научном знании 346.—Первые проводники его 347.—Е. Славинецкий и А. Сатановскій. 348.—Начатки школьного образования 350.—С. Полоцкий 353.

Лекция LIV. Начало реакции западному влиянию 356.—Протест против новой науки 358.—Церковный раскол. 359.—Повесть о его начале 360.—Мнение о его происхождении 362.—Сила религиозных обрядов и текстов 363.—Ее психологическая основа 365.—Русь и Византия 367.—Затмение вселенской идеи 371.—Предание и наука 373.—Національно-церковное самомнение 374.—Государственные нововведения 375.—Патриарх Никон 376.

Лекция LV. Положение Церкви 379.—Идея вселенской Церкви 382.—Новшества 385.—Содействие Никона расколу 387.—Латинобоязнь 391.—Признание первых старообрядцев 393.—Обзор сказанного 395.—Народно-психологический состав старообрядства 396.—Раскол и просвещение 397.—Содействие раскола западному влиянию 400.

Лекция LVI. *Царь Алексей Михайлович (403—422). Ф. М. Ртищев (416—422).*

Лекция LVII. *А. Л. Ордин-Нащокин (423—445).*—Ртищев и Ордин-Нащокин 445.

Лекция LVIII. *Кн. В. В. Голицын (447—462).*—Кн. Голицын и Ордин-Нащокин 452.—Подготовка и программа реформы 453.

ПРИЛОЖЕНИЯ,

составленные по заметкам автора А. А. Кизеветтером.

I.

К стр. 99-й.

Против слов: „постепенно верховная власть упрощалась, разнородные элементы в ее содержании ассимилировались и поглощались одни другими“—Василий Осипович сделал на полях авторского экземпляра пометку: „это пояснить выводом в конце § или в следующем § по заметкам на литографии“.—На том экземпляре литографированного издания лекций, которым Василий Осипович пользовался, как одним из материалов при составлении печатного текста своего курса, имеются карандашные заметки, относящиеся к данному месту. Но заметки эти очень кратки, и по ним нельзя установить, в какую именно литературную форму облек бы Василий Осипович дополнительное пояснение мысли, изложенной в тех словах текста, которые выписаны в начале настоящего примечания. Тем не менее, очевидно, что пояснение это должно было состоять в указании на то, что постепенное упрощение верховной власти, о котором говорится в тексте, выразилось в поглощении принципа *избирательности* верховной власти принципом ее *наследственности* и принципа *ограниченности* верховной власти московского царя принципом ее *самодержавности*, так что власть московского царя из „наследственно-избирательной“ и „ограниченно-самодержавной“ стала с течением времени только „самодержавно-наследственной“.

II.

К стр. 188-й.

На авторском экземпляре первого издания на поле этой страницы имеется помета Василия Осиповича: „привести в своде расходы на воеводу по Тотьмѣ. Чтения Общ. Ист. и Др. 1908 г.,

кн. 4 Смесь". В указанной книге Чтений в Обществе Истории и Древностей Российских напечатаны „книги издержечные Тотемского Земского старосты Андрея Выдрина 1691—1692 г.г.".—Представляем здесь опыт того свода данных по книге издержек на воеводу, о котором сказано в помете Василия Осиповича. „Книга воеводская", т.-е. книга издержек земского старосты на воеводу обнимает собою декабрь, апрель, май, июнь, июль и август 1691 — 92 года. Занесенные в эту книгу расходы могут быть разделены на следующие виды: 1) месячный корм воеводе„ по уговору мирских людей"; деньги, приносимые воеводе „в бумажке" в праздничные дни, когда „воевода звал к себе хлеба есть"; 2) поздравительные деньги слугам воеводы по случаю разных семейных их праздников; 3) периодическая покупка на воеводский двор разных съестных припасов; 4) покупка на воеводский двор разных предметов хозяйственного обихода; 5) оплачивание различных работ на воеводском дворе, и 6) уплаты воеводским служителям за различные их служебные посылки по приказу воеводы.

1. Месячный корм воеводе „по уговору мирских людей" выдавался в конце каждого месяца въ размере 19 руб.—Всего за пять месяцев,—не считая декабря, в котором этого расхода не указано,—по этой статье издержано *95 р.*, или на наши деньги,— около 1615 р.

„Деньги в бумажке" приносились на воеводский двор по праздникам, когда воевода звал к себе на обед земских целовальников. За шесть месяцев, описанных в книге 1691—92 г. таких случаев насчитывается 11, а именно—на Рождество Христово 27 декабря, на Ивана Богослова 8 мая, на Троицу 18 мая, на Ильин день 20 июля и на царские праздники: 1 апреля - именины в. кн. Марьи Ивановны, 29 мая—именины в. княжны Феодосии Алексеевны, 29 июня—именины в. государя Петра Алексеевича, 25 июля—именины в. кн. Анны Михайловны, 4 августа—именины в. кн. Евдокии Феодоровны, 26 Августа—именины царицы Наталии Кирилловны и 29 августа—именины в. государя Ивана Алексеевича. Общая сумма расхода в этих случаях составляла каждый раз от 1 р. 11 алт. до 1 р. 13 алт. с несколькими деньгами.—В состав этого расхода входили: во-первых, „позовное"—4 деньги; затем подарки

самому воеводе от 16 до 20 алтын; боярыне от 8 до 13 алтын; сыну воеводы 3 алт. 2 д., дочери большей— 3 алт. 2 д., двум дочерям меньшим—3 алт. 2 д., племяннику—6 денег, боярским-боярыням,—10 д., жильцам—10 д., татарченку 4 д., малым робятам -4 д., „людем на весь двор"—от 3 до 4 алтынов.—В некоторых случаях прибавлялись подарки и еще разным лицам воеводского двора. Кроме того, по утрам в такие дни воеводе подносился поздравительный „калач столовой".—Всего по этой статье за указанные месяцы издержано—12 р. 4 алт. 2 д., а вместе со стоимостью поздравительных калачей—*14 рублей 2 деньги*, или на наши деньги 238 рублей.

2. Земские целовальники получали приглашения на свадьбы, родины, именины воеводских слуг и в этих случаях также уплачивали „позовное" и затем денежные подарки новобрачным, роженицам, именинникам. Таких случаев в „книге" насчитывается до семи. Всего по этой статье издержано—1 р. 1 алт., на наши деньги 17 руб.

3. Покупка съестных припасов на воеводский двор. За все эти месяцы куплено:

рыбы	на	27	р.	6	алт.	2	д.
говядины, свинины, баранины	»	17	»	5	»	5	»
домашней птицы и дичи	»	1	»	8	»	2	»
муки, крупы и хлеба	»	3	»	13	»	2	»
молочных продуктовъ	»	3	»	11	»	—	»
грибов, ягод, орехов и овощей	»	2	»	14	»	2	»

Эти покупки совершались почти ежедневно. На большие праздники закупалось сразу большое количество разнообразных припасов. Так, к 25 декабря было закуплено всего на 25 р. 1 алт. - Всего по этой статье за шесть указанных месяцев израсходовано 54 р. 24 алт. 12 ден., или на наши деньги—около 935 рублей.

Весьма часто приходилось уплачивать за приобретение на воеводский двор различных предметов хозяйственного обихода. Покупались шайки, сита, чаны, веники, лубье, кадки, рогожи-кули, глина, метла, деготь, кафтаны и т. п.

Всего по этой статье израсходовано—1 р. 27 алт., или на наши деньги—около 18 рублей.

4. Оплачивание различных хозяйственных работ на воеводском дворе, как-то: подсевка ржи и толчение муки, варения пива плотничьи работы, кузнечные работы, стереженье сена, лужение посуды и т. п. Всего по этой статье издержано *5 р. 19 алт. 2 д.*, или на наши деньги—около 86 рублей.

5. Наконецъ, воеводские служители получали вознаграждение от земского старосты за исполнение поручений, возлагаемых на них воеводою. Так, напр., такие уплаты были произведены: „как карбас воеводской из Онды волокли", „как поехал воеводской человек Володимер к Вологде про воеводский обиход" и т. п. По этой статье издержано - 3 руб. 11 алт. 6 д., т.-е. на наши деньги около 52 р.

Всего за шесть месяцев по всем статьям этим было израсходовано по „воеводской книге"—175 руб. 19 алт. 4 д., или на наши деньги—*около 3 тыс. руб.*

Сверх того, подобные же взносы производились в пользу подьячих. Они записывались в особую „подьяческую" книгу. Наконец, проезжие через местный город чиновные люди также получали кормы от местного земского старосты, и эти расходы записывались в особую „книгу издержечную проезжим".

III.

К стр. 293-й.

Пересматривая III часть Курса для нового издания, Василий Осипович сделал на своем экземпляре пометку на поле против таблички на стр. 299: „*перестроить по итогу 833 тысячи. Млк. 268*". Последние слова этой пометки означают ссылку на сочинение П. Н. Милюкова: „Государственное хозяйство в России в первой четверти XVIII ст. и реформа Петра Великого". На стр. 268-й этой книги в примечании 1 находим фразу: „дефицит 1710 г. был разложен по полтине с двора на 833.603 двора. Госуд. Арх. Каб. д. кн. № 16"—Итак, по этому именно итогу Василий

Осиповичъ предполагалъ „перестроить“ свою табличку.—Применив тот пріем, который указан в тексте курса на стр. 298–299. получим:

Посадских и черных крестьянских дворов	92 тыс.	11,3%
Церковных, архиерейских и монастырских	118 »	14,2%
Дворцовых	83 »	9,9%
Боярских	88 »	10,5%
Дворянских	452 »	54,1%
	833 тыс.	100%






BOUND BY


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 058019917